

Александр Владимирович
Александровский

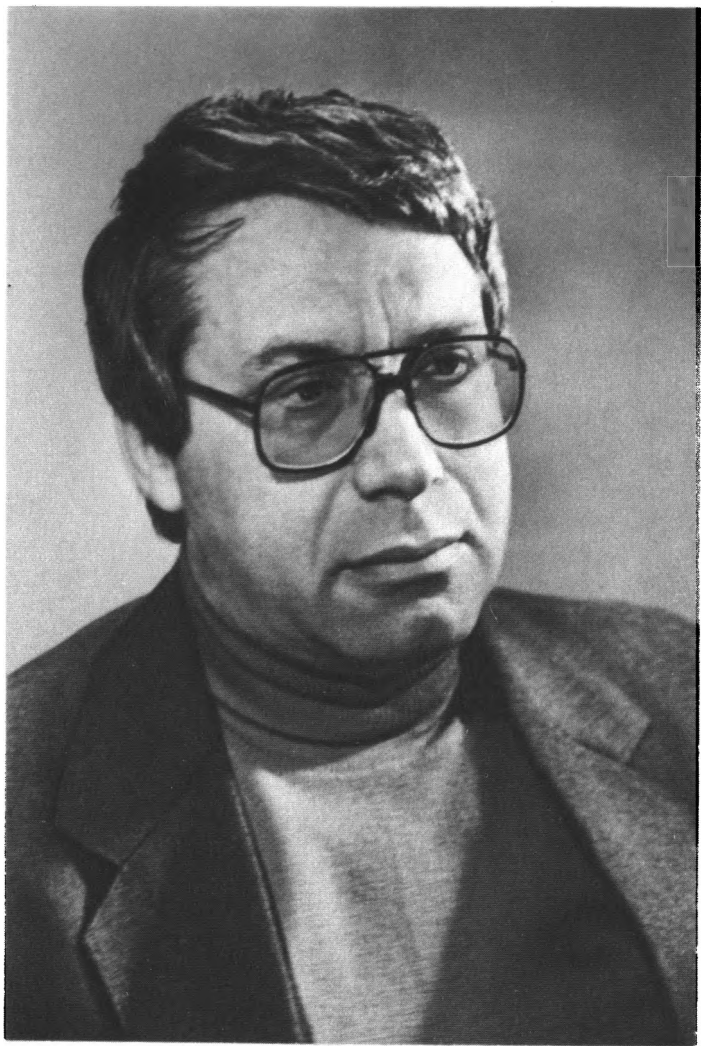
ИЗБРАННОЕ



Л



РОДИНА-МАТЬ
ЗОВЕТ!



А **В**ладимир
Амлинский

ИЗБРАННОЕ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ I

РОМАН
ПОВЕСТЬ
ОЧЕРКИ

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

P2
A62

Художники Л. и В. МИТЧЕНКО

А 4803010102—310 169—87
M101(03)87

Состав. Предисловие.
© Охраняемые произведения отмечены в содержании.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1987

О ВЛАДИМИРЕ АМЛИНСКОМ

Литература для писателя, а я говорю именно о настоящем писателе, — это не только радость творчества, самопознания, открытие человеческих характеров, но и испытание на прочность, на волю, если хотите, ежедневная душевная мука.

Поиск слова. Единственного, точного, только тебе принадлежащего, хотя и много раз сказанного другими.

Писатель, о котором я веду речь, Владимир Амлинский, знает радость и муку этого поиска. Самые важные идеи, самые благородные замыслы не заслоняют для него самооценности, яркости, точности художественного слова, именно с помощью многозначности этого слова его замыслы становятся подлинной литературой.

Сегодня это известный, широко работающий писатель со своей большой советской и зарубежной аудиторией, преимущественно молодой, студенческой, школьной, юношеской, хотя в не меньшей степени его читают и немолодые люди. В литературе двери открыты, здесь нет ограничений «до шестнадцати запрещается». Вообще деление на юношеских, взрослых, военных, деревенских, городских, районных — условно и необязательно.

Владимир Амлинский — писатель, чья книга обращена ко многим слоям и к разным возрастам, ибо в ней вы

всегда найдете самую жизнь, а не только лишь размышления о жизни, да, да, жизнь, увиденную неравнодушным и острым глазом, воспроизведенную с той мерой достоверности и условности, которая и есть проза. Молодой же читатель особенно отзывчив на такую прозу, ибо она заставляет его по-новому взглянуть и на окружающих и на себя, для того чтобы определить и осмыслить свое место в жизни.

Я позволю себе повторить слова, сказанные о Владимире Амлинском пятнадцать лет назад. Повторю, потому что время подтвердило их точность. В предисловии к его сборнику «Музыка на вокзале» я писал: «...Помню, как Амлинский принес к нам в «Юность» свои первые рассказы, сразу же покоровившие нас своей близостью к жизни, а также возрастом его героев — молодых людей, юношей и девушек, только что расставшихся с детством и стоящих на пороге новой жизни со всеми ее противоречиями и сложными проблемами любви, товарищества, дружбы, отношения к труду и ответственностью перед социалистическим обществом. Это было как раз то, чего мы так жадно искали в потоке идущих к нам отовсюду рукописей, и мы с радостью приняли произведения молодого, еще почти юного писателя, подававшего тогда большие надежды.

Наши надежды вполне оправдались. В скором времени Амлинский выработался в прекрасного и зрелого писателя, автора замечательных повестей «Тучи над городом встали», о военном детстве, и «Жизнь Эрнста Шаталова». Последняя повесть нашла особо широкий отклик в сердцах юных читателей, ибо в ней поразительно ярко написан портрет нашего молодого современника со всеми присущими ему чертами: негибимым мужеством, волей, силой духа и остротой мысли. Старшеклассники изучают «Жизнь Эрнста Шаталова» в школе, и она является темой их многочисленных сочинений.

Как художник и мастер слова Владимир Амлинский особенно дорог мне своим «чувством весны», своим тонким умением изобразить раннюю русскую весну с прогалинами, осевшим снегом, «весну света и любви», в которой так много трепетного предчувствия чего-то неизъяснимо прекрасного, что ждет человека в скором будущем».

Будучи, как видите, причастным к его литературной судьбе, я внимательно, заинтересованно вот уже много лет слежу за ним. Могу добавить, что к чувству весны, трепетного ожидания, которое так остро ощущал писатель, добавилось и новое, другое, чего у него раньше в такой степени не было: понимание ценности единственного дня жизни, печаль утрат и радость обретений, суровый и нетерпимый взгляд на пошлость, цинизм, человеческую мелко-травчатость. Не потеряв прелести своего письма, тонкой лирической интонации, писатель стал суровее, жестче.

Поколение, которое он правдиво, со всеми приметами быта выразил, жило и живет не простой жизнью, приняло на свои плечи многие тяготы времени, его ошибки, разочарования, взлеты.

Многие из его сверстников в литературе, так хорошо начавшие, так звонко заявившие о себе, что называется, «сошли с круга», чего-то в жизни, в себе не поняли. Другие стали скорее репортерами, чем исследователями. Третьи остановились там же, где начали, перепевая и повторяя себя. Мне радостно, что Владимир Амлинский — один из тех, кто рос, искал, менялся, оставаясь собою. Помните, как у Пастернака: «Но быть собой, собой, и только. Собой, и только, — до конца». Это трудно. И получается тогда, когда у писателя есть своя тема. Здесь я имею в виду тему как определенный мотив, то исчезающий, то повторяющийся, но всегда в словесной, художественной ткани ощутимый, подсказанный писателю его судьбой. Определить этот мотив, эту тему у Владимира

Амлинского не так-то просто. В средних книгах все легко определимо. Там понятны положительные и отрицательные герои, мотивы и побуждения. В талантливых книгах есть полутона, подтекст, мелодия, оттенки, люди в них многозначны, многолики, противоречивы.

И все же я бы определил его тему как тему живой, страдающей, чаще всего юной, борющейся за свет и добро души. За добро не только в других, но и в себе.

Это особенно трудно, ибо преобразование социальное начинается с конкретного преобразования внутри самого человека.

Пусть вас не пугает слово «страдающей». Душа страдающая это единственно интересная душа. Человек не страдавший, не узнавший душевной боли мало что знает, он прошел и мимо любви, ибо в ней всегда страдание, едва ли он способен к высшему мужеству, к высокому свершению.

Вот герой Амлинского Эрнст Шаталов. Принципиальная удача и новизна этого характера вовсе не в том, что изображен больной, обреченный, но сильный духом и убеждениями человек. Такие в литературе уже были. Свежесть и неожиданность этого характера в том, что здесь показано глубокое страдание и одиночество. Почему же одиночество, можете вы сказать, ведь у Шаталова есть друзья, о нем думают, заботятся, но одиночество возможно и тогда, когда к тебе приходят товарищи, когда тебе звонят. Бездна одиночества и спрятанный на дне души страх за свою хрупкую, непрочную жизнь не убывают от общения с людьми. Этот страх укрощается другим страхом за людей, а не только за себя, за младшего брата, его девушку, за нелепого человека, который не так начал свою жизнь, за многое, что свершается вокруг. И мы видим, что это уже не страх, а что-то иное, нравственная, социальная ответственность за других.

Писатель построил повесть диалогически: разговор ав-

тора с героем, поток сознания героя, его воспоминания, сплетенные с реальностью, дают возможность выйти за рамки одной судьбы, говорить о таких старых, вечных и всегда новых вещах: о смысле, цели человеческого существования.

Владимир Амлинский принадлежит к поколению не воевавшему. Когда началась война, он был дошкольником, ребенком. Но она оставила свой след в этом поколении не менее яростный, не менее сильный, чем в судьбах тех, кто прошел все испытания войны. У этого поколения было удивительное детство. Ноющий звук сирен воздушной тревоги, самолеты, пикирующие на мирные поезда, ползущие от огня войны в города эвакуации, ожидание весточек от родных, писем от отцов с фронта — все это обострило чувство, сделало юное сердце способным к подвигу, к страданиям и состраданию. И все-таки детство оставалось.

Пожалуй, я не вспомню другой такой книги, как повесть «Тучи над городом встали». Она с большой силой показала драму детства, многим обделенного, вдали от Москвы, от родителей, от тепла, от праздничных елок и многого другого, без чего детство трудно себе представить. Но писатель показывает и счастье этого детства. Детство само по себе способно быть счастливым в самых трудных условиях. В повести много сложных ассоциаций, отличных деталей, живых наблюдений. Вспомните сцену, когда мальчик приходит в класс и невыспавшийся, растерянный классный спрашивает его:

« — Ты тот самый мальчик, о котором говорил мне директор? Эвакуированный?

— Да, мы приезжие, — сказал я.

Мне не нравилось это слово — «эвакуированный».

— Вы эвакуировались из Ленинграда? — сказал учитель.

— Мы приехали из Москвы, — ответил я.

Он взял замерзшими, негнушимися руками журнал и спросил:

— Фамилия?

— Островский.

— Видишь, какая у тебя фамилия! Ты должен быть достоин ее.

— Почему же? — сказал я. — Просто это очень частая фамилия. Островских много, и все они не могут быть достойными».

. Здесь и юмор, и внутреннее напряжение, и дальше оно будет возрастать до прекрасно написанной драки с Фроловым. Владимир Амлинский владеет даром писать не только сами поступки, но и неуловимые движения души, предпоступки, ожидание поступков, невидимую психологическую борьбу, которая идет внутри человека. Такое напряжение, отсутствие пустот, насыщенность наблюдениями, мыслями и есть проза, емкая и точная. В повести, к примеру, мало говорится о подвиге, героизме, но они присутствуют, ибо истинное мужество не рядится в оперную одежду, оно достаточно буднично, неприметно.

Владимир Амлинский был первооткрывателем не только в этой теме. Одним из первых, если не первым, он ввел в прозу и публицистику шестидесятых годов тему так называемых «трудных подростков», сбившихся с пути юнцов, правонарушителей, духовных сирот. В то время эта тема казалась закрытой. Он же заговорил о ней в полный голос, серьезно, по-художественному. Сейчас к ней в обществе большой интерес, ибо никто не может быть утерян для общества, в пробуждении этого заинтересованного государственного интереса несомненная заслуга и Владимира Амлинского. Об этом роман «Возвращение брата».

Он любит писать свою страну детства, Москву, Чистые пруды. Она мне близка еще и потому, что, будучи уже весьма взрослым человеком, я жил на Мыльниковом пе-

реулке, параллельном Машковому, где прошло в совсем другие годы детство Амлинского. Дом политкаторжан на Машковом переулке находится недалеко от несуществующей сейчас кондитерской Дюваля, угол Машкова и Покровки, — туда я заходил как-то с Маяковским. Это маленькая и удивительная страна со своим прошлым, настоящим, будущим, с реками улиц, притоками переулков, с легендами, загадками, историями. Это микромир. И его писатель знает, чувствует превосходно. Его воздух, запахи, его тени и живые люди, его предания и его явь существуют в романе «Нескучный сад», в романе «Ремесло» («Борька и Никитин»). «Нескучный сад» рассказывает о трагизме и прелести первых чувств, о вызове, брошенном юному человеку. Тема вызова, то есть испытание не только твоего мужества, но и порядочности, осуществление тех слов, тех принципов, которым тебя учили, очень сильна у писателя. Вспомните классного из той же повести «Тучи над городом встали». Глубоко штатский человек, историк, казалось бы, чудаковатый, беззащитный, странный, вдруг неожиданно записывается в ополчение.

«Мы шли молча, потом дошли до Малого Николопесковского переулка, где он жил, и у самого его дома я ему сказал: «Вы стреляете хорошо, но вы больны. Может, больше пользы будет, если вы не пойдете? Вы же сами говорили, что фронт начинается с тыла». — «Это правильно, — сказал он и слабо улыбнулся. — Но дело в том, что живешь ты свою не очень долгую жизнь, и быт тебя заедает, пустыки разные, неурядицы, и сам ты становишься такой бытовой, пустычный. А по роду деятельности ты всякие слова говоришь и цитируешь всяких ученых, революционеров и все твердишь: «Борьба, счастливое будущее, человечество...» Но вдруг — бац! — и началась эта самая борьба. Так словеса и подтверждать надо, как ты считаешь?»

Да, слова надо подтверждать.

Наступает такой миг, такая секунда, такой час, когда слово требует подтверждения.

«Слово — полководец человечьей силы». Иногда и не полководец, а просто младший командир или солдат. Слово участвует в борьбе за многое, в том числе за становление души, личности, а значит, и общества.

Лучшее из того, что сделал Владимир Амлинский, собрано в этом двухтомнике. Жаль, что здесь нет отличного романа «Ремесло» — о судьбе таланта, о поиске своего слова, своей краски.

Владимир Амлинский работает в традиционной форме, без явных формальных экспериментов. Тем не менее, когда я читаю его, у меня возникает ощущение новизны.

Такой путь к новизне более труден. Он достигается тем, что писатель способен увидеть многие явления так, как если бы они были пережиты им впервые, с силой и свежестью первооткрытия.

Зная и чувствуя быт, примечая остро и живо подробности и приметы современности, он тянется к бытию, к тому, чтобы изобразить не человека во времени, а Время в человеке.

Вот уже более двадцати пяти лет Владимир Амлинский заметно и ярко работает в нашей литературе. Многие молодые читатели в своем нравственном становлении опирались и на его книги.

Я же вижу Владимира Амлинского двадцатидвухлетним студентом, который робко и вместе с тем с некоторой внутренней дерзостью перешагнул порог моего кабинета главного редактора двадцать восемь лет назад с первым большим своим рассказом «Станция первой любви».

Валентин КАТАЕВ

*Ноябрь 1985 г.
Переделкино.*

Тучи
над городом
встали

ПОВЕСТЬ



ГЛАВА 1

— Можно? — сказал я и открыл дверь класса.

— Можно, — сказал учитель.

Класс был узкий и длинный, с низкими потолками, с коричневыми щербатыми стенами, с большим портретом Ворошилова над доской. В этой банной сыроватой полутьме все лица были мне незнакомы, все, кроме этого, но и оно смотрело на меня со спокойной суровостью, точно спрашивая ответа за опоздание.

— Ты тот самый мальчик, о котором говорил мне директор? Эвакуированный?

— Да, мы приезжие, — сказал я.

Мне не нравилось это слово — «эвакуированный».

— Вы эвакуировались из Ленинграда? — сказал учитель.

— Мы приехали из Москвы, — ответил я.

Он взял замерзшими, негнуцимыми руками журнал и спросил:

— Фамилия?

— Островский.

— Видишь, какая у тебя фамилия! Ты должен быть достоин ее.

— Почему же? — сказал я. — Просто это очень частая фамилия. Островских много, и все они не могут быть достойными.

— Островский, хватит рассуждать. Садись на место и не срывай мне урок.

— А куда мне садиться?

Все места были заняты, все до одного. Сидели ученики восьмого класса и смотрели на меня. Сидели белые, и черные, и рыжие, сидели жирные, те, кого называют «жиртрестами», и тоненькие, по прозвищу «спичконожки», сидели двоечники и отличники; сидели тремя ровными колонками. «Камчатка» ныряла под парты и строила рожи, передние тихо тарасили на меня глаза, кто-то спокойно храпел, кто-то играл в «морской бой», но все сидели, все были здесь старожилками, а я был новичком. И я стоял, ждал.

— Я же просил директора новых эвакуированных посылать в восьмой «Г». А он их шлет ко мне.

Учитель был расстроен... И я быстро пошел к двери. Как-нибудь я существовал без них всю свою жизнь, и сейчас я тоже проживу без них.

Строгий портрет смотрел на меня, не знаю, что было в его глазах — презрение или сочувствие, они были прищурены.

«Я не виноват, — тихо сказал я ему. — Они сами так сделали, что я ухожу».

Я открыл дверь.

— Мальчик, нельзя быть таким недисциплинированным. Мальчик!.. — Он, видно, забыл мою фамилию и пошарил рукой по желтому, измученному лбу, словно выискивая ее там. Но он так и не нашел ее и сказал: — Садись, пожалуйста, мальчик.

— Куда? — Я пожал плечами.

Я чувствовал, что злю его. Может быть, этого не стоило делать. Он был старый и, кажется, не очень умный. Впрочем, если бы он был умнее и моложе, его бы взяли на фронт. А такой он не нужен фронту. Нет, я не собирался его злить. Но так уж сложилось. И потом, он сам начал про фамилию, и сейчас тоже — он сажал меня на место, а места не было.

Он встал со стула и подошел к доске.

— Бери мой стул и садись во второй ряд. Садись, садись быстрее.

Я взял стул и поставил его в конец третьей колонки. Все ученики сидели на партах, а я на стуле. Я вспомнил эту пословицу: «Что я, рыжий, что ли?» Сегодня я был рыжий. И мне стало интересно и весело.

А рядом со мной на последней парте, почти касаясь моих плеч, сидел парень с темным лицом и черными узкими глазами. Он был одет в гимнастерку, и медные пуговицы на ней были тщательно натерты и сверкали. И все у него сверкало: не только медные пуговицы, но и черные волосы, и яркие зубы, и в особенности — злым, едким, каким-то опасным для меня блеском — узкие, длинные глаза. Он сидел чуть ссутулясь и привалясь к парте, крючконосый, со стриженной ежиком головой, похожий на маленького кондора, неподвижного, как кусок дерева, застывшего до поры до времени. Но вот он как

ударит крылами, как рванется, как метнет свой клюв меж тонких прутьев зоопарковой решетки...

— Как тебя зовут? — прошептал я.

Он не только не ответил, но даже не повернулся, ни один мускул лица у него не дрогнул, и я понял: «птица» не хочет понимать моего языка. «Ну и черт с тобой, придурок», — мысленно сказал я ему и отвернулся, не замечая его, считая никем: ни птицей, ни человеком, а просто неподвижным, грубым куском дерева, обыкновенным чурбаном. И я включился в жизнь, идущую в начале класса, у доски, и отдельную от нашей жизни на «камчатке». К доске вызвали ученика.

— Фролов, ты прочтешь нам стихотворение «Два великана», скажешь, кто его написал и каково его общественно-историческое значение.

Фролов повел затекшей шеей и сказал расслабленным, умиротворенным голосом:

— Его написал великий русский поэт...

Он улыбнулся, улыбка у него была добрая и чуть просящая.

— Пушкин его написал, — неожиданно грубым голосом закончил Фролов.

— А если подумать? — сказал учитель. Нет, он вовсе не удивился: видно, от этого Фролова можно было ожидать всего. — А если подумать? — снова мягко повторил учитель.

— Лермонтов, — небрежно и даже презрительно, словно сплевывая, сказал Фролов.

— Прочитай наизусть.

Фролов задумался.

— Ну, в шапке золота литого... Ну, старый русский великан... так, ну, приглашал к себе другого...

Он ронял слова все так же лениво, будто семечки лузгал, и улыбался большим красивым ртом, и был выше Лермонтова, и учителя, и обоих великанов, даже если бы они встали один на другого. И я понял, кто он. Он — оголец. Были в то время такие огольцы в кепчонках-малокозырьках. Они стояли у дворов и курили и разговаривали вот так же нехотя и лениво, а голоса у них были все же взвинченные, и только матерились они щедро, легко. Много их толкалось — не сосчитаешь. Но только они были замызганные и некрасивые, а этот красивый, с белым

чистым лицом, с ясными круглыми бровями, с крупным мужским ртом. По-моему, он был сибиряк. Такими я представлял себе сибиряков.

— Ну, а дальше? — сказал учитель.

— Ну и дальше в том же духе.

— Фролов, четверть кончается, а у тебя «плохо».

— Бывает.

— Фролов, — тихо сказал учитель и со странным удивлением посмотрел в чуть влажные, светлые глаза Фролова, — ты советский человек или нет?

— Конечно, — сказал Фролов, — я русский человек, не кто-нибудь.

— Нет, — сказал учитель. Старые щеки его стали румяными, а все лицо возбужденным, недобрим и молодым. — Нет, — повторил он. — Я не знаю, русский ли ты, советский ли человек. Идет война, твои старшие братья умирают за честь русского народа, а ты не знаешь и не хочешь знать этих патриотических стихов великого русского поэта, прославившего мощь твоей страны. Нет, нет, Фролов!

Голос его внезапно сник и глаза поскуцнели, точно он понял что-то неведомое нам, такое, что не даст ему больше ни волноваться, ни кричать, и он сказал тихим, будто треснувшим от необычайного напряжения голосом:

— Просто ты, Фролов, ленивый, нелюбопытный, плохой мальчик.

— Я учил, — жалобно-развязным голосом сказал Фролов. — Я учил, я знаю. За что вы мне «плохо» ставите?

— Садись, садись, Фролов! Садись, не канючь, ради бога!

Фролов подошел к столу, как-то по-собачьи, жалобно посмотрел на учителя и тут же легким, незаметным движением снес со стола свой дневник с еще не проставленной оценкой. Дневник упал, и Фролов протянул длинную руку, по-обезьяньи кончиками пальцев схватил дневник и незаметно сунул в карман. И пошел на место. Учитель поискал дневник и, не найдя его, сделал рукой: ах, мол, ну да все равно.

Потом он поднял глаза на класс, обвел три ровных ряда, сказал:

— Кто знает эти стихи?

Что-то во мне заняло.

— Я знаю! — крикнул я.

— Иди к доске, — сказал учитель.

Я пошел, в классе стало тихо.

— Эти стихи, — дрогнувшим и радостным голосом произнес я, — написал Михаил Юрьевич Лермонтов. Они посвящены Кутузову и Наполеону. Кутузов победил Наполеона, разгромил войска захватчиков и доказал, что мы непобедимы. И сегодня эти стихи помогают нам громить ненавистного врага.

Я хотел говорить еще много, хотелось выговориться за все эти дни молчания и одиночества в незнакомом сибирском городе, в котором мне не к кому было зайти в гости, в котором я никого не знал и никто не знал меня. Мне хотелось говорить и говорить о войне, и о победе, и о том, что мой московский классный погиб в ополчении. Но учитель не дал мне.

— Правильно, — сказал он. — Ты правильно понял патриотический смысл этих стихов. Наизусть знаешь?

— Знаю, — торопливо, боясь, что он снова прервет меня, произнес я и начал громко читать:

В шапке золота литого
Старый русский великан...

— Хватит, — сказал учитель. — Садись, «отлично».

Я опустошенно шел к своему стулу. Мой сосед молча смотрел на меня то ли с ненавистью, то ли с удивлением.

«Какое у него темное лицо, — подумал я. — Кто он? Таджик, узбек или он негр?»

Урок кончился. Ушли ребята. Ушли духота, шепот, напряжение. Остались тишина, сырость, тускло мерцающая доска и большой квадратный портрет над дверью. Но вот дверь тихо открылась, и Фролов вошел в класс. Он быстро, чуть улыбаясь, опустив глаза, шел ко мне. А за ним, словно забыв что-то в классе, вошел темный, маленький мой сосед. Фролов все улыбался и все глядел на меня, потом он подошел ко мне вплотную и сказал вполголоса, доверительно:

— Откуда ты такой, сука? Ах ты падла эвакуированная!

Темный, маленький все искал что-то в парте, то ли

тетрадь, то ли учебник, искал, нагибался и громко шуршал бумагой. Я ждал. Фролов быстро провел ладонью по моему лицу, по моим глазам, по моему носу, по моим губам. Он провел своей потной, должно быть нечистой, рукой и, неожиданно нагнувшись, головой боднул меня в лицо. Но я сделал шаг влево, один короткий шаг влево, и он промахнулся. Ложась всем телом на правую руку, я ударил его в белый с глубокой ямочкой подбородок, и он упал на переднюю парту. Вот этого он не знал: не знал, что промахнется. И еще больше он не знал, что я так точно ударю его снизу, и что он упадет спиной на доску парты, и что я подбегу к нему и плюну в него.

Он встал, рванулся и закричал, обращаясь ко второму:
— Бери его!

Но он не знал, что второй будет молчать и, словно бы раздумывая, смотреть то на меня, то на него. Фролов встал шатаясь, нагнулся и, избычившись, головой вперед снова пошел на меня. Но он шел нетвердо и медленно, и я успел ударить его слева — метил в скулу, но попал в ухо.

На сей раз он удержался на ногах, чуть покачиваясь, пошарил рукой в воздухе, будто хотел за что-то зацепиться, затем тяжело прыгнул влево, схватил учительский стул и поднял его над моей головой. Стул сначала мелькнул, затем перевернулся над моей головой, но кто-то с силой вышиб его из рук Фролова, и стул полетел на пол, подпрыгнув, будто он был резиновый, и оцетинившись тонкими злыми ножками.

— Это уже слишком,— сказал черный и посмотрел на Фролова.— Руками дерись, ногами дерись, а ножом не дерись. И стулом тоже не дерись! Понял?

Фролов молчал. Он тяжело дышал и смотрел на меня, прищурившись, затравленными красивыми глазами. Он вытирал кровь и что-то обдумывал. Может быть, он ждал следующей перемены.

А эта перемена уже кончилась. Звенел звонок. Начался новый урок, новый предмет и новый учитель. Впереди было еще много уроков.

ГЛАВА 2

Но нового учителя не было. Вошел тот же, пожилой. Он скользнул глазами по классу и сказал:

— Итак, ребята, подготовим тетради для контрольных работ.

Мой сосед вдруг побледнел и стал елозить по парте.

— Будем писать диктант на усвоение прямой речи.

У меня не было тетради для контрольных, и я открыл ту единственную тетрадь, что у меня была. Я начал ее еще в Москве.

Учитель диктовал отрывок из «Военной тайны» Гайдара:

— «Много вынули? — спросил Сергей у бригадира Шалимова, который ругался по-татарски с маленьким сухощавым землекопом».

Мой сосед, низко склонившись над тетрадью, оживился.

— Как ругался? — спросил он у учителя. — Как ругался Шалимов?

— «По-татарски... — сказал учитель недовольно. — С маленьким сухощавым землекопом». Продолжаю диктовать.

Мой сосед покачал головой и стал писать. Его, видно, все еще интересовало, как же именно ругался Шалимов, какие слова он говорил маленькому сухощавому землекопу. Он не был ни узбеком, ни таджиком, этот парень. Он был татарин. И он наверняка знал много татарских ругательств, и его интересовало, какие именно выбрал себе Шалимов. Он писал медленно, не поспевая за диктантом и вслух повторяя концы фраз.

Я сбоку посмотрел в его тетрадь и ужаснулся. В каждой фразе было по ошибке. Особенно не в ладу он был с запятыми и тире, он вставлял их произвольно, где хотел и как хотел, ломая спокойный, мерный бег фраз ненужными заграждениями. Он ставил на пути слов противотанковые рвы тире и колючую проволоку двоеточий; рваные, исковерканные фразы тяжело падали на бумагу, простреленные знаками препинания. Кроме того, он был не в ладу с родами: вместо «плавало» он писал «плавала», вместо «кружилось» — «кружилась».

Каждый абзац таил в себе невыставленную двойку.

«Надо спасти его», — подумал я и приблизил свою тетрадь к его тетради. Я щедро открывал ему маленькие тайны правописания, ему надо было только чуть повернуться, чуть скосить глаза. Впрочем, он мог бы и не косить: у него и так были узкие, раскосые глаза, они видели во все стороны. Но здесь он не увидел, нет, скорее, не захотел увидеть. Он чуть повернулся ко мне и сидел секунду, не двигаясь и как бы вцепившись глазами в мой лист. «Списывай же, списывай, списывай же!» — мысленно уговаривал я его. Но его взгляд вдруг оторвался от моего листа, оторвался с усилием, с напряжением. Словно какая-то сила отрывала его от правильной орфографии, от легкого спасения, от нормальной оценки «пос.».

Вот он скользнул последний раз по ровному строю моих букв и ушел, уплыл в сторону. Я посмотрел на учителя. «Может, учителя боится?» — подумал я. Но тот и не собирался смотреть в нашу сторону, да и мой сосед не боялся. По-моему, он был не из тех, кто боится. Лицо его было красно от напряжения. Он боролся с чем-то внутри себя. С чем — я не знал. И он не смог победить этого.

Он отвернулся от меня и стал писать медленно, с напряжением, отставая от диктовки, делая все ошибки, какие только можно было сделать.

Когда кончились уроки, я в стороне от других шел по двору. Где-то сзади маячил Фролов, и я не знал, чего ждать от него. Я был готов ко всему. И я шел спокойно по этому широкому, как пустырь, мокрому двору. Все было чужим в этом городе: и двор, и школа, и небо над моей головой. Здесь оно было белое, чуть подтененное тучами, рыхлое, а там, в Москве, оно было солнечное и голубое. Да, там оно было солнечное и голубое, а на улицах стояли противотанковые ежи; грузовики с зачехленными фарами шли по темным, как тоннели, переулкам; ополченцы шагали нестройно; какой-то высокий, очкастый все путал ногу, и командир кричал ему: «П-правой!» — и он перескакивал с ноги на ногу, как заяц, и догонял строй; а небо по вечерам было беззвездным, будто и его затемнили шторами, и мы ждали от него всего, чего угодно, и все-таки всегда оно было солнечное и голубое. Да, солнечное и голубое, и таким останется на-

всегда, и еще останется Зоопарк на Красной Пресне, и довоенный Май, и маленький блестящий пруд, в котором плавают пеликаны, и ограда цвета молодой травы, и какие-то парни в кепках, кидающие слону хлеб через ров, и мой отец, идущий рядом со мной, и моя мать. Она не боится, она одета тепло, не по сезону. Она все беспокоится. И действительно, тепло, и мне в пальто тесно и жарко. И я чувствую: это уже лето начинается, потому что небо такое солнечное и голубое...

— Ты не бойся, ты спокойно ходи.— Это мне говорят.

И я оборачиваюсь. Голос гортанный, негромкий. Мой сосед идет рядом со мной, он смотрит на меня без улыбки, глаза у него сумрачные.

— Я и так спокойно хожу.

— Драться ты умеешь... Вот уж не подумал бы. Он с интересом поглядел на меня и замолчал.

Мы вышли на мощеную длинную улицу, по обе стороны которой стояли скучные, квадратные, как кубики, дома-бараки.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Хайдер.

— Слушай, Хайдер, почему он такой гад, этот Фролов?

— Он не гад, — задумчиво сказал Хайдер. — Просто он эвакуированных не любит.

— За что? Что они ему сделали? Разве он не понимает, что война?

— Он понимает. Отец его на фронте, брат на фронте.

— Так чего же он...

— Его жилплощадь эвакуированный уплотнил. Вселили к нему людей, комнату взяли. Понял?

Я покачал головой. Это я не совсем понимал. В этом я не разбирался. Я знал только, что мы приехали и нам надо жить. И пусть нам дают комнату. А уж как там — этого я не знал.

— При чем здесь я, ведь не я же въехал в его комнату?

— Ты не въехал. Другой въехал. Эвакуированные разные бывают. Барахлом торгуют, спекулируют, понял?

— Да, разные бывают, — сказал я жестко. — И местные тоже разные бывают, понял?

Он не ответил. Что там происходило, в этой круглой, крепкой, плотно пригнутой к коренастому тяжеловатому туловищу голове? Не знаю. Он шел, не глядя на меня. Я не понимал, враг он мне или друг.

Ржаво, плаксиво, будто из последних сил, визжала водокачка, скупое выцеживая из себя коричневую воду. Визжала, а потом теряла голос и переходила на стон. Стон ее был протяжен, надорван. С коромыслами на плечах медленно шли женщины в низко повязанных платках, из которых сиротливо высывались другие, белые платочки. Они покрикивали на детей глухо, устало. У них не было сил сердиться.

— Вот мой дом, — сказал Хайдер и показал на один из барakov. — Зайдем?

— Нет, Хайдер.

— Не хошь, как хошь, ходи голодный, — сказал он.

Это была известная московская присказка: «Не хошь, как хошь». Мне было странно, что и он знает ее.

— Почему ты не стал списывать у меня, Хайдер?

Он посмотрел на меня пристально и чуть улыбнулся, первый раз за все время. Глаза у него стали еще более узкими и хитрыми.

— Понимаешь, я же хотел тебя бить вместе с Фроловым.

— Бить не стал и списывать не стал, — сказал я. — Неинтересно.

Он сбоку посмотрел на меня, покачал головой и сплюнул.

Длинная узкая улица кончилась. Ее пересекала дорога. Там были большие недостроенные дома, их строили, говорят, долго и уже совсем было построили, и шоссе должно было идти дальше, чуть ли не к другому городу. Но началась война. И вот теперь оно уходило вдаль и обрывалось резко, будто на полслове, как строка в недописанном диктанте. Дома были редкие, как невысаженный лес. Высокие, с голыми окнами, с темными пустыми проемами, будто после бомбежки. Людей здесь почти не было. Тишина. И вдруг я услышал, как стучат копыта. Они били четко и дробно по булыжнику в каком-то легком, веселом ритме, будто лошадь танцевала чечетку. Лошадь неслась вперед, она была серая, маленькая — не лошадь, а мышка. А за ней, раскачиваясь, летел

старинный, как в кино, возок. В этом возке сидел человек и улыбался мне.

Его возили из госпиталя, где он работал, то на грузовике, то на «эмке», то на этом допотопном возке. И я уже знал дробь этой серой лошади и обычно садился к нему в возок, и мы ехали вместе, покачиваясь, наталкиваясь друг на друга, и слушали, как лошадь растанцовывает свою чечетку. Но сейчас он мчался куда-то мимо меня, по шоссе. Он улыбался мне очень широко и весело, даже как-то слишком весело, чтобы я поверил в это веселье. А сзади, чуть отклонясь от него, сидела молодая женщина в шелковом цветастом платке. Черные волосы струились из-под этого платка, будто дым. Так, в дыму, они и промчались мимо меня. Когда они уже обогнали нас, он крикнул мне:

— Сережа, мы тебя подождем! Садись!

Я рванулся к нему, но осекся на полпути. Нет, кроме всего прочего, со мной был Хайдер. Я чувствовал, что лошадь сбавила ход, копыта били медленно, слабо.

Я махнул ему рукой: мол, поезжайте дальше — я не поеду. Лошадь рванула, быстро набрала скорость и стала отстукивать еще более четко и дробно, как пишущая машинка.

— Кто это? — спросил меня Хайдер.

Сначала я не услышал его вопроса.

— Кто этот человек? — повторил Хайдер.

— Мой отец.

— А женщина? Это твоя мать?

— Нет.

— А кто же она?

— Не знаю.

ГЛАВА 3

Двери были приоткрыты. Его я увидел в узком, длинном просвете. Был вечер, но он не сидел за столом, как обычно, и не ходил по комнате, как в те дни, когда очень уставал и ему предстояло еще ночью работать. Тогда он все ходил по комнате, все не садился, чтобы не разомлеть на стуле, не заснуть.

Сейчас он не сидел, не ходил, а плыл по комнате, взмахивая руками и ускользя за полки с книгами.

«Что это? — подумал я. — Странный день!» Но когда я вошел, понял, что все очень просто: отец натирает пол. Такое случилось редко — раз, два в году. Отец не любил порядка. И в Москве и здесь у нас было полно книг и газет. Они валялись где попало. Отец не мог расставаться со старыми газетами. Прежде чем завернуть в газету туфли, или хлеб, или книги, он осматривал газеты. «Зачем тебе газеты, отец? — спрашивал я его. — У нас и так черт знает какая пылица». — «Газеты — это история, — отвечал он. — У меня сохранились такие газеты...» — «Дореволюционные?» — «Нет, тогда я еще не читал газет. Революционные и всякие другие. Когда-нибудь тебе будет что почитать». — «А сейчас? — спрашивал я. — Почему сейчас не почитать?» — «Сейчас ты в этом не разберешься». — «А ты?» — «Да и я, пожалуй. Когда-нибудь мы будем разбираться вместе».

«Когда-нибудь...» Я не знаю, что такое «когда-нибудь». Может, это завтра, а может, через семьдесят лет, когда нас уже не будет. Я не люблю это «когда-нибудь» и не очень люблю старые газеты, потому что перед войной в одной порывевшей и отвердевшей от времени газете я прочитал плохое про моего отца. Я узнал, что в лекциях по невропатологии, которые читал мой отец, множество буржуазных заблуждений и вредных влияний, что в своих работах он придерживался немарксистских, каких-то фрейдистских взглядов.

Я никогда не спрашивал его об этом — только один раз, когда мы ехали сюда из Москвы в теплушке. Перед этим нас дважды бомбили, но отец успокаивал меня, говорил, что мы наверняка доедем. Он все время молча стоял у слюдяного оконца теплушки. Я не знаю, что он там разглядывал — шпалы, дорогу, затемненные поселки. Иногда мимо проходили составы с зачехленными самоходками. Они шли т у д а, мы — обратно. «Отец, — сказал я ему, — я читал в газете, что ты был немарксистом и придерживался немарксистских взглядов (был — подчеркнул я). Скажи, сейчас ты придерживаешься марксистских взглядов?» Он посмотрел на меня и сказал: «Я не знаю, кем я был. Мне кажется, я всегда был большевиком. Но, может быть, я ошибаюсь».

Больше я не спрашивал его об этом. Я знал, что он работает в госпитале и читает лекции студентам в меди-

цинском институте, эвакуированном в этот город, и я видел, как за ним приезжает машина «эмка», а иногда за ним присылают этот возок, потому что машин не хватает. И я думал так: раз ему доверяют лечить людей и заниматься со студентами, значит, он все-таки придерживается марксистских взглядов. И мне вовсе не надо ждать «когда-нибудь», чтобы в этом разобраться... Но все-таки я не любил старых газет. Их было так много в нашей комнате, и в них залегла пыль, и при малейшем движении, ветре она могла подняться, пойти в атаку на нас, на нашу комнату и задушить нас с отцом. Но отец не велел выбрасывать старые газеты: видно, ему мало было знать, что происходит сегодня, видно, он хотел запомнить все, что было вчера.

В доме он не соблюдал порядка. И только в редкие дни, раз в году, он принимался наводить в комнате блеск. И тогда я уходил куда-нибудь в уголок, в сторону и наблюдал за ним. Я знал, что это бывало в те дни, когда ему было плохо, когда он был злой, когда ему не нравилось все: он сам, и я, и наша жизнь, и наша комната. Но он не мог всего этого так быстро изменить. Так быстро изменить он мог только комнату. И он никогда не делал этого для гостей. А сегодня я не мог понять, что с ним; по-моему, у него было превосходное настроение.

— Пацан, с кем ты гулял? (Он часто называл меня «пацан».) Это что, твой новый товарищ?

«А с кем ты гулял? — хотел спросить я. — Это тоже твой новый товарищ?» Но я не сказал, удержался. Какое мне до нее дело! Она проехала мимо — и все.

— Ну, как тебе новая школа? — спросил отец.

— Обыкновенная скверная школа, — сказал я. — Классный — старая тупица.

— Ты, я вижу, настроен острокритически. Ты у меня критический реалист.

Отец был в духе. Если б он был не в духе, он проработал бы меня как следует. Он сказал бы мне про желторотое зазнайство и про то, что бывают и тупицы учителя, но гораздо чаще тупицы ученики. Но сегодня отец посмотрел на меня пристально и сказал как бы вскользь:

— А ты, кажется, в школе не скучал. Успел и подраться.

— Пришлось.

Расспрашивать он не стал. Он никогда не расспрашивал меня о драках и никогда не ругал меня за драки. Он молча отмывал мои распухшие глаза или перевязывал исцарапанные руки... Он вообще очень редко ругал меня. Он меня прорабатывал за всякие недостатки. Но самым большим недостатком он считал трусость.

— Иди-ка сюда, — сказал он.

Я подошел. Он потрогал пальцами мое лицо, пощупал затылок.

— Жить будешь, — сказал он.

— Ты ждешь гостей, отец?

— Может быть, кто-нибудь зайдет, — быстро сказал он. — Ты не возражаешь?

— Ты же знаешь, я никогда не возражаю, если тебе надо.

— Знаю.

Обычно он рассказывал мне о тех, кто к нам должен был прийти. Это были всегда самые интересные люди. Отец очень любил рассказывать о необыкновенных достоинствах своих друзей. Но в последнее время в Москве и здесь к нам редко кто приходил. Особенно в Москве. Там приходили давно, еще до того, как отец уехал куда-то из Москвы на два года, а потом вернулся постаревший и больной, еще до того, как они разошлись с матерью, еще тогда, когда мы жили все вместе на Волхонке. Тогда мы вместе отправлялись в кино и смотрели Чаплина, и я хохотал — мне нравилось, как он ходит, не сгибая ног. Я хохотал и дергал мать, и она говорила, что я смеюсь там, где полагается плакать. Потом мы шли домой и вспоминали Чарли Чаплина, и все его проделки, и особенно то, как он завинчивал гайкой пуговицы на платье у одной старой женщины...

Вот тогда, в те времена, к нам ходило много друзей, а потом, когда отец уехал на два года, к нам никто не ходил. И когда он приехал старый, больной, к нам тоже мало кто приходил. А потом уж началась война...

Отец натер пол и перетряхнул газеты. Он сдул пыль с книг и открыл форточку.

— Вот теперь в нашей пещере можно жить. Вполне приличная пещера.

Он стоял посередине комнаты и был очень молодым.

У него бывали такие дни, не часто, но бывали... В последнее время все реже и реже. Он становился вдруг таким молодым, очень молодым, почти как я, может быть, немного старше. Только сильнее и красивее, только мужественнее, умнее, и все у него было молодым: и серые небольшие глаза, и светлые брови над ними, и седые волосы тоже становились молодыми... И я замечал, как он молод и еще крепок, и какие у него продолговатые мускулы на плечах, и какая у него выпуклая и мощная грудь.

А иногда он становился совсем старым. Он приходил с работы, и я не узнавал его: лицо тусклое, серое, и глаза маленькие, тусклые, серые, и волосы не седые, а какие-то висающие, словно бы поредевшие... Он что-то вяло спрашивал меня, не вслушиваясь в ответы, подолгу вертел газету в руках, читал без интереса, по-моему, и не вдаваясь особенно в смысл слов. Он мог повторять одну и ту же фразу ни в склад ни в лад, безо всякого смысла и без выражения: «Вот такая история», «Да, вот такая историйка...» Я не знал, какая там историйка, да, наверно, никакой историйки и не было, просто это отец так говорил, вроде присказки. А мне хотелось подойти к нему и что-нибудь сказать, как-то отвлечь от этой самой историйки или, может быть, обнять его. Но он не признавал этих штук и отучал меня от всяких бабских нежностей. «Главное, чтобы ты не вырос слюнтяем,— говорил он мне.— В каждом из нас сидит склонность к слюнтяйству, но надо давить это в себе». И я давил. И никогда не лез к нему. Я не помню, чтобы мы с отцом когда-нибудь целовались. По-моему, он никогда не целовался... Может быть, только в детстве или в ранней юности. Когда я был маленьким, он не терпел, когда меня тискали и целовали. Он считал, что это негигиенично. Вот когда я надевал его жилет, который был мне до пят, и бежал ему навстречу по коридору, чуть не падая,— вот это он любил. И матери тоже нравилось, когда я щеголял в его вещах. Мать любила его, когда он был. А когда уехал на два года... Она могла любить только тех, кто рядом. Тех, кто далеко, она не могла любить — такой уж у нее был характер.

Отец кончил уборку в комнате, а мне захотелось спать. Наплевать мне на гостей, я и так обалдел после этой

школы. Неохота ни с кем разговаривать... Я стал стелить себе.

— Ты чего? — удивился отец. — Ты же никогда не ложишься раньше десяти. Тебе, может быть, нездоровится?

— Здоровится, — сказал я. — Спать хочу. Завтра в семь тащиться в эту казарму.

Он опять пропустил мимо ушей последнюю фразу. Сегодня он был добрый.

Я поставил раскладушку у окна и лег. Я привык спать около окна. В Москве я слушал, как гудят машины, как трамваи тормозят на перекрестке, и от этого моя кровать чуть вибрировала, словно через нее проходил ток. Еще я слышал стук дверей в подъезде и высокий женский смех. Кого-то провожали, кто-то смеялся. «Ну чего она смеется, как дура? — думал я. — Щекочут ее, что ли?»

А здесь не тормозили трамваи, не гудели машины, двери подъезда не хлопали, не смеялась женщина, которую провожали, здесь было тихо, будто, кроме нас, никто и не жил в этом городе. И ветер здесь тоже был другой — холодный и долгий, не порывистый, а именно долгий, постоянный, как очень сильная тяга из вентилятора. Мне хотелось спать, а я не мог заснуть. И я видел дорогу, которую сам себе придумал, которую придумывал всегда, когда мне не спалось... Вот она, эта дорога. Она большая, чистая. Это — подмосковное шоссе. Я иду по нему, мимо меня — машины, они шумят, словно бы толкают друг друга, но вот они проезжают, и становится тихо. Я иду по своей тихой дороге и знаю: мне уже не надо бояться машин, они все проехали, и я иду так спокойно, легко, а когда я устал, то сошел с шоссе и лег на траву. Вижу небо, слышу, как трава звенит, звон спокойный, отчетливый, и еще какое-то стрекотанье, и под него я и засыпаю. И никто меня теперь не тронет — ни машины, ни люди, только муравьи.

Это я давно себе придумал, когда мне было лет десять. Тогда умер мой дед, я плохо спал и боялся машин. Мой дед попал под машину. Вот я и думал об этих машинах, и все это связалось с каким-то подмосковным шоссе и с тем, что я иду, а машины обгоняют меня и не трогают, а потом я ложусь в траву, и ни о чем не думаю, и не

слышу плача матери, не вижу деда, странного, желтого, лежащего на столе в гробу, пахнущем краской и струганым деревом. Ничего этого нет, а только шоссе и поле сбоку. А потом деда я забыл, и он исчез, а шоссе осталось, и трава тоже. И когда мне не спалось, я это всегда вспоминал. Так я заснул и сейчас, только шоссе мое не было спокойным, по нему все шли и шли машины, грузовики, а на них стояли танки. «Как они умещаются на грузовиках? — думал я во сне и удивлялся. — Как это они умещаются, огромные танки, на маленьких грузовиках?» Но вот один сваливается с грузовика и идет по шоссе и зачем-то сворачивает влево. Теперь он ползет по траве. Грохот дикий. Я вижу его совсем близко и знаю: надо встать и бежать изо всех сил. А я не могу встать. Лежу и жду.

— Почему у него голова так высоко? Это вредно. У него ведь еще не сформировавшийся позвоночник. Сколько ему?

— Ему пятнадцать с лишком, он у меня большой. А здесь просто раскладушка неудобная.

— У него будет деформация позвоночника. Вы же врач, зачем вы так его кладете? Вот он и кричит во сне.

— Я его кладу? Он сам кого хочет положит.

Кто-то поправляет мне подушку. Отец? Нет, не отцовское движение. Я-то знаю, как отец поправляет подушку. Чуть приоткрываю глаза. Хочу совсем открыть, но не могу... Никаких танков, никакого шоссе. В комнате горит коптилка. Кто-то склоняется надо мной. Вот я все-таки открываю глаза и теперь вижу: это женщина. Молодая женщина. У нее черные волосы. У нее косынка, косынка касается моей щеки. Будто вода капнула на мою щеку. «Какого черта! — думаю я. — Какое у нее право поправлять мою подушку? Кто она? Врач, что ли? А мне не нужен врач. Я здоров...»

Теперь я уже совсем открываю глаза и стряхиваю с лица ее косынку.

— Кто вы?

Она растерянно смотрит на меня. Глаза ее очень близко от меня. Они серые, а белок голубоватый. А волосы черные.

— Кто вы? — говорю я и приподнимаюсь.

— Успокойся, чего ты так разбушевался спросонья?

Заснул-то ты в девять, а теперь вот разгулялся. — Это голос отца, очень спокойный голос отца. — И познакомься, раз уж ты проснулся. Это моя сослуживица по госпиталю Рашель Яковлевна.

Я протягиваю ей руку.

— Шеля, — говорит она и улыбается. — А ты меня испугал.

ГЛАВА 4

Я встал в полседьмого. Рассвет был низкий, тускловатый, и я не чувствовал утра. Я любил чувствовать утро, когда выскакиваешь на улицу и асфальт утренний, четкий, нехоженный, как первый снег, и деревья утренние — дышат легко и сильно, и только к вечеру они запылятся и словно бы постареют. (И сам я утром другой, я чистый и сильный, а к вечеру и я запылюсь, как эти деревья.)

Но сегодня я не почувствовал утра, я только видел бледный ленивый рассвет и знал: надо идти в эту проклятую школу.

Голова у меня была тяжелая после сегодняшней ночи. Отца я не видел, он уехал в госпиталь часов в шесть.

Мне почему-то захотелось прогулять. В Москве я любил прогуливать. Я никогда не прогуливал, когда контрольные или опрос, а просто так, стихийно, без повода. Я шел в школу, еще не зная, что я прогуляю. Я выходил, шел привычной дорогой, мне было скучно, и вдруг я думал: ведь можно же прогулять. Никто меня не будет судить и не посадит в тюрьму, если я прогуляю. Самое большее — мне поставят «хор.» по поведению. Ну и пусть «хор.»! Я согласен иметь хорошее поведение, согласен быть хорошим, а не отличным. И я прогуливал не слишком часто, чтобы не быть неприличным, но с удовольствием. У меня бывали тематические прогулы, тему я выбирал по дороге. Например, западная литература. И я шел в Ленинку, в зал для юношества, и брал разные романы Бальзака, Золя (Мопассана в школьном зале не выдавали, кроме патриотических рассказов). Так вот, я сижу, читаю (а в это время идет химия и вызывают

Лешку Шангелая, и он встает, хлопнув доской парты, как крышкой гроба, и сыплется со страшной силой, и смотрит на мое место, а там пусто, никто ему не подскажет — мне даже совестно становится, — он «засыпается», а я читаю Бальзака). Еще в библиотеке я любил смотреть на десятиклассниц. Там было несколько очень хороших десятиклассниц. Одна мне сказала (это было года два назад): «Тебе рано читать такие книги». Я как раз брал «Саламбо» Флобера. «Лучше раньше, чем никогда», — сказал ей. И был очень доволен, что так быстро нашелся. Она только пожалала плечами. Ее звали Яна. Она была черненькая, большеглазая.

В начале войны, кажется в сентябре, я пришел к Яне, она жила близко от нас, около Дома ученых. Мы собирали бумагу для топки, и я пошел за бумагой к ней. Открыла какая-то старуха, рыжая, толстая, румяная. «А Яны, — говорит, — нет». — «А где, — спрашиваю, — Яна, ушла?» — «Ушла, — говорит. — Ушла, — говорит, — на фронт и сражается с немецко-фашистскими захватчиками. А я ее соседка. А вам что надо?» — «А нам бумагу надо». — «А, бумагу! — Старуха сразу повеселела: она думала, что нам нужно что-то другое, может быть хлеб. — Бумага, — говорит, — у нас есть». И ушла.

А потом приходит и тащит какие-то книги. Открываю первую и вижу: «Саламбо». И сверху на титуле чернилами: «Яна Россовская».

Я спрашиваю у старухи: «Так это ваши книги?» — «Нет, — говорит, — Яночкины». — «Так что же вы, — говорю, — ее книгами распоряжаетесь? Вам еще рано ее книгами распоряжаться». А она вдруг улыбается румяной такой, гадкой улыбкой и говорит: «Лучше раньше, чем никогда». Как раз мою фразу. Мне стало тогда очень противно, и я сказал ей: «Хорошо, я возьму у вас ее книги. А то кто вас знает, — фронт близко, может, к немцам их потащит. Они очень уважают французскую литературу». Старуха как заорет на меня. А я ей говорю: «Вы помолчите лучше. Отдохните». (Это говорил нам один физик, когда злился на кого-нибудь из учеников.) Но я понял, что это на нее не подействовало.

С тех пор я никогда не видел Яны, а прогуливать я перестал в конце предвоенного учебного года. Тогда было очень жарко, я зачем-то пошел в Планетарий и му-

чился там в духоте. Звезд было слишком много, и лектор все спорил с каким-то одним и тем же деятелем насчет тайны Тунгусского метеорита. Спорили они долго и нудно, будто по шпиргалке, и я пожалел, что притащился сюда. Это был мой последний прогул.

А сегодня мне снова очень захотелось прогулять. Утренние улицы были полупустые, тихие, и только у булочной стояла огромная очередь. Над булочной торчал радиорепродуктор, похожий по форме на уменьшенный вестибюль метро «Дзержинская».

Около булочной я увидел Фролова. Он шел с каким-то парнем. «Начинается», — подумал я. Я его не боялся. Если уж говорить честно, так я вообще мало кого из ребят боялся. Но мне не хотелось сегодня драться, не было злости. Я был сегодня другой, чем вчера. Он поманил меня пальцем; я равнодушно посмотрел на него и пошел дальше. Он догнал меня и молча пошел рядом. Так мы шли метров двадцать, тихой, чинной парой.

— Ну что ж, поквитаемся, — улыбаясь, сказал он. — Как ты думаешь, москвич?

— Думаю, не надо, — вежливо и даже приветливо ответил я.

Он очень удивился:

— Почему это?

— Потому что ты слабак. Оказывается, и в Сибири есть слабаки.

Он потемнел, весь как-то осунулся от злости. Второй спокойно шел следом за ним. Я продолжал свою речь:

— Я думал: ну, стихов не знает, зато драться умеет. Ничего ты не умеешь, труха. Что мне с тобой делать, кретин?

Мне кажется, ярость у него прошла. По-моему, он даже расстроился. А я продолжал, мне понравилось:

— Если только вдвоем, то конечно. Но и то не наверняка. Тебя-то, кретин, я одной левой, а вот второго... не знаю...

Фролов оторопело толкнул меня в грудь. Я отлетел на два шага, но удержался, не упал. Второй стоял расслабленно, смотрел на нас без всякого интереса. Видно, драться ему не хотелось.

— Ну, смотри, кретин,— сказал я,— сейчас я тебе буду челюсть ломать.

Он стал быстро надвигаться на меня. Я четко увидел его глаза. Они были голубые, бешеные, какие-то сумасшедшие, такие всегда бывают у злых и трусливых. Но, может быть, он был не такой, кто его знает, Фролова?

Вдруг стало очень тихо. Кто-то шикнул на нас:

— Заткнитесь, шпанята!

Я увидел, что все смотрят вверх, в черное горло репродуктора.

Над очередью, над тихим утренним городом, надо мной и Фроловым звучал бесстрастно-внушительный, почти траурный в начале фраз и искусственно бодрый в конце голос Левитана:

«Наши войска после упорных и продолжительных боев с превосходящими силами противника оставили город Харьков».

Никто в толпе не удивился, не ахнул, было так же тихо, как до передачи, и только старухи крестились, словно Харьков стал покойником.

«Чего вы молитесь, старухи? — хотел я крикнуть. — У немцев тот же бог, что и у вас». Но я оглянулся и увидел эти помертвевшие, тусклые лица. И, оглянувшись, я увидел Фролова. Он стоял опустив руки, забыв обо мне, неподвижно глядя на землю, на стертый пегий булыжник. Что знаю я о нем?.. Что он сволочь... Что он ненавидит меня. И еще что у него отец на фронте. Только на каком направлении? Может, на Малоярославецком или на Можайском. А может, и на Харьковском.

ГЛАВА 5

Хайдера я все-таки не пойму. Мы встретились так, как будто не были знакомы. Мы с ним ни словом не перекинулись... Потом после уроков мы ходили на завод, собирали металлическую чушку. Все ребята на совесть работали. Фролов тоже старался, а Хайдер работал как остервенелый. У него даже лицо побелело, и классный спросил:

— Хайдер, тебе что, нехорошо?

А он тащил на себе здоровенную ржавую балку. И он зло так ответил классному.

— Мне, — говорит, — очень хорошо. Лучше, чем вам.

Когда всех ребят собирали, чтобы вести в проходную с территории, Хайдера не было. Он ходил по двору, рыжий от пыли, и выискивал какие-то никому не нужные железяки и собирал их в кучу.

Когда мы шли домой, он повеселел и даже напевал что-то морское, вроде «Раскинулось море широко». Слух у него был ужасный.

— Ты отчего это сегодня такой веселый? — спросил я Хайдера. — Может, у тебя день рождения?

— Да нет. Я вообще веселый, — сказал он. — А потом, понимаешь, когда мы стишки учим — это дело одно. От этого фронту ни тепло ни холодно, а когда мы металллом собираем — это уже другое дело. Понятно?

В душе я согласился с ним, но на всякий случай я все-таки сказал:

— Стихи фронту тоже помогают. Вот Симонов написал «Жди меня», читал?

— Нет. А про что там.

— А там солдат жене пишет:

«Жди меня, и я вернусь, не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора... Не понять, не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня».

Хайдер задумался. Потом он сказал:

— А ну-ка еще прочти.

Я прочитал ему еще раз, целиком... Он достал из кармана тетрадный лист бумаги:

— Перепиши мне.

Я удивился:

— Зачем тебе? Ты же стихов не любишь.

— Кто тебе сказал, что не люблю? Я их люблю, только не читаю. А эти стихи мне нужны. Я материнo письмо писать буду — вставлю.

— А мать разве сама не умеет?

— Нет. Расписываться я ее научил, а так не умеет... А я всегда что-нибудь в письмо вставляю. Или памфлет какой, или из статьи Эренбурга. Только вот стихи никогда не вставлял.

— А долго письма до фронта идут? — спросил я.

— Долго, — сказал он. — А с фронта еще дольше.

— Знаешь что, Хайдер, пошли ко мне. Мы с тобой в шахматишки сыграем.

Он будто бы не расслышал. Он стоял и словно бы что-то прикидывал в уме. Может, подсчитывал, сколько прошло времени с последнего письма. Лицо у него было маленькое, как бы усохшее. Видно, он здорово вымотался на заводе. И вот сейчас он придет домой и сядет писать письмо. Он будет делать ошибки, десятки, сотни ошибок, потому что в письмах текст гораздо более трудный, чем в диктантах.

— Пойдем ко мне, Хайдер. Если ты не хочешь в шахматы, мы сыграем в поддавки. Скучать ты не будешь.

— А я и так не скучаю, — сказал он и пошел за мной.

Дома мы пили жгуче-сладкий сахариновый чай и играли в шахматы. Я думал, что запросто обыграю Хайдера. У отца был первый разряд: когда-то он сильно увлекался шахматами и кое-чему меня научил. Но в первой партии мне не удалось выиграть у Хайдера. Он играл цепко, упрямо, подолгу думал над ходами, а я долго думать не любил. Я принимал решения быстро, мгновенно, они словно бы вспыхивали в моем мозгу, и тут же нажималась какая-то кнопочка, и моя рука как бы сама собой выбрасывалась вперед, и я делал ход. И очень часто это был не самый лучший ход. А Хайдер склонялся над доской и погружался в раздумье. Лицо его было неподвижно, спокойно, ничто его не отвлекало, ни о чем он, казалось, не думал, кроме того, как ответить на мой не самый лучший ход самым лучшим, единственным ходом. И он находил такой ход, и его узкая смуглая рука крепко хватала за горло коня, и выдрессированный Хайдером конь послушно прыгал на мои фигуры; они робели и в беспорядке расступались по сторонам. Первую партию я ему проиграл. Потом пришел отец.

— Здорово, Эммануил Ласкер, — сказал он мне. — Привет Хосе Раулю Капабланке, — сказал он Хайдеру и протянул ему руку.

— Я не Хосе Рауль Капабланка, — сумрачно ответил Хайдер.

— А кто же ты? — удивился отец. — Доктор Тарраш или Стейниц? А может быть, ты и вовсе Каро-Канн?

— Я Хайдер, — сказал он...

Все-таки он был странный мужик. Иногда мне казалось, что он все понимает, а иногда я думал, что вместо извилин у него корни дуба.

Отец стал около нас и внимательно посмотрел на доску.

— А доктор Тарраш неплохо ставит партию. Совсем не плохо. Чувство позиции у него развито лучше, чем чувство юмора. Еще два хода, и ты, пацан, задымишься.

Хайдер готовил ферзевый прорыв в центре.

— А ну,— азартно сказал отец,— дай-ка мне.

Я уступил ему место. Он сел, снял пиджак, и так же, как и Хайдер, забыл обо всем на свете. Этим они оба отличались от меня, они забывали про все остальное, а я помнил. Поэтому они и выигрывали у меня. Но отец забывал про все остальное легко, с наслаждением, он играл, а Хайдер боролся. Этим они отличались друг от друга. И может быть, поэтому отец и выиграл у Хайдера. Он выиграл у него и вторую партию. Хайдер предложил третью. Отец согласился. Хайдер вцепился глазами в фигуры, ссутулился, прищурил и без того узкие раскосые глаза и объявил отцу войну. Отец развязал галстук, скрутил сигарку и принял бой. Отец постепенно теснил позицию Хайдера. Теперь Хайдер начал дымиться. Лицо у него стало злое, он даже начал покусывать губы. Оказывается, он не любил проигрывать. Никто не любит проигрывать, но есть такие, которые особенно не любят проигрывать. Которые страдают от этого. Мне таких жаль. И я понял, что если и на этот раз Хайдер продуется, то на ближайший час его жизнь, а значит, и моя будет мрачной и суровой.

К счастью, это понял и отец. И вдруг совершенно неожиданно он допустил маленькую ошибку. Совсем маленькую ошибку. Он хватался за лоб, садился и вставал — словом, выдавал малый Художественный театр. Отец делал это так искренне, что Хайдер воспринял спектакль всерьез. Он выиграл у отца пешку, потом вторую, а затем и партию. Я думал, он будет радоваться, но он встал с таким видом, будто иначе и быть не могло. Отец смотрел на него с любопытством.

— А в поддавки ты умеешь? — спросил отец.

— Нет,— сказал Хайдер,— я поддаваться не люблю.

Отец улыбнулся. Кажется, Хайдер ему понравился. Он

не любил вежливых, аккуратненьких... А такие ему нравились.

— Придется нам с тобой играть матч,— сказал он,— из сорока восьми партий. На первенство мира и его окрестностей. Ты согласен?

Хайдер засмеялся. Вот на такие шутки он реагировал, а на Хосе Рауля Капабланку — никак.

У отца было хорошее настроение, и я представлял себе, что мы проведем чудесный вечер втроем. Но отец тут же стал куда-то собираться.

— У тебя что, работа сегодня? — спросил я.

Он помялся.

— Да нет,— сказал он.

Врать он все-таки не умел.

— А вы сидите,— обратился он к Хайдеру.— Куда вам спешить? Сыграйте еще в шахматы.

— А в домино ты нам не позволишь? — сказал я.

Отец внимательно и как-то отчужденно посмотрел на меня. Так он смотрел иногда на других, но не на меня. На меня он редко так смотрел. Он кивнул нам и закрыл дверь. Я подошел к окну. Я знал, что через минуту я увижу его: он будет идти по двору, а потом по переулку, и, до тех пор пока не перейдет на другую сторону мостовой, я буду видеть его... И я действительно увидел, как он шел небыстро, задумчиво, словно еще не зная, куда ему повернуть, в какую сторону. Но это, наверное, только казалось, потому что сверху человек всегда выглядит иным. Он хорошо знал, в какую сторону ему идти.

— Куда это он? — спросил Хайдер.

Я пожал плечами.

— А чего ты скуксился? Мало ли какие у него дела. Мой отец тоже вечерами уходил, и никто ему ни слова: ни мать, ни я. А мать так говорила: «Мало ли какие у них дела. Важно, что он любит ребенка».

— Ребенка-то он любит,— сказал я.

ГЛАВА 6

Она приходит к нам почти каждый день. Иногда она говорит с отцом на всякие медицинские темы, а так все больше молчит. Сидит, курит. Мне нравится, когда мо-

лодые женщины курят. Она сидит, курит, смотрит в окно, будто нет ни отца, ни меня. Спрашивается: зачем это делать у нас? Точно так же она может молчать и курить у себя дома. Она из Ленинграда. А родители жили где-то в районе Бреста, погибли в первые же дни войны. Когда отец что-нибудь говорит, она в с я его слушает — каждым волосом, каждым пальцем. Даже противно. Правда, его многие внимательно слушают. Я в Москве был на его лекции — тишина такая, что я заснул.

Мне нравится ее лицо, вернее, нравилось бы, если б она была п р о с т о женщина, посторонняя женщина, которую я увидел на улице. Но она не просто женщина. И поэтому лицо ее мне все-таки не очень уж нравится. Уж слишком часто я его вижу. Они с отцом на «вы», но, по-моему, это маскарад, уж лучше бы по-честному.

А может, все это мне только кажется. Разве не бывает, что мужчина и женщина просто дружат. Просто дружат, ну как я с Хайдером, что ли... Ну не совсем так, но приблизительно. Вот и они просто дружат. И раз она друг моего отца, значит, она и мой друг. Вассал моего вассала мой вассал.

В детстве у меня была такая привычка: когда кто-нибудь приходил к нам в дом, я спрашивал: «Вы любите моего отца?» Я у всех спрашивал. Некоторые смущались, а отец говорил: «Ты задаешь довольно странные вопросы». А мне было все равно, мне было важно знать, любят ли они моего отца. Если нет — так пусть уходят, пусть катятся колбаской по Малой Спасской.

Я не знал тогда, что люди могут и наврать. Я знал только одно: если они любят моего отца, значит, с ними можно разговаривать. Те, кто любили его, были хорошие люди. А теперь вот я уже не спрашиваю: вы любите моего отца? А вдруг, как в детстве, ответят: «да»?..

Однажды она торчала у нас целый день. У нее был выходной в госпитале. А перед этим мы получили по спецпайку какие-то продукты, и она готовила что-то, какой-то невероятный суп. Она его варила, жарила, парила, пекла... Мне и отцу. А я пришел из школы, мне жрать хотелось чертовски. Да и вообще до этого спецпайка в доме жратвы почти не было. Во всяком случае, супов я уже очень давно не ел. И вот прихожу я из школы, отца еще нет. Только она со своим супом возится.

Наконец она его сотворила и наливает мне. Суп был гороховый. О запахе я говорить не буду — с начала войны я такого запаха не слышал. Видно, она изо всех сил старалась для отца и для меня, хотела показать, какая она хозяйка. Наливает она мне этот суп. Он течет густо, медленно, не течет, а сползает с деревянной большой ложки, как каша. Я стою жду. Глаза у нее блестят, будто она не суп приготовила, а открыла новый закон Бойля — Мариотта. Волнуется, как на премьерe. Налила мне миску и говорит:

— Ну, пацан, отведай-ка супу.

Вот это меня и взорвало. Пацаном меня отец называл, она слышала и, видно, решила, что и всем можно. А кто она мне? Какой я ей, к чертовой матери, пацан? К тому же это было неожиданно.

И я ей говорю тихим таким, будничным голосом:

— Знаете что, вы меня, пожалуйста, с этого дня зовите по имени-отчеству.

— Ка-ак? — Она побледнела, но глаза у нее какие-то стервозные, веселые.

Смеешься, думаю, ну смейся. Может, поговорку забыла...

— Хорошо, — сказала она серьезно и спокойно. — С этого момента я буду называть тебя только по имени-отчеству. Сергей Дмитриевич, я прошу вас отобедать. Суп вам уже подан.

Я хотел сесть за стол, посмотрел на миску, которая словно была закрыта дымной завесой. Я сделал было движение к столу, но что-то толкнуло меня в другую сторону, и я, наоборот, отошел от стола.

— Я не голодный. Спасибо.

И я вышел из комнаты. Я постоял еще секунду у полуоткрытой двери, видел, как она села у двух дымящихся мисок, но есть не стала, а сложила руки на столе и положила на них голову. Так сидят ученики, когда им вlepили «пару» ни за что. Пар уже редел, но все-таки шел, и от этого ее голова была не черная, а словно бы побелевшая. Так и сидит, смотрит куда-то мимо мисок. Я ее увидел как будто в первый раз. Шея у нее была длинная, гибкая, а на шее беленький воротничок, как у школьницы-малолетки. И вся она была молодая, несмотря на то что из-за пара голова казалась побелевшей. Но это

только так — пар, вроде бы мираж, в самом-то деле у нее ни волоска седины. Пожалуй, она была даже слишком молодая. Суп мой уже совсем остыл, теперь тоненькая, прерывистая струйка исчезла, а она сидела, положив голову на скрещенные руки, и о чем-то думала. А я старался ни о чем не думать: ни о том, как она готовила нам суп, ни о том, как сказала мне «пацан», ни о том, как я велел ей называть себя по имени-отчеству, ни о том, как я, будто псих, вскочил из-за стола. Не хотел я об этом думать. Лучше бы этого не было! Мой отец сказал как-то об одном своем сослуживце: «Он строго принципиален. У него в каждом заштопанном носке — по принципу». Я таких ненавижу, но я и сам стал такой же. Если б я был человек, я бы честно сожрал миску супа и сказал бы ей спасибо. Все это не по-мужски. Мужчина может быть неправ, но он не должен поднимать панику из-за пустяков. Отец втолковывал мне это не раз. Отец прощает многое, но таких вещей он терпеть не может. А как бы поступил настоящий человек, настоящий мужчина? Сейчас, уже после всего этого.

Я вижу, как она подняла лицо, вижу, что глаза у нее стали безразличные и она словно примирилась с чем-то или с невозможностью чего-то. Она взяла злосчастные миски и стала медленно выливать суп в кастрюлю. Я глядел на нее и уговаривал себя, что она противна мне. Но самое удивительное было то, что она не была противна мне, и я это знал с самого начала, с первого дня, и, как бы я ни уговаривал себя, что я ненавижу ее, я ее н а в и д е л (я всегда для краткости употреблял это слово: надо не бояться новых оборотов).

Она стоит спиной ко мне. Она высокая, но не как некоторые женщины, что похожи на метлу или на жердь. Она высокая, но плотная и, видно, сильная, ноги в серых нитяных чулках — мускулистые, с высоким крутым подъемом. Мне не нравится, когда у женщин плоские ступни. Кажется, что ноги ввинчены в землю и не могут от нее оторваться.

И вообще отец понимает... Но что-то есть в ней забитое. Может, это оттого, что родители погибли в первые дни войны. А может, она и всегда такая была, такой уж характер. Или оттого, что меня боится, или еще почему-нибудь? А чего ей меня бояться — кто я, «злой мальчик»,

что ли? Я ведь с ней вполне нормально, только без всяких разговоров, без всяких там симпатий и антипатий. Здравствуйте — до свидания. Но вот сегодня я треснул, как старый сгнивший рояль, треснул и издал истощный звук, аж самому противно. Но извиняться я не могу. Мура это — извиняться. Пусть барышни извиняются.

Она все стоит, смотрит в пустые миски, плечи у нее опущены. Все-таки она женщина, а женщины всегда переживают. Мать всегда все переживала. Но мать быстро отходила. «Ты не умеешь сердиться, — говорил ей отец, — это плохо. Настоящие люди должны уметь сердиться». Мне кажется, здесь он был неправ.

Я быстро открываю дверь и вхожу в комнату.

— Знаете что... Я за это время что-то проголодался. Я, пожалуй, поем.

Она долго не улыбочиво смотрит на меня. Потом зажигает керосинку.

— Да вы не грейте, — говорю я ей. — Я и так могу.

— Зачем же так. Мне подогреть нетрудно.

Стоит у керосинки, курит самокрутку; дым у самокрутки такой, что даже у меня на расстоянии глаза слезятся. А я сижу за столом, молчу. Положение идиотское. Она тоже молчит. Бледная она все же, но это, наверно, оттого, что курит... Она молчит, и я молчу. Только у нее дело есть — суп греть и курить, а я сижу, раскинув руки на столе, будто я не у себя дома, а в школе, на экзамене, стол пустой и шпаргалок нету. Тут поневоле раскинешь руки. А суп, подлый, все не согревается, только кастрюля чуть позванивает. Наконец звон этот прекратился и перешел в густое гудение, и снова нетерпеливо и яростно забил пар. Она молча налила мне одному.

— А вы?

Она поколебалась. Я подумал: видно, ты-то умеешь сердиться, ты-то из забывчивых. Я уверен был, что она не станет есть со мной, а будет дожидаться отца. Она мгновение поколебалась, сделала последнюю затяжку, исподлобья поглядела на меня серыми, широко отставленными друг от друга глазами и молча плеснула в свою миску супу. Именно плеснула, а не налила деревянной ложкой, бережно и старательно, как раньше. И все-таки она села со мной. Я придумывал, что бы ей сказать.

Я уже чувствовал, что мне невыносима эта тишина, что у меня даже уши начинают болеть от этой тишины. Но я так и не придумал, что же ей сказать...

И тут вошел отец. Он прерывисто дышал, как всегда, когда приходил с улицы. Казалось, что он не входит домой, а вбегает. Будто опаздывает. Он посмотрел сначала на меня, а потом на нее. Он увидел, как мы едим вдвоем за большим пустым столом. Он пришел с улицы, торопился, а теперь он был дома и не мог сразу разобраться в том, что здесь было. Он просто видел, как мы сидели и ели: она и я.

Он улыбнулся и сказал негромко и очень довольно:

— Рубаете, ребята? Вот это правильно. Это вы молодцы — весело рубаете. А мне с вами можно?

Она промолчала. А я сказал:

— Еще бы... С тобой еще веселее будет.

ГЛАВА 7

Последние дни отец приходит совсем поздно. Не из-за нее. Сейчас у него очень много работы. Все его лекции для студентов прекращены. Целые дни он проводит в госпитале, делает сложнейшие операции на мозге. Тяжелораненых доставляют сюда, в глубокий тыл, специальными эшелонами. В госпитале давно уже не хватает мест, а новый корпус до сих пор не достроен.

Я внимательно читаю газеты. Там можно узнать про геройский рейд буденовской кавалерии в тыл врага, про то, как наши соколы сбили двух немецко-фашистских стервятников, про то, как мальчик-партизан бутылкой с зажигательной жидкостью подбил танк.

Я читал до войны одну книгу, кажется, она называлась «Гитлер против СССР». Там все было написано: почему мы сильнее, как и в какие сроки мы будем побеждать, в чем наша главная мощь и в чем слабость Гитлера.

А я знал: враг будет разбит. Будет разбит! Иначе быть не может.

Скорее перестанет существовать мир, чем кончится наша страна. Этого не будет никогда, даже если мы сдадим тот город, в котором мы сейчас живем. Никогда!

Чтобы все изменилось, чтобы не было того, что было всегда: «Пионерских зорек» на рассвете, школы днем, последних известий, которые читает Левитан, вечером; чтобы не было нашего 1 Мая и нашего 7 Ноября; чтобы по радио не играли позывных «Интернационала»; чтобы утром не приходила газета «Правда» с силуэтом Ленина; чтобы дети не играли в «красных» и в «белых»; чтобы на школьных утренниках не пели «Широка страна моя родная...»; чтобы страна стала огромным концлагерем; чтобы немцы входили в наши города, чтобы они шли по Волхонке и Чистым прудам, чтобы они жили в нашей квартире, — нет, не мог я этого представить так же, как человек не может представить, что его не будет на свете.

Я знал, что это уже произошло с другими странами: с Францией, с Англией, с Польшей. Мне было больно за них, но они все-таки были чужими мне... Говоря откровенно, все люди мне нравились: американцы, англичане и особенно французы. До войны мне все нравились. Мне даже немцы нравились. Наш классный всегда говорил: «Это одна из самых разумных наций».

Мне они перестали нравиться потом. Потом, когда нам показывали кинохронику, где они шли убийственным, каким-то неприличным гусиным шагом, равняя на экран сведенные в восторге и торжестве скулы, шли по пустым, вымершим площадям. Это были удивительные, нечеловечески безлюдные и траурные площади. И немцы все казались мне на одно лицо. Я знал: они разные, есть и хорошие, есть и коммунисты... Но сейчас не хотелось в этом разбираться. Когда-нибудь, когда победим. И еще помню другие хроники, где Адольф лаял с какой-то трибуны и все дергался, будто ненормальный, и был очень смешным и от этого особенно страшным.

А когда уже началась война, нам в школе однажды показывали фильм «Чапаев», и мы смотрели его в восьмой или в девятый раз и всё знали наизусть, — я ждал одного места, того места, где белые идут в психическую атаку. Они шли точь-в-точь как фашисты по пустой, мертвой площади, таким же точно шагом, и когда Чапаев и Анка начали косить их, я снова знал все наперед, и снова волновался, и слышал, как младшеклассники орали: «Бей немцев, гадов, гитлериков!»

А потом мы все кричали и топали ногами, а учителя не одергивали нас, хотя это был школьный просмотр. Это было в самые первые дни войны, когда еще почти никто не эвакуировался. Но занятий толком не было, занимались с пятого на десятое. И всем было весело и азартно оттого, что эти самые немцы ложатся под нашим огнем и уже не будут по-заячьи вскидывать ноги и идти по площадям, похожим на пустыни. И когда сеанс прерывался, и начиналась учебная воздушная тревога, и нас вели в бомбоубежище, я думал: вот и кончилось кино.

И наш классный спускался вместе с нами в бомбоубежище. Там было холодно и тихо, и стены были коричневые и влажные, а на них висели инструкции. И вдруг классный начинал чихать. Он был маленький, а чихал громогласно, перекатами, затяжными залпами, со свистом и с сотрясением воздушных волн. Его чихание гроыхало под низкими сводами бомбоубежища, как грохот зенитки. И нам становилось смешно, и странная, настороженная тишина исчезала. Я думал: «Ну и чудак наш классный, это он нарочно, он знает, что мы дурачки — нам покажи палец, и мы рассмеемся. А тут такой чих». Только потом я понял, что просто классный не переносил сырости. У него была мгновенная реакция на сырость: он чихал.

Потом, когда он успокаивался, он севшим после чихания голосом рассказывал нам исторические анекдоты. Он был историк и знал массу всяких случаев о том, как Наполеон сказал в Египте перед боем: «Ослов и ученых на середину!», о встрече Гейне и Гёте, о всяких других деятелях, и рассказывал он про них так, будто сам был там и все видел своими глазами. Привирал он, видно, здорово, но от этого его рассказы становились только интересней.

Все мы любили классного, хотя нельзя сказать, чтобы очень уважали. У нас была странная черта: мы уважали тех, кого боялись. Тех, кто ставил нам «пары», или мог запросто оставить весь класс на шестой урок, тех, кто каждый балл взвешивал на аптекарских весах, тех, кто не забудет задать вопрос о том, чего ты не знал в прошлый раз, тех, кто говорил с нами по-мужски, металлическим, не терпящим возражений голосом. А классный был не такой. Мы знали: его можно уговорить, если очень про-

силь и при этом смотреть на него влажными, покорными собачьими глазами (это только надо уметь делать). Этого он не выдерживал... Или можно по-другому — орать истерично: «За что, за что «плохо» ставите? Ведь я же учил, я же учил!» Это было менее безотказно — здесь он мог взорваться. Но и это иногда проходило.

Он нас чуть-чуть опасался. Нет, не побаивался, а опасался. Чуть-чуть опасался. Он не знал, чего от нас ждать... Один раз мы испугали его как следует. Мы тогда начали мычать, хором, весь класс: «Ммм...» Сначала он не понял, в чем дело, не знал, откуда это идет, кто виновник... Мычание нарастало, шло всплесками по классу, казалось, даже стены вибрировали. Он беспомощно озирался, хотел закричать, но понял — никто не услышит. Тогда он молча сел и с печальным изумлением посмотрел на нас. Это был странный взгляд. Но я знал этот взгляд. Я сам так иногда смотрел... В зоопарке я так иногда смотрел. Я часто ходил в зоопарк, там были разные животные...

И мы замолчали.

Он не стал жаловаться директору, не стал собирать педсовет, как это сделал бы другой на его месте. Он сделал вид, что этого не было. И потом он никогда не вспоминал об этом случае...

Он был всегда приветлив и вежлив с нами, называл нас на «вы», хотя до восьмого класса почти никто не звал нас на «вы». И разговаривать с ним было приятно; с ним я, например, не чувствовал себя учеником; мне казалось, что мы оба равные, взрослые люди.

Но иногда перед началом урока, когда мы молча вставали ему навстречу, он говорил поспешно: «Садитесь, садитесь», — и смотрел на нас внимательно, и вслушивался, и мне даже казалось, что он прядает ушами. Может быть, он ловил в воздухе первые звуки безликого и нарастающего, как сирена, «ммм...»? Но этого не было, и он сбрасывал с себя напряжение и становился таким, как всегда... Только в глазах у него еще что-то оставалось особенное, непонятное мне: какая-то настороженность, что ли, тревога, ожидание чего-то, что должно случиться... Не знаю.

Он как-то сказал мне на перемене: «А знаете, в отдельности вы все такие милые, а вот вместе вы иногда

превращаетесь в стадо. Это даже интересно». Он улыбнулся и задумался. А потом добавил: «Когда людей много, количество переходит в качество. Когда их много, они совершают самые неожиданные поступки. Самые героические, а иногда и самые страшные. Как вы думаете?» — «Черт его знает», — сказал я. «В том-то и дело, что никто этого толком не знает, даже черт».

Странный он был человек. Может быть, ему вредила склонность к философии. В молодости он был каким-то видным работником Коммунистического интернационала молодежи. А потом, говорят, у него были неприятности, а потом он пошел в учителя. Он был холостяк. О нем ходили разные сплетни. Чушь какая-то. Он дружил с молодежью, вечно к нему приходили какие-то студенты.

Он поражал меня тем, что никогда не отдыхал. Он всегда был в каком-то напряжении, всегда о чем-то думал и был сосредоточен или что-то читал и делал какие-то пометки в книгах. Он таскал с собой огромные тома Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, энциклопедистов. Он все вычитывал и вычитывал что-то и обдумывал это, точно был не учитель старших классов средней школы, а какой-нибудь д'Аламбер и собирался переделать мироздание. А может, он вовсе и не собирался ничего переделывать. Просто он хотел что-то п о н я т ь. Что-то понять. А что, я не знал. Может, сущность человека или человечества, а может, что-нибудь еще. А может, он и сам не знал, чего он хочет. Так ведь тоже бывает. Когда началась война, он ходил бледный, притихший и постаревший. Мне казалось, он очень боится. Конечно, думал я, все бояться, но зачем же ходить таким несчастным. Занятий почти не было, но те, кто еще не уехал в эвакуацию, приходили на его уроки, а также на занятия по военному делу.

Раньше мы сачковали, бегали с военного дела. Теперь же ходили все, кто остался в Москве: освобожденные и неосвобожденные. И хотя все мы были трезвые ребята и понимали, что фронта нам по возрасту не видать как своих ушей, занимались мы с таким старанием, с такой яростью, будто завтра ждали повесток.

Военрук водил нас на стрельбище, там мы были тихие и важные, нам давали винтовки времен первой мировой

войны, и мы целились, и руки у нас дрожали от ответственности и от непривычки.

Однажды классный пришел на стрельбище. В этом не было ничего особенного — классные руководители еще до войны любили приходить и «инспектировать» нас. Но здесь он пришел не для этого и вовсе не глядел на нас. Он сидел в сторонке на какой-то старой шине и покуривал, хотя курить здесь строго воспрещалось. Военрук при нас не стал делать ему замечания. Классный курил папиросу с ваткой, которую клал в мундштук, — против никотина. Неожиданно он встал, аккуратно погасил окурок, засыпав его песочком, и попросил у военрука винтовку. Военрук удивился и дал. Классный вышел на «огневую», повелительно махнул рукой кому-то из ребят, чтобы тот очистил место... Классный лег, устроился, дрыгнул ногами и по сигналу «пли!» выстрелил. Первый он промазал. Кто-то сдержанно засмеялся. Потом классный стал стрелять один, без команды военрука, и выбил сорок восемь из пятидесяти.

Мы пораженно молчали.

— Да вы ворошиловский стрелок! — сказал военрук.

Классный не ответил, встал, отряхнулся, лицо у него было румяное, а глаза возбужденные, блестящие, и в них я не заметил того, что так часто замечал и чего не мог понять...

Через три дня мы узнали, что он записался в первую группу московского ополчения. Был он нездоров, у него были слабые легкие, он имел освобождение от воинской повинности — «белый билет», и даже на смотревшую сквозь пальцы на все человеческие недуги комиссию ополчения он, говорят, произвел тяжелое впечатление.

Но он не изменил своего решения. На его последний урок пришло много ребят. Он был рассеян, что-то начинал рассказывать, потом забывал об этом, замолкал. Лицо у него было невыспавшееся, серое, как тетрадная обложка.

Мы ожидали, что он скажет нам что-нибудь на прощание, ожидали каких-то особенных и значительных слов: мы знали, это он умел, недаром он так любил цитировать деятелей французской революции. Мы сидели торжественно и тихо. Но он ушел буднично, назвал номера параграфов, заданных на дом, кивнул и только

у дверей чуть задержался. Мы встали, нестройно хлопнув крышками парт; он посмотрел на нас и тихо сказал:

— Когда у вас будет новый классный... не устраивайте этого.

Мы поняли, о чем он говорил.

Мы ждали, что он еще что-нибудь скажет. Да он и сам хотел что-то сказать, что-то вертелось у него на языке, но он так и не сказал, только пробормотал: «Ну да ладно, ладно» — и ушел.

Мне захотелось проводить его домой, я еще до войны его иногда провожал. Я его любил больше, чем другие наши ребята, да и ко мне он, по-моему, относился неплохо. Я подождал его около учительской, он вышел, и я сказал ему: «Я вас провожу. Хорошо?» — «Конечно», — сказал он.

Мы шли молча, потом дошли до Малого Николопесковского переуллка, где он жил, и у самого его дома я ему сказал: «Вы стреляете хорошо, но вы больны. Может, больше пользы будет, если вы не пойдете? Вы же сами говорили, что фронт начинается с тыла». — «Это правильно, — сказал он и слабо улыбнулся. — Но дело в том, что живешь ты свою не очень долгую жизнь, и быт тебя заедает, пустыки разные, неурядицы, и сам ты становишься такой бытовой, пустячный. А по роду деятельности ты всякие слова говоришь и цитируешь всяких ученых, революционеров и все твердишь: «Борьба, счастливое будущее, человечество...» Но вдруг — бац! — и началась эта самая борьба. Так словеса и подтверждать надо, как ты считаешь?»

Он впервые назвал меня на «ты».

«Да, конечно». — «Ну вот и все. А потом я тебе скажу по секрету: мне не везет во второстепенном и везет в главном». — «То есть?» — «Ну, в общем, там, где всем приходит крышка, я выживаю... Это уже проверено».

Я молчал и смотрел на него. Выглядел он скверно: видно, он плохо себя чувствовал, и, наверное, ему не хотелось идти в свою комнату, где он жил один.

«Да ты не грусти, дружок, — сказал он. — Знаешь, что сказал Спиноза?» — «Нет, не знаю», — тихо пробормотал я. «Так вот, запомни: не плакать, не смеяться, а понимать».

Через месяц он погиб. У него не было родных, и «похоронная» пришла на адрес школы.

Теперь я часто вспоминаю о нем. Когда мы ехали сюда, и в теплушке было тепло, и все лежали неподвижно, и каждый мог думать, о ком хотел, о своих живых и о своих погибших,— я думал о классном. Я и теперь часто думаю о нем.

ГЛАВА 8

Наш класс принял шефство над семьями фронтовиков. Мы ходили по домам, мыли полы, помогали по хозяйству, топили печи углем. Мы разбились на пары. К моему приятному удивлению, Хайдер в пару взял меня.

С ним ходить — одно удовольствие. Полы моет он гениально. И вообще он хозяйственный парень. Вот как ему со мной, не знаю. Дрова пилю я ничего. Отец меня научил, когда мы жили под Москвой. Но здесь дровами не топят, в городе нет дров, топят углем, да и то не всем удается его раздобыть...

Вот чего не люблю — так это мыть полы. Довольно противно лазать под чужими кроватями. Но постепенно я привык... Я презираю белоручек и маменькиных сынков. И все-таки какая-то капелька этого есть и во мне. Но я это давлю в себе. И буду давить всегда. Раз Хайдер может — значит, и я могу. И я смотрю, как делает он, и перенимаю его опыт. Мне нравится с ним работать. Он работает по-взрослому, без болтовни и без всяких дурацких эмоций. Он делает все старательно, спокойно и быстро. Он очень многое умеет. Но, оказывается, это все не так уж трудно. Через неделю я буду мыть полы, как артист. Иногда человеку всю жизнь кажется, что он не может того-то или того-то, а он просто уговорил себя, что не может. Что бы там ни говорили, а физический труд и всякие хозяйственные премудрости доступны всем нормальным людям. Есть такие интеллигенты, которые болтают: «Ах, я не умею чистить картошку», «Ах, я не знаю, как пришить пуговицу». Ну и дурак, что не умеешь. Тут и уметь нечего. Попробуй, и научишься! Но есть и «работяги», которые отвратительно кичатся своими золотыми руками: я, мол, не то что некоторые, которые только

книжки читают, а гвоздя забить не умеют. Если всю жизнь заниматься физическим трудом, то можно иметь не то что золотые — платиновые руки. И, в общем, я пришел к выводу: мозгами ворочать все-таки труднее. Тут одной выносливости да старания не хватит.

Хайдер мне нравился тем, что он никогда не хвастался своими мозолистыми руками и пролетарским происхождением.

Но все-таки я не мог разобраться в этом человеке до конца.

Мы задержались с Хайдером в одной фронтовой семье допоздна.

Я знал, что отец беспокоится и, видимо, отругает меня.

Я почти бежал по темным улицам, под ногами моими хрустела слабая пленка первого льда. Я давил ее; из нее, как сок, вытекала вода, и студеные черные ручейки бежали по неровной, ухабистой мостовой. Скрипели под ногами застывшие желтые листья, свернувшиеся в трубку, железные, как давние кладбищенские цветы на окраине города. Безлюдно было, тихо, только завод был слышен, он гудел натужно, нарастающе, как кипящий чайник. Там собирали танки, потом их грузили на окружной станции днями и ночами, потом они стояли на платформах, тупобесформенные, не опасные, в зеленых чехлах, словно бы притворившиеся не танками, а тракторами и комбайнами. Их было много — длинные, как улицы, составы. Много, а все не хватало. Ох, как не хватало! И все-таки, когда я смотрел на них, меня успокаивало, что их так много. Это на одной нашей станции столько, а сколько же на всех тыловых станциях страны... Я знал: я сплю, а этот огромный чайник все пыхтит, и в нем что-то закипает, из этого кипения выходят танки утром, днем, вечером, ночью, каждый час по танку, без праздников и выходных дней.

Но и там, за много тысяч километров отсюда, в немецких городах, где дома белые, крыты красной добродушной черепицей (так они мне представляются), в Руре (я помню, мы учили про железный Рур), тоже днем и ночью за высокими оградами шумят их заводы, и рабочие собирают танки. И какой-то мальчик, ученик восьмого или девятого класса, идет мимо железнодорожного узла и видит платформы, на которых стоят покрытые

зелеными попонами «тигры». Он одет лучше, чем я, у него за спиной ранец, у него на ногах гольфы, а под ногами — нетронутая бомбами земля... И он радуется, наверное, и улыбается, но не смеется. Бойтся все-таки смеяться. Ведь смеется тот, кто смеется последним...

Вот еще квартал, и будет мой дом. Здорово холодно. Пахнет зимой. А снег еще не выпал, говорят, будет лютая зима... Это тяжело для нас, но об этом мы все мечтаем. Говорят, они хотели закончить все до зимы. Танки у нас, и танки у них, но зима за нас и против них. Вот она, зима, рядом, она уже под ногами, и деревья уже зимние, голые, скрючившиеся. Небо белое, беззвездное, будто и на небе выпал снег и все звезды засыпал.

В Москве я любил возвращаться домой поздно. Мне нравилось, что я один и не один. Я был один, никто со мной не разговаривал, никто не шел рядом, никто от меня ничего не требовал и не просил, я ни от кого не зависел. Я был один и мог думать о чем угодно или не думать вообще. Я был не один, потому что люди выходили из метро, и некоторых я знал в лицо: они здесь жили, на Кропоткинской, на Волхонке, а сейчас возвращались домой. Шли троллейбусы, с шипением рассыпая над дугами искры; какие-то парочки неподвижно стояли у забора, огородившего котлован строительства Дворца Советов; знакомый старик из нашего дома прогуливал своего боксера с брезгливой, слюнявкой мордой; боксер хотел казаться свирепым, но был на самом деле добрым.

И сейчас я пойду к подъезду и позвоню, лифтерша откроет мне и покачает головой с укоризной, и в ее сонных, тусклых глазах я прочту: маленький, а туда же... шляться по ночам.

Затем гулко и отчужденно от меня прошумят шаги по пролетам лестниц, промелькнут по-ночному таинственные двери чужих квартир, и на пятом этаже в квартире № 19 кончится мое одиночество.

А здесь я тоже возвращался поздно и один, но здесь одиночество было другое: настоящее. Но вот и наш двор. Я поднимаюсь по узкой лестнице со ступенями, сбитыми, как старые подошвы. Открываю ключом дверь, вхожу. В коридоре темно, в комнате колеблющийся полумрак. В комнате отец и она. Комната освещена коптилкой. Они сидят за столом, и вид у них странный. Они какие-то

неправдоподобно веселые. Смеются — так смеются, что не поймешь: смеются или плачут. Она нарядная, будто у нее день рождения. Он как всегда. На окне стоит патефон и шпарит «Челиту»: «Звонко она хохочет и делает то, что хочет. Ай-яй-яй-яй... Нет, нет, не ищи ты: на целом свете ты не найдешь другой такой Челиты».

— Ну, садись, старец, — говорит отец. — Где ты был и что ты видел?

Мне не хочется принимать его шуточный тон. Я дал себе слово не злиться, но когда я вижу их обоих... Молча сажусь. Она смотрит на меня очень внимательно и почти ласково. Копилка то разгорается, то гаснет, а патефон по-прежнему наяривает «Челиту». Я изо всех сил делаю приветливую физиономию, чтобы не превратиться в мрачного типа с вечно каменной мордой. Она пододвигает мне большой ломоть хлеба и тоненький кусочек сала.

— Ого, — говорю я, — сало! Вот это жизнь.

— Да, — говорит отец. — Сегодня живем. Есть также и что выпить, но детям до шестнадцати лет...

— А мне как раз почти шестнадцать.

— Нет, пацан, я-то знаю, сколько тебе. Хоть ты и самостоятельно мыслящая личность, но водку пить тебе рано.

Шеля достает из сумки какую-то странную бутылку медицинского вида, наливает отцу и себе.

— Ну, за что выпьем? — говорит она.

— Ну, давай за моего сына.

Она кивает головой, и они чокаются кружками. Они пьют, а я закусываю — разделение труда. Она пьет так, будто это чай, мелкими глоточками. Отец залпом, и выражение лица у него такое: мол, ни в одном глазу. Но я-то знаю, что его всего передергивает от водки, всегда передергивает, он ее терпеть не может, его всего корежит от этого, но он только улыбается и делает вид, что он самый счастливый из смертных, и глаза у него становятся крошечными, будто заплывают, а лоб краснеет. Но пьяным я его видел только один раз. Это было как раз перед его отъездом на два года... Он пришел тогда совершенно пьяный, с неподвижным, как маска, лицом, пальто у него было измазано известкой, на лбу красные полосы, будто шапка была ему узка. Он вошел, долго смотрел то на меня, то на мать, смотрел тяжелым, неживым, но все

понимающим взглядом, смотрел, точно у него были не глаза, а рентген и он хотел проникнуть в наше нутро и увидеть что-то важное ему одному. И он улыбался. Вот эта улыбка на бледном, лишенном выражения лице меня тогда поразила. А потом началось нечто еще более странное. Он все продолжал улыбаться, как-то деланно, нарочито, точно изображал кого-то. Мы с удивлением и страхом глядели на него, мы никогда его таким не видели. Мать начала стаскивать с него пальто. Пальто никак не хотело слезать с его негнущихся, как бы замерзших рук, и вдруг он снова начал смеяться. Сначала почти беззвучно, потом громче, еще громче, и вот уже это был бурный, беспричинный бешеный смех посреди дрогнувшей квартирной тишины. Он хохотал в голос и бормотал что-то вроде: «Они думают, меня так легко прижать... Нет уж, я им покажу...»

Я не знал, кто это «они» и зачем они будут его прижимать и к чему прижимать. Я только смотрел на него, и все мне казалось, это он нарочно, чтобы нас удивить, это он просто притворяется. Этот хохот, белое застывшее лицо, бормотанье так не походили на него: на его обычную сдержанность, на его презрение ко всяким истерикам и вообще к «чувствам», на его спокойную, привычную иронию к себе и к нам. Казалось, он изображает кого-то, притворяется неловко, до неприличия неумело, как это делают люди, не привыкшие актерствовать. Потом хохот его перешел в ожесточенное короткое рыдание. Первый раз в жизни я видел его плачущим; он плакал, и ругался, ругался скверно, тяжело; ругаться он, впрочем, любил, но не зло, не всерьез, весело, а здесь он ругался как бы из последних сил, с ненавистью и отчаянием. Всю ночь мы не спали, мы следили за ним, слышали, как он мечется, как замолкает и трезвеет на некоторое время и вдруг начинает кричать: «Лбом стену не прошибешь... Но я знаю, где правда! Гады! Гады!» Потом неожиданно, без всякого перехода он заснул, одетый, в новом коверкотовом костюме, с беспомощно-жалко свесившимися с дивана ногами, с запрокинутым, смертельно усталым, обострившимся лицом.

Утром он проснулся, как всегда, в семь и, не приронувшись к завтраку, ушел на работу.

Это было с ним только один раз и больше не повто-

рялось никогда. Правда, я не видел его два года, и я не знаю, что было с ним там. Об этом я вообще ничего не знаю. Но я думаю, что это было только с ним один раз. И вот теперь всегда, когда он выпивал, я смотрел на него с тревогой: я боялся, что это повторится.

— Ну что смотришь жалкими глазами? — говорит отец. — Выпить, что ли, хочешь?

Я молчу.

— А знаете, если он и выпьет капельку, так ничего не будет. Наоборот — профилактика простуды, — говорит Шеля.

Придумают тоже — «профилактика простуды»...

— Ну ладно, — соглашается отец. — Пусть выпьет, но только капельку.

Они думают, что я очень страдаю без их выпивки. Отец наливает мне немножко в стакан.

— Ну, выпьем каждый за что хочет.

Они выпивают. Я подношу к губам стакан. Ничем не пахнет, разбавленный спирт, что ли? Мне и пить-то, честно говоря, неохота. Но раз уж оказали такую честь...

Пью. Сначала не чувствую ничего. Только что-то горькое, что-то химическое, будто из пробирки в школьном кабинете, трудно и неприятно входит в меня.

— Ну, за что ты пил? — спрашивает отец.

— За победу, — говорю я каким-то неожиданно перебитым, сломанным голосом.

— А вы, Шеля?

Опять он ее то на «вы», то на «ты»...

— И я это загадала...

Вот именно загадала. Это загадка. Загадка, когда еще будет победа... В газетах написано, что она не за горами. Может, и не за горами, но уж наверное за морями. За красными морями... За кровавыми морями. «Там за горами горя солнечный край непочатый». Что это со мной? Что-то выскочило из меня. Какой-то винтик, который все держал. А теперь ничто не держит. Теперь все болтается, все на свободе, ничем не затянато, ничем не скреплено. Теперь... за горами горя...

— Дайте мне еще капельку, — говорю я. — Это профилактика.

— Только капельку, — строго говорит Шеля и забот-

ливо наливает мне двадцать граммов.— Чтобы тебя как следует прогрело.

Ишь как она заботится. Чтобы меня прогрело. Меня и так греет. Я согрет вашим теплым дыханием... Выпиваю. Мне тепло. Давно я уже не выпивал. Последний раз летом на даче, в день рождения. Белый портвейн, крымский. Две рюмки официальных, одну по-тихому. Было тепло, но по-другому, чем сейчас. Была одна студентка-первокурсница. Я ее провожал. Мне всегда нравятся те, кто старше. Она со мной шутила и смотрела на меня, как на малолетку. Но когда я ее захотел поцеловать, она дала понять, что можно. Вроде как бы шутя. Но я раздумал... Я был свободен в тот вечер. Я говорил то, что думал. А думал так, как хотел... Когда я возвращался один, было пусто, уже электрички перестали ходить. Тепло было, тихо. В траве что-то шуршало, звенело, словно бы цикады. Где-то крутили приемник, в Абиссинии бои и в Европе. Но это было далеко. А здесь все спали и уже электрички перестали ходить. На волейбольной площадке, прижавшись к столбам, стоял кто-то широкий, как бы двугорбый. Я подошел ближе и увидел: двое обнимаются. Я громко прочитал из «Мцыри»: «Обнявшись крепче двух друзей, упали разом — и во мгле бой продолжался на земле...» У меня было отличное настроение.

Но спирт действует не так, как портвейн. Обжигает? Меня он не обжег. Второй раз вошел хорошо, спокойно и снова выбил из меня самый последний маленький болт, который еще что-то пытался скрепить. А теперь я без болта. Разболтанный. И здорово. Пью. Наливаю себе еще. Все отлично. Как в лучших домах Филадельфии.

О т е ц. Ты чего это, пацан?

Я. А вы чего?

О т е ц. Мы так просто. Нам можно.

Я. Вам, конечно, все можно.

О т е ц. К сожалению, не все... Но это нам можно.

Я. Ну и мне тоже. Ты же всегда говорил: у отцов перед сыновьями нет привилегий. Полное равенство.

О т е ц. Привилегий нет, есть только обязанности. А значит, нет и полного равенства.

Я. Свобода, равенство, братство! Да здравствует французская революция!

О т е ц. Пацан, ты, кажется, уже перехватил.

Я. Лучше «пере», чем «недо». Лучше переесть, чем недоспать. Долой всякие «недо»!

Он хмурится, отнимает у меня спирт, но я и так достаточно тяпнул. Я встаю, что-то раскачивает меня. Будто кто-то влез в мое существо и теперь всем своим весом поворачивается во мне то в одну, то в другую сторону. Теперь я юнга на корабле. Заспиртованный юнга. Юнга в баночке. Завожу патефон. Иголки тупые и ржавые. Руки дрожат, а пластинка блестит, как маленькое черное озерцо. «Ай-яй, Челита, на целом свете ты не найдешь...»

Шеля стоит в стороне и что-то шепчет отцу. Она высокая, у нее крупные руки, крутая грудь, волосы уложены в пучок, лицо серьезное. Она похожа на невесту декабриста. Они тихо выпивают с отцом еще по полстакана. У отца очень грустные глаза. И вдруг меня осеняет: а может, это свадьба? Может, это у них свадьба? У меня холодеет нутро, будто туда напустили сквозняка. Я подхожу к ним, говорю отцу, Шеле:

— Давайте выпьем. Я очень люблю свадьбы.

— Я тоже, — говорит Шеля, — но только у меня их не было.

— Правда?

— А я тебе разве врала?

— Нет, не ввали. Вы мне только суп готовили. Гороховый.

— Ну, супа мы с тобой так и не сварили. А в общем, ты на меня не сердись...

Она тоже сильно пьяновата, потому что, кажется, начинается откровенный разговор. А на черта нам откровенные разговоры. Нам совсем не нужны такие откровенности. Свадьбы нет, и на том спасибо...

— Спасибо.

— За что?

— Да это я не вам. Это я хотел чихнуть и заранее себе сказал: спасибо.

Я внимательно ее рассматриваю. Она какая-то не похожая на себя. Она словно бы что-то порывается сказать — то ли мне, то ли отцу — и не может. Словно бы что-то давит в себе. Не так-то просто дается откровенность. Мы все трое сегодня откровенны. Спирт — лучший друг откровенности.

— Лучший друг, — говорю я вслух.

— Да, лучший, — тихо говорит она. — Он мой самый лучший, самый большой и единственный друг. Что ж тут поделаешь...

«Кто он? — дурашливо думаю я. — Спирт?» Но я не говорю это вслух, потому что понимаю то, что она хотела сказать, и боюсь этого. Но если уж так началось, так пусть будет откровенный разговор, пусть будет откровенный разговор.

— И мой, знаете ли, единственный друг, — говорю я. — Мой единственный друг. У меня больше нет друзей, кроме него. Еще Хайдер, но он просто товарищ. И потом, он слишком жесток. А он — мой друг. А отцы редко бывают друзьями — так что ничем не могу вам помочь.

Она зачем-то кладет руку на мою голову, будто она монах, а я паства, потом наклоняется ко мне, и мне становится тепло, тревожно от ее дыхания.

— Он твой друг, и отец, и мать, и всё. Ты для него больше, чем все на свете.

— И чем вы? — говорю я с надеждой.

Она смеется:

— Ты дурачок, хотя и умный. В тысячу, в миллион раз. Я для него — это так.

Она машет рукой, словно сметает пыль...

Я не знаю почему, но мне становится больно и тепло, и я говорю, стараясь перекричать всё: ржавое скрежетанье «Челиты», и гул, который внутри меня, и молчание отца, стоящего у окна.

— Нет, нет, вы не знаете его...

Она все смеется узкими зеленовато-серыми глазами, потом сильно, властно берет меня за руку и притягивает к себе.

— Пойдем танцевать. Ты умеешь?

Мы начинаем танцевать. Я веду ее. Мне жарко. Музыка всюду. Только музыка. В каждом углу по «Челите». А с ней можно танцевать. У нее сильная, легкая, теплая талия... Отец понимает. «Нет, нет, не ищи ты, на целом свете ты не найдешь другой такой Челиты...» А я и не ищу. Я танцую. Иголки — ржавые, черти. Ну да все равно, слышно музыку. Спирт гораздо лучше белого портвейна.

А коптилка только помаргивает, а пол поскрипывает,

и пусть он даже провалится, а мы танцуем, как звери. Назло врагу, себе на радость. И это не Челита вовсе. Это Яна, к которой я приходил за книгами и которой я как-то сказал: «Лучше раньше, чем никогда».

Нет, это студентка, которую я провожал, которую я хотел поцеловать, и она была согласна, но я передумал... Чепуха, я все это выдумал. Просто это Шеля, у нее родители погибли в первые дни войны, и она врач и ходит к нам в гости, потому что отец — ее друг. Все мы — друзья, все мы друзья по несчастью.

Но вот ее теплая талия, так послушная моим рукам, выгнулась, застопорив наше общее слаженное движение, напряглась и застыла. Она смотрела на отца. Она смотрела на него, забыв про танец, про меня и про все; смотрела пристально и остро, точно своими глазами фотографировала его, чтобы ничего не упустить и не забыть, чтобы фотография получилась точной, потому что ей надо сохранить эту фотографию навсегда.

Отец стоял у окна, очень прямой, статный, каким он бывал в последнее время не часто, стоял, чуть склонив молодую, густоволосую, растрепанную голову, и смотрел вниз. Не знаю, что он там видел. Тот пролет, по которому он ходил к ней, короткий пролет улицы, и с третьего этажа кажется, что человек идет не туда, куда ты думаешь. Коротенький пролет — три-четыре дома, булыжная мостовая, а дальше не видно... А дальше-то уже ясно, куда человек пойдет... Маленький, грязный кусочек улицы в бедном, скудном снегу, словно он не выпал с неба, а от холода пророс сквозь булыжник.

Не знаю, что еще отец там увидел.

Впрочем, он любил стоять и смотреть просто так...

— Мы больше не будем танцевать? — спросил я у нее.

— Нет, на сегодня хватит.

ГЛАВА 9

Отец ушел ее провожать, а я заснул. Что-то во мне еще гудело и билось, шум был прерывистый, будто я засыпал не в комнате, а на морском берегу. Я засыпал на морском берегу в Геленджике над бухтой, там, где я был с отцом за три года до войны.

Утром мы с ним ходили в чебуречную, обжигаясь, ели вздувшиеся, с желваками жира золотистые чебуреки, потом пили теплую воду, вяло струившуюся из фонтанчика, потом шли на «дикий» пляж. Но там дикости было мало, повсюду валялись стаканчики из-под мороженого, бумага, пыльные газеты и толстые женщины лежали, вывалив груди, так что мне становилось страшно, и я закрывал глаза и скорей бежал купаться. Потом мы уходили с этого «дикого» и шли в шашлычную, отец запивал шашлыки «Мукузани», а я — малиновой водой, потом мы медленно двигались на самый «дикий» из всех «диких» пляжей; там было почти пусто и валялись всего лишь две-три бутылки из-под водки, а толстых женщин с грудями не было, так как добраться сюда пешком или вплавь они не могли.

Отец не хотел толстеть и поэтому старался не спать после обеда, и делал стойку на руках, и стоял так минуту или две, так что мне становилось не по себе. Мускулы у него вздувались. Казалось, сейчас они лопнут. У него был очень светлый загар и мускулы были желтые, как два круглых окаменевших бруса сливочного масла. Потом я хотел делать стойку, но он не велел, так как у меня не было склонности к полноте. Еще мы кидали камни в море, у кого будет лучше рикошет, и у нас обоих получалось неплохо. Было уже не жарко, хорошо, солнце начинало садиться, море становилось белым, парным, как молоко, с голубоватыми легкими тенями. Я ложился на спину, камни были уже не горячие, теряли жесткость, теперь они были теплые, словно бы размягчившиеся за день. И я засыпал мгновенно, хотя и не собирался спать, и во сне маячило желтовато-черное теплое пятно; только потом я понимал, что это солнце пробивается в закрытые глаза. Сон был прерывистый: тихо — громко, прибой — отлив, удар — тишина, и это не давало заснуть до конца, до глубины, это и желто-черное пятно солнца. И мне нравилось, что я сплю и не сплю, что я как бы живу во сне и чуть что — могу вскочить на ноги. Я не любил и боялся глубокого сна, где ты становишься на несколько часов мертвым и все люди и вещи отделяются от тебя: ты уже ни в чем не принимаешь участия. Утром я всегда удивлялся, что все продолжается... Чем я становился старше, тем меньше я об этом думал, а во время войны

в Сибири мне и вовсе было все равно, как мне спать, лишь бы выспаться как следует, чтоб башка не трещала. Чем ты меньше, тем больше думаешь о всяких таких штуках, тем больше боишься всякой чепухи, а когда вырослешь — думаешь только о деле.

Потом, когда я просыпался, было почти темно, море зеленовато-красное, по-вечернему ярко мерцающее — солнце уже влезло в него довольно глубоко. Пляж совершенно пустел и казался гораздо просторнее, чем днем.

Отец кричал мне: «Сонная тетеря!» — и бежал к морю, а я за ним. Мы оба ложились на спину, лежали на теплой, податливой волне, оба разом переворачивались и одновременно плыли к флажку. Мы доплывали до флажка, и я поворачивался. Отец кричал нарочито строго: «Не смей поворачиваться, не трусь, такой-сякой, плыви в открытый океан!»

Он подсмеивался надо мной. Он знал, что я плаваю хорошо, но, когда заплываю за флажок, начинаю трусить. До флажка мне казалось — одно море, а за — другое. До — было разрешенное море, а значит, в нем нельзя утонуть, за — неизвестное, запрещенное, именно в нем-то и тонут... Отец издевался надо мной. Он кричал, гоготал, махал руками, выдумывал всякие прозвища:

— Трусище! Трясогузка! Генерал Трусилов!

Я колебался всякий раз. Берег был не близок, но и не далек. Он был ощутим. Он был магнитом, а за флажком сила магнитного поля кончалась. Я колебался. Отец хохотал; я видел его забрызганное водой загорелое лицо. Я боялся моря, но я боялся и другого: потерять уважение отца. Я знал: сейчас он уважает меня... А если я стану трусом, он перестанет меня уважать. Это всегда решало. «Пропадать, так с музыкой», — говорил я себе и переплывал черту флажка. Отец никак на это не реагировал, не бил в ладоши, не хвалил меня. Он спокойно плыл дальше. Я за ним. Он дальше, я за ним. Все дальше и дальше от берега. Берег уже не резок, не четок, он в неясном отдалении, размытый, как плохая фотография. Уже ничто меня не связывало с ним. Флажок был далеко позади, маленький, бессмысленно качающийся ванька-встанька. И что-то неожиданное входило в меня, какая-то не известная еще радость. Впереди было много

моря, много пространства. Бесконечность. Я плыл за отцом. Плыл спокойно, экономя силы. Впереди я видел голову в синей шапочке, иногда из волны сверкали плечи, коричневые, гладкие, как обкатанный камень. Я плыл за ним. Только за ним. Я хотел всегда плыть за ним. Всю жизнь. А если он будет старый? Все равно — за ним. Он никогда не будет старый. Потому что он мой. И он никогда не умрет, потому что он мой. И я никогда не умру, потому что это я. И я плыл, чувствуя себя счастливым, а он поворачивался и возвращался ко мне и делал вокруг меня круги и хищно округлял глаза, как акула.

— А здесь бывают акулы? — спрашивал я.

— Бывают.

Я знал: он придумывает. Но так было интереснее, и почти верил ему.

— Какие? — спрашивал я.

— Злобные, — говорил он. — Злобные акулы империализма.

— Где они?

— Там, — серьезно говорил он и показывал в сторону Турции.

— А чего они хотят?

— Они хотят нас съесть, как мелких рыбешек. Но мы должны плавать, как акулы, лучше всяких акул. Мы должны плавать, как дельфины. Вот так! — Он нырял и появлялся через некоторое время, шумно отфыркиваясь.

Мы плыли обратно. Флажок снова оставался позади, а впереди был берег. Линия флажка была обыкновенной. Море там и здесь оказалось одинаковым.

Потом мы с отцом шли на почтамт и там почти каждый день получали до востребования письма от матери. Если письма не было, отец ходил озабоченный, придирался ко мне из-за пустяков, раздражался. Но чаще всего мы получали письма, и настроение у отца было отличное. Потом мы ужинали, хозяйка давала нам варенец с желтой сморщенной корочкой, мягкие, тугие, как надутые шары, помидоры, длинные, точно ножи, южные огурцы; ели мы на веранде, и все было дьявольски вкусное, необычайно острое: с перцем, с луком, с солью... А вокруг уже начинались танцы, музыка. Музыка в санаториях, в домах

отдыха и просто в домах. Всюду шумели, кричали и пиликали патефоны. Звучали всякие «Цветущие май», «Челиты», «Сашка, ты помнишь наши встречи».

От этого становилось тревожно, неспокойно, и я видел, как у отца загораются глаза каким-то незнакомым мне грозным блеском, а я чувствовал себя, как на вокзале: хотелось куда-то бежать, спешить, идти по темным душным улицам, только не сидеть дома. В нас вселялся «микроб вечера». Это было отцовское выражение. Особый такой микроб. Он жжет людей по вечерам, гонит из дому гулять, слоняться без дела... И мы переодевались: я надевал белый нанковый костюм, купленный для юга, а отец — светло-серый модный костюм с огромными прямыми плечами, которые накладывались на его собственные достаточно широкие плечи, и вот он уже был не мой отец, а чемпион Союза по боксу Николай Королев. Такие костюмы были еще внове, но отец следил за модой, и у него все было новейшее: авторучки, ботинки на пробковой подошве, цветастые галстуки, завязанные крупным узлом. Над ним подсмеивались его друзья: они все ходили в лоснящихся пиджаках, в брюках, из которых торчали зимой голубые кальсоны, плохо замаскированные сползающими носками. Они смеялись над ним, считая его любовь ко всему «современному» чудачеством, безобидным, но никому не нужным пижонством, прихотью, и прощали ему этот «буржуазный» лоск за его «огромную одаренность теоретика и хирурга». Они с ласковой иронией называли его «американцем», и он говорил: «Да, в этом я американец, в этом и Маяковский был американец». Кстати, отец ездил в Америку с группой советских физиологов, врачей-специалистов по нейрохирургии. Когда он вернулся, то собрал у себя дома друзей, и к нему пришли все эти очкастые чудаки. И он рассказывал о постановке дела в американских клиниках. Они не ахали, не восхищались, а сидели молча, задумчиво, и время от времени кто-нибудь из них отрывисто, перебивая отца, произносил: «Вот это надо у нас использовать». А потом другой замечал: «Это тоже надо использовать». А потом третий говорил: «В наших условиях это не легко, но попробуем использовать...»

Они сидели допоздна, ходили по комнатам, курили, и разговаривали высокими раздраженными голосами, и

ссорились, и шапки их валялись где попало, а мать мечтала: когда они уже уйдут. Но для отца и для них уже ничего не существовало: ни ночи, ни дня, ни того, что ребенку пора спать. Для них существовало только одно — как это у нас использовать... Они ругали каких-то чиновников, говорили: «Ну, этого идиота еще можно уговорить, а вот этого разве уговоришь?»

И, ругая каких-то чиновников, они совсем забыли об американских клиниках, и вообще об Америке, и о том, что отец обещал рассказать о посещении бурлеска. Теперь они думали только о том, как с завтрашнего дня начнут прошибать, пробивать свои идеи и использовать чужой опыт, использовать и пробивать... И когда они ушли, и в комнате вдруг наступила счастливая тишина, и мать, сидевшая с вежливым отсутствующим лицом, оживилась и потеплела, я спросил у отца:

— Почему вы все что-то придумываете, и используете, и кому-то доказываете, чтобы лучше было, и делаете разные операции, а люди все равно умирают?

Отец поморщился. Он всегда отвечал мне на все вопросы, на все, начиная с того момента, когда много лет назад я пришел потрясенный и униженный тайной, узнанной в подъезде, бесстыдной тайной появления человеческих существ. Я тогда спросил с надеждой на отрицание: так ли это? И он сказал мрачным, трагическим тоном:

— Это так.

— И у тебя это так? — сказал я, еще на что-то надеясь.

— И у меня, — печально сказал он.

Мне сразу захотелось плакать.

— И у тебя это будет так, — добавил он уверенно.

— Никогда.

— Нет, будет.

— Нет, не будет, не будет, не будет, — запричитал я в отчаянии оттого, что чувствовал: в его ужасном предсказании, может быть, и кроется какая-то отвратительная правда.

Я причитал, бормотал что-то, с тоской думал, как после всего этого посмотрю на мать, а он повернулся ко мне спиной и стал задыхаться. Я понял: он плачет, он плачет от обиды, нанесенной мне, оттого, что и он по-

ступал так же, как и другие, занимаясь этим невзрослым, каким-то непристойно детским делом. Мне стало его чуть жаль.

— Ты ведь больше не будешь? — сквозь слезы сказал я.

— Буду, — сдавленным голосом ответил он и повернулся ко мне.

Я обмер. Он плакал от смеха. Он раздувался, лопался, как первомайский шар, трещал по швам...

— Нет, нет! — кричал я.

— Да, да! — отвечал он, и закрывал лицо руками, и пытался сделать круглые и серьезные глаза, но все равно они у него были ненормальные, хохочущие. Потом он успокоился, встал на стремянку, достал из большого книжного шкафа толстенную книгу, сел на диван, посадил меня рядом с собой и ровным учительским голосом, серьезно, в течение сорока пяти минут объяснял мне происхождение людей, животных и растений.

Но на вопрос, поставленный в тот вечер, после ухода его друзей, он так и не смог ответить. Он что-то говорил про ограниченность человеческой жизни, про то, что наука может изобрести быстрее способы уничтожения с помощью бомб, снарядов и газов... Но вот продлить жизнь или даже просто спасти ее она часто не может.

— А вообще, пацан, это очень сложная история. И знаешь, многие поколения неглупых людей задумывались о краткости человеческой жизни, но пока еще толком ни к чему не пришли.

И мы легли спать. И, засыпая, я думал об этом, и это удивляло и почему-то беспокоило меня. И все-таки я надеялся и верил, что к тому времени, когда я буду старым и больным, наука что-нибудь изобретет. Она ведь движется вперед все-таки! И вообще нам положено жить около ста лет. Не так уж мало! И я принялся подсчитывать, сколько мне осталось. И, окончательно успокаиваясь, я стал думать о приятном: о том, как мы с отцом летом поедem на юг, в Геленджик. Я знал, что в Геленджике нам с отцом будет хорошо, но по-другому, чем было потом на самом деле.

Я не знал, что там, в Геленджике, будут эти вечера, когда тебе хочется торопиться и бежать, стремиться куда-то на звук мелодий, гудко разрывающих густую, мерно

потрескивающую цикадами тишину. Когда будет невозможно сидеть дома на маленькой веранде с круглым столом, на котором остатки помидоров, огурцов, над которым черный репродуктор, похожий на птичье гнездо... Я не знал, что, надев новые костюмы, мы будем ходить с отцом по вечерним улицам, заходить то в один дом отдыха, то в другой, прислушиваясь к музыке и словно ожидая чего-то... А потом почти всегда мы будем заканчивать эти хождения в доме отдыха художников, или, как он странно назывался, в Доме творчества.

Я не знаю, почему он назывался Дом творчества; я знаю, что там целый день рубились в пинг-понг, что по вечерам на веранде там гоняли пульку в префферанс, что у них был отличный бильярд и еще маленький китайский бильярдик, что пластинки у них были новейшие, первоклассные, что какая-то старуха все время лепила бюст Папанина из пластилина, и Папанин постепенно становился похожим на толстую женщину, что другая старуха целые дни сидела на вахте во дворе, закрывшись от солнца огромной книгой Репина «Далекое близкое». Но почему этот дом назывался Дом творчества, я не знал. Встречали нас там очень приветливо, а особенно одна женщина по имени Анита. Она была испанка, эта Анита, и говорили, что она художница и антифашистка. На вид она была обыкновенная женщина. Рыженькая, небольшого роста, с темными, ласково, влажно блестящими глазами, румяная, как матрешка. Старухи, та, что лепила из пластилина, и та, что прикрывалась книгой Репина, вздыхая, говорили, что она красотка и что она породистая женщина. Я никогда до этого не видел ни породистых женщин, ни мужчин, а только породистых собак: на Волхонке, на Кропоткинской и на Арбате их было много. По-моему, ничего в ней не было особенного, она вовсе и не походила на испанку (я хорошо знал испанок по картине Врубеля в Третьяковской галерее). Даже имя у нее было не особенно испанское — Анита, и все вскоре забыли, что она испанка, и звали ее Аня. Говорят, что она была чуть ли не героиня, видная деятельница; этого я не знаю, я знаю только, что она радовалась, когда мы с отцом приходили вечером в Дом творчества. Она все улыбалась и становилась еще более румяной и называла нас как-то странно: «дети мои», хотя отец ей в дети совсем не

годился. Я подсмеивался над этой ее придурью, потому что она мне нравилась. Она была добрая, улыбчивая и щедрая; я видел, как на пляже она покупает виноград и никогда не берет сдачу. Может быть, она просто не разбиралась в наших деньгах, а может, ей было стыдно брать сдачу, а может, у них в Испании есть такой закон — сдачи не брать...

Она была неразговорчивая, но веселая; никогда я не видел, чтобы она сидела с постной физиономией. Ей всегда было весело.

Я помню, как-то вечером мы втроем гуляли по берегу. И по морю суматошно, быстро бегали лучи прожектора, и море шумело негромко, как-то особенно монотонно, и постепенно затихали дома отдыха и санатории. Анита вдруг поскуичнела и перестала смеяться, словно жалея, что день прошел. Какие-то мужчины подошли к ней, звали ее в ресторан «Приморский»; она их очень вежливо и церемонно поблагодарила, но с ними не пошла, а осталась с нами. С нами ей больше нравилось. Мы шли молча, потом отец остановился и сказал довольно церемонно, в ее стиле: «Не извинит ли нас красавица Кармен (отец обожал всякие прозвища, а ее вообще никогда не звал по ее имени и говорил с ней как бы стихами), не извинит ли нас красавица Кармен, если, одежды наши скинув, купаться будем мы?» — «Извинит, извинит», — улыбаясь, ответила Анита.

Мы быстро разделись и пошли в море. Она сторожила наши брюки и рубашки. Вступая в воду, отец сказал: «Этот краснофлотский звездный заплыв посвящается Кармен».

Издали вода блестела, а когда я погружался в нее, она становилась тусклая и черная, как гуталин. Меня пугала эта чернота, и я переворачивался на спину. Я видел, как медленно плывут огромные белые звезды. Было два моря: одно, которое держало меня, другое — сверху, надо мной. Море внизу было теплое, вода в нем была словно комнатная, а другое, сверху, было зеленое и холодное. Мы барахтались в теплом море, а холодное смотрело на нас; мы выходили на берег, а холодное зеленое море было без берегов, без начала и конца, и этого я не мог понять... Я ни разу не летал тогда в самолете и совершенно не был знаком с этим зеленым бесконечным холодным морем,

и я боялся его, потому что всегда боишься того, чего не знаешь.

Мы вышли из воды, выжали наши плавки, стали переодеваться, а Анита сказала нам: «А теперь я буду немножко окунаться, а вы отворачивайтесь, пока я раздеаюсь».

Она ничего говорила по-русски, но все-таки обороты у нее были странные: «Пока я буду окунаться». Мы были уже одетые, сухие, нам было необыкновенно хорошо, как всегда после ночного купания, и мы старательно отворачивались, а она раздевалась. Что-то шелково и быстро шуршало и падало на землю. У меня почему-то билось сердце от этого шуршания, от этого чего-то легко падавшего на землю, от этой паузы, когда мы сосредоточенно смотрели в другую сторону. Я не могу сказать, чтобы Анита была в моем вкусе: она была слишком маленькая, а я уважал высоких. Да и вообще женщины мне тогда не нравились, я на них и внимания не обращал; я каждый день видел сотни женщин: сотни женщин лежали и стояли на пляже в сарафанах и в купальниках, а некоторые лежали в стороне почти без ничего, только на носу у них был зеленый лист от загара. И у меня никогда не билось от этого сердце, мне было наплевать на это, а когда я видел тех, что лежали с зеленым листиком, то мне и вовсе становилось противно, я бежал в море, чтобы скорее забыть их... Я был равнодушен ко всем женщинам, кроме нашей учительницы немецкого языка. Она была кривляка, молодая, но высоким голосом кричала: «Рухь!» — и она почему-то мне нравилась. Но ни от чего у меня не билось сердце, а вот от этого шуршания, оттого, что мы напряженно смотрели в другую сторону, а что в этой стороне, неизвестно, — вот от этого у меня билось сердце. Потом Анита бежала в воду, и оно переставало биться — все было совершенно обыкновенно.

После купания мы еще долго гуляли по берегу, Анита и отец курили и молчали; вдалеке в море вдруг что-то тускло загоралось: это шел какой-нибудь захудалый танкер, а на берегу было уже темно и покойно, музыка исчезла отовсюду, только в ресторане «Приморский» она глухо и натужно ухала, как филин в детской передаче. Оттуда, из ресторана, выходили люди, вернее, не выходили, а вылетали, словно дверь была тетива, а они —

стрелы. Дверь скрипуче и туго оттягивалась, как бы напрягалась на секунду, и они вылетали, затем дверь хлопала и закрывалась. Они были распаренные, красные, как после бани, и смотрели на нас с недоумением, — мы были такие странные, спокойные, тихие, совершенно трезвые. Мы были просто люди, они люди-стрелы... И они летели дальше, летели напряженно, неровно покачиваясь, а мы не знали, в кого они вонзятся. Дверь-тетива все выбрасывала новых и новых, за ней мелькало скуластое татарское лицо швейцара, мелькало и тут же исчезало, маленькое, сморщенное, загорелое лицо, немного похожее на лицо Хайдера. Наверное, швейцар и был лучником.

Мы уходили в сторону от ресторана, и Анита сказала:

— В Испании у нас очень другие кафе.

— А это не кафе, это ресторан, — поправил ее я.

— В Испании есть много совсем маленьких кафе, — продолжала она, не слушая меня. — И все они всю ночь раскрыты.

— Открыты.

— Нет, они раскрыты. Насовсем раскрыты.

— Настежь раскрыты, — вступил в разговор отец.

— Да, да, настежь. Они настежь раскрыты. Совсем не так, как здесь. Всю ночь сиди, пей вино, музыку слушай...

— А у нас музыка в двенадцать прекращается, — сказал я. — Есть постановление горисполкома. Надо соблюдать порядок.

— О, порядок! — сказала Анита. — У нас никогда не бывает порядок.

Она задумалась, улыбнулась и сказала грустно:

— Никогда не бывает порядок. Это хорошо, но это и плохо. Поэтому с Испанией так и случилось.

Мы шли молча и слушали, какие у нас звонкие и легкие, будто бы жестяные шаги по торцовой мостовой. Мы дошли до Дома творчества; там было уже темно, только стеклянная веранда была освещена, и чьи-то фигуры подергивались, точно куклы в театре, где их слишком торопливо хватают за ниточки. Только чуть позже я понял, что это на веранде полуночные художники играют в бильярд.

— Ну, я буду идти в свою келью, — сказала Анита. — А вы к себе.

Она задержала руку отца в своей; мне стало почему-то неприятно, и я отошел в сторону. Но она тотчас же позвала меня и сказала удивленно:

— Куда же ты утонул, мой мальчик?

Было по-южному очень темно, и, отойдя от освещенного входа, я действительно мгновенно «утонул», исчез из ее поля зрения. Она протянула мне руку и тоже задержала мои пальцы в своих. Я знал, что она скоро уезжает, что ее срок кончается, и мне было жаль расставаться с ней.

Когда мы возвращались домой, отец неожиданно сказал мне:

— Зачем ты отошел? Она так же дружит с тобой, как и со мной. А мне, кроме тебя и мамы, никто не нужен.

И я знал: он говорит правду. Тогда ему никто не был нужен, никто в целом мире: только мы.

Утром отец уехал в Новороссийск. Я забрел далеко, за «дикий» пляж, туда, где примерно в пятидесяти метрах от берега вылезала из воды серая угловатая уродливая скала-обрубок. Она была довольно высокая. Я не видел, чтобы кто-нибудь нырял с нее; здесь было когда-то несколько скал, но их взорвали, и осталось множество камней и эта странная узкая скала, одиноко и зло торчавшая из воды. Берег здесь был тоже неровный, обрывистый. Мне захотелось забраться на острые и скользкие камни, не рисуясь перед кем-нибудь, а испытывая себя, свою волю и смелость. Я соскочил с отвесного берега, вошел в воду и, покачиваясь, изгибаясь, пошел по крупной острой гальке. Впереди были большие камни. Мне стало немного страшно, здесь было пустынно, дико, ни одного человека, только надпись на фанерном столбе:

«Купаться и нырять строго воспрещается. Опасно для жизни». Такими надписями истыкано все побережье, и они действуют только на дурачков, не умеющих держаться на воде.

Мне нравилось, что здесь я один, что где-то-вдали, еле видимые, чернеют и копошатся крошечные человеческие фигурки, скопившиеся на общем пляже, что море здесь совершенно другое, чем там, просторное, одновременно грозное и покойное. Я шел вперед к большим камням, лег на воду и медленно, осторожно поплыл. Вдруг я услышал

резкий быстрый плеск и увидел за камнями белый бунчик воды. Кто-то плыл параллельно мне, глубоко, низко врезаясь в воду, будто торпеда. Через минуту я уже видел, как он подплывает к скале-обрубку. Вот он протянул руку к скале, выгнулся, в зеленоватой чистой воде блеснуло что-то солнечное, медное, и вот уже над нижним пепельно-серым выступом скалы мелькнула знакомая мне рыжая маленькая голова. Это Анита ловко и легко взбиралась на скалу. Через минуту она уже была совсем наверху, на кончике грифеля этого серого толстого карандаша, торчавшего из воды. Я хотел ее окликнуть, но замер в удивлении и в испуге.

Она стояла вполоборота ко мне и... крестилась. Не в шутку, а серьезно, неторопливо и спокойно. Перекрестившись, она рванулась со скалы вниз. Я зажмурился. Когда я открыл глаза, вода ослепила меня жгучим зеленым блеском. И через секунду я увидел, как над зеленой гладью вновь появилась рыжая отчаянная голова нашей Аниты. Я поплыл к ней. Она не видела меня, она шумно отфыркивалась, высоко, как дельфин, выскакивала из воды, высекая белые, сверкающие, как искры, брызги. Вот она увидела меня, остановилась, лицо у нее сделалось радостное, приветливое, затем словно бы тень набежала на него, и улыбка стала не веселая, а вынужденная. Может, она поняла, что я видел, как она крестится... А может, сначала она улыбнулась по привычке, а вообще-то ей вовсе не хочется видеть меня. Во всяком случае, я не стал ее ни о чем спрашивать — с меня было достаточно, что она не разбилась. И, помахав ей рукой, я поплыл в другую сторону. Через две или три минуты она догнала меня и сказала:

— Куда ты? Будем прыгать вниз... Со скалы.

— С этой скалы нельзя прыгать, — сказал я. — Здесь никто не ныряет, кроме чокнутых. — Я постучал пальцем по лбу.

— О, это совсем маленькая скала. Я могу нырять с совсем большой скалы.

Но я больше не дал ей нырять, и вскоре мы вышли на берег. Здесь лежал ее мольберт, кисти и тюбики с краской.

— Я буду тебя писать, — сказала она.

Она усадила меня на камень и стала рисовать. Она

рисовала, наверное, час; я уже не мог сидеть как чурбан, у меня даже шею свело. Но я сидел, терпел. Хотелось увидеть свой портрет. Я пожалел, что здесь нет отца, пусть был бы двойной портрет. И она, словно прочитав мои мысли, сказала:

— Я бы хотела рисовать тебя с отцом. Отец и ты.

— Отец не любит сидеть как истукан.

— О, ты устал, мальчик! Будем кончать сеанс.

Минут через пять она закончила свой сеанс, и я подошел к холсту и очень удивился. Там был я и не я; вернее, кто-то отдаленно похожий на меня, но, в общем, совершенно другой. Лицо у него было зеленое, как молодая трава, а глаза желтые, огромные, как фары... «Может, это только в наброске так, а в картине будет по-другому», — подумал я.

Мы еще немного полежали с ней на пляже; она все время что-то напевала, хулиганила, кидала в меня галькой. Потом она проводила меня домой, отца еще не было, и мы немного посидели на нашей веранде, прохладно пахнущей сырым некрашеным деревом, — хозяйка мыла полы. Потом Анита вдруг сорвалась с места, сказала, что она больше не может ждать, что ей завтра уезжать и она совершенно не готова.

— На рассвете я буду уезжать, — сказала она. — Вы меня не можете провожать, потому что будете спать.

— Мы проводим вас обязательно! — воскликнул я.

— Нет, вы будете видеть третий сон.

Она соскочила со ступенек террасы, махнула мне рукой. На узенькой пыльной-пыльной улочке мелькнул ее желто-красный широкий сарафан.

Вечером отец приехал из Новороссийска. Я рассказал ему о том, как пришел в район камней и заплыл, и как увидел Аниту, ныряющую со скалы, и как она крестилась.

— Она же антифашистка. Зачем она крестится? — удивился я. — Неужели она верит в бога?

— Бывает, что и антифашисты верят в бога, — сказал отец. — А бывает и так, что не верят ни в бога, ни в черта, а крестятся. К тому же наша Анита до шестнадцати лет воспитывалась в католическом монастыре.

— Откуда ты знаешь?

— Она однажды мне рассказала об этом.

На рассвете отец разбудил меня; мы пошли провожать Аниту. Она отправлялась на катере в Новороссийск, отсюда поездом в Москву. Катерок покачивался на воде, какие-то люди из Дома творчества, провожавшие ее, галдели и наливали в бумажные стаканчики вино и очень не подходили к этому сонному рассветному морю, к длинному, скучному молу, к безлюдной пристани. Однако они кричали и махали руками, будто это они были испанцами, а не Анита.

Впрочем, она тоже была чуть на взводе, а глаза у нее были воспаленные, точно она ночь не спала. Может, она просто всю ночь складывала вещи... Анита прощалась со всеми, все ее обнимали, целовали, какая-то из двух старух говорила: «Приезжайте, приезжайте», — будто Анита уезжала по соседству, а не в Москву, а оттуда еще неизвестно куда. Сонный матрос поигрывал швартовым канатом, намекая на то, что пора, но Анита все никак не могла распрощаться со всеми.

Наконец она со всеми перецеловалась, остались только мы. Но с нами она не стала целоваться, хотя из всех мы были самые близкие ей. Она сначала было потянулась к отцу, а потом остановилась, осеклась на полудвижении и протянула ему руку. Он улыбнулся ей наигранно-бодро, глаза у него были тоскливые. Когда он так наигранно-бодро улыбался, мне его всегда становилось почему-то жаль. Потом пришла моя очередь прощаться. Анита и мне протянула руку, и я приготовился крепко по-мужски пожать ее. Но вдруг Анита притянула меня к себе, горячодохнула на меня, я почувствовал легкий запах вина, она порывисто, сильно обняла меня и прошептала:

— Тебя я больше всех любила.

Я промолчал, не зная, что ей сказать.

— Храни тебя бог, — и добавила еще что-то на протяжном, незнакомом мне языке.

— Что вы сказали? — спросил я.

— Я тебя так назвала, как своего сына.

— У вас есть сын?

Она остро, быстро глянула на меня и сказала:

— У меня есть сын.

Я видел ее рыжие волосы, ее глаза, устремленные на меня, ее руки, уже отпустившие мои плечи и как-то странно неподвижные, я видел, как она вновь очнулась

и снова заулыбалась, а матрос все хмуро смотрел на нее и помахивал концом каната.

Наконец она прыгнула на катерок, катерок качнулся, и матрос сдернул канат. Так я и не узнал больше ничего про ее сына.

Художники все разошлись, побросали на землю свои картонные стаканчики, и когда мы с отцом уходили с пристани, то все время наступали на них; стаканчики лопались, из них, как сок из плодов, вытекали красные струйки вина. Мы шли по этим стаканчикам, по серой нагревающейся пристани, и все оборачивались в сторону моря, и все нам казалось, что мы видим этот беленький катерок, идущий к Новороссийску.

— А ты знаешь, у нее, оказывается, есть сын, — сказал я. — Интересно, сколько ему лет?

— Нет у нее сына. Ее муж и сын погибли в Испании в тридцать шестом году.

С тех пор я так и не знал, что стало с Анитой. Я ее часто вспоминал и спрашивал о ней у отца. Но и он ничего не знал о ней.

ГЛАВА 10

Я засыпал и просыпался, что-то раскачивало меня, было тепло, и я не понимал, что это. Берег в Геленджике, прибой... Когда я открывал глаза, приподнимался, видел черную пустую комнату, очертания стола, табуреток, коптилки на окне. Наконец я встал и понял, что в комнате холодно, просто меня еще греет спирт. Я осмотрелся, увидел, как белеет безжизненная пустая отцовская кровать. Он еще не вернулся. Я посмотрел в темноте на часы. Половина четвертого. Так долго он еще никогда не задерживался. Он всегда ночевал дома. Хотелось есть. Но жратвы уже не было — не то что сала, ни крошки хлеба. Я снова лег на свою раскладушку. Хотелось думать о чем-то приятном, о Геленджике, о море, об Аните. Но не выходило. Теперь я уже не мог заснуть.

Тепло спирта постепенно вытекло из меня, стало холодно, знобко: ни ночь, ни утро... К комнате этой я никак не мог привыкнуть: в ней не было ничего родного, моего, ее углы были холодные, не связанные в моей

памяти ни с чем. Валялись отцовские книги, газеты... Темная, бесформенная нелепая груда. Я пытался задремать. Чудилось что-то теплое, красноватое, солнце на снегу, потом теплое уходило, снег становился серый, сухой, как известка, и я снова открывал глаза и окликал отца. Никто не отвечал, только в газетах что-то шуршало быстро, воровато — должно быть, мыши. Скорей бы уже утро...

Я встал, зажег коптилку, нашел махорку, скрутил себе толстую, неуклюжую сигарку. Грубый, тяжелый вкус махорки был приятен, от густого черноватого дыма в комнате стало чуть теплее. Медленно начинало рассветать. В тишине я услышал, как елозил ключ в просторном, разболтанном гнезде замка. Ключ елозил и гремел, все не попадая в паз.

Вошел отец, увидел, что я курю, но ничего не сказал. Он стал искать кисет с махоркой. Искал, шарил по углам, он никогда не знал, не помнил, где что лежит.

— Ну как погулял, как повеселился?

Он промолчал, словно не услышал моего вопроса. Казалось, он был всецело поглощен своими дурацкими поисками. Руки его суетливо шарили по столу, по кровати. Они как-то беспомощно, будто с холоду, дрожали. Я не выдержал, взял кисет, который лежал на полу около окна, и бросил ему.

— Ну как все же провел время? — еще раз спросил я. — Как же ты на работу пойдешь не выспавшись?

Он сел на мою раскладушку, снизу устало и кротко посмотрел на меня.

— Голова болит, — сказал он и провел ладонью по лбу.

— Еще бы.

Он все смотрел на меня без улыбки, без смущения, без иронии, безразлично, спокойно, каким-то больным взглядом.

Он лег на мою раскладушку; она заскрежетала, запищала от тяжести; он вытянул ноги и, закрыв глаза, прошептал:

— Голова болит чертовски... А работа у меня сегодня...

— Ничего, у тебя помощники есть.

— У меня теперь помощников мало осталось. Шелю я проводил сегодня на фронт.

ГЛАВА 11

Казалось, никогда не наступит в этом городе весна. Зима здесь была долгая: ни марта, ни апреля — бесконечный, студеный тусклый февраль. Там, на фронте, зима помогала нам, здесь мешала. Угля не хватало, почти две недели мы не ходили в школу. Потом занятия начались; мы сидели в классе в пальто, в шапках со спущенными ушами, держали прямыми, негибкими пальцами ручки, было непривычно тихо, никто ничего не вытворял...

Только когда приходил военрук и устраивал «газовую тревогу» и мы напяливали на себя заштопанные старые противогазы, становилось шумно, как в обычные дни.

После уроков я сразу возвращался домой и рано ложился спать. Отец приходил из госпиталя совсем поздно, мы с ним очень мало виделись. Он ходил все время простуженный, больной, глаза у него были мутные, а под ними набухшие старческие мешки. Что-то мучило его, что-то неизвестное мне...

Изредка он получал письма без марок со штемпелем военно-полевой почты. Он аккуратно расклеивал конверт, осторожно вытаскивал синенький листок, приклеившийся к конверту, и читал; и только взгляд у него был бегущий, задыхающийся от отчаянного, почти слепого бега по строчкам.

А дело все же шло к весне, и, хотя стояли холода, утра вдруг стали неожиданно солнечные, и комната на рассвете вдруг переставала быть землисто-серой и становилась розовой, не такой узкой, стулья и колченогий квадратный стол выходили из своей серой ночной потаенности и тоже становились своими, обжитыми; и уже не хотелось лежать скукожившись, прижавшись к стене, как зимними утрами, а, наоборот, хотелось быстро встать, выскочить из подъезда и зажмуриться от четкого, ясного, сильного света, от желтого вздутого снега, от прочного и близкого солнца. И, как в Москве, до войны, день что-то обещал. И я бежал по улице уже привычной дорогой и думал о том, какая будет вечерняя сводка, и казалось, сводка должна быть лучше, чем вчера. У нас приближались экзамены, и я, как ни странно, радовался этому. Мне нравились экзамены: лотерея, почти всегда беспроигрышная, как на елке, а все-таки какая-то игра, напряжен-

ность, нацеленность, собранность. Мне хотелось быстрее перейти в следующий класс, быстрее кончить десятилетку, а там один путь — на фронт. Если только к тому времени не кончим войны. Я знал, что поступлю в военное училище. Раньше я об этом никогда не думал и не мечтал, как другие ребята, но сейчас я решил это твердо для себя. Я в детстве любил играть в войну и фильмы про войну тоже любил, а потом разлюбил, мне стали нравиться другие вещи. Но сейчас была наша общая и священная война... И мой дальнейший путь был ясен.

Наша дружба с Хайдером пошла на убыль. Мы с ним почти не разговаривали, хотя и сидели на одной парте. Вообще он сам никогда не начинал разговора, он как бы уступал мне инициативу. А тут и я молчал. Но очень долго молчать я не мог, я уставал от этого. Тем более, когда сидишь с человеком на одной парте. Надо все время притворяться, будто ты с ним не знаком.

И однажды как ни в чем не бывало я заговорил с Хайдером. Спросил его, что задано. Если он начнет кукситься, цедить сквозь зубы, тогда черт с ним, решил я. Тогда я вообще пересяду с этой парты.

Но он ответил довольно приветливо (даже очень приветливо для себя). Наверное, и ему надоело это молчание. В тот день после уроков я провожал его до дому, потом он меня, потом мы вообще не пошли по домам, а отправились гулять.

ГЛАВА 12

В середине апреля неожиданно резко потеплело. Однажды, выйдя на улицу, я не узнал наш город. Теперь это был не оцепеневший, малолюдный, белый город, а мокрый, блестящий, взъерошенный, как щегол. Улицы, уходившие вниз, несли не ручьи, а реки, и эти реки шумели у водостоков, размывали желтый снег, и он незаметно кончался и уходил вместе с ними. Уже кое-где подсушило, и появились кусочки сухого асфальта, а раз уже есть сухой, солнечный, чуть нагревающийся к полудню асфальт, значит, и всерьез весна. В Москве в апреле уже было много сухого асфальта, вся Кропоткинская была — сухой асфальт; на нем уже девчонки шпарили в «классы»,

и я чувствовал себя как-то особенно, будто это был не обыкновенный день, а день моего рождения или что-нибудь в этом роде.

А потом приходило 1 Мая, и мы собирались в школе, нам выдавали транспаранты, и мне почему-то всегда попадалось: «Нет войне!» И я нес это «Нет войне!» через весь Гоголевский бульвар, но о войне и думать не хотелось. Все были счастливые, возбужденные, и тихий Гоголевский бульвар вдруг становился островом, который обтекала теплая человеческая река, быстрые наши головы были ее маленькими волнами, над ними, как бакены, загорались красные шары. И весь медленный путь к Красной казался бурным, захватывающим, как бег паровоза из той песни, что мы особенно любили. Остановка была в Коммунне — на Красной площади...

Там мы останавливались и затихали у начала ГУМа. Мимо рядов пробегали какие-то люди и что-то подсчитывали, а сзади толпа напирала так, что деревянные транспаранты и макеты опасно, сухо трещали в тишине. Наконец кто-то невидимый давал знак, и мы галопом, но ухитряясь сохранять строй, почти врывались на площадь. Здесь строй снова выравнивался. С неба гремели лозунги: «Да здравствует международная солидарность трудящихся. Ур-ра!» И все кричали «ур-ра», а сами всем телом поворачивались к Мавзолею и так и шли боком, крича и глядя во все глаза на трибуну. Глаза скользили торопливо, жадно, перескакивая с одной знакомой фигуры на другую, пока не находили маленькую седовато-зеленую фигурку. Он стоял в середине, чуть поодаль от других. Он поднимал руку и махал нам. Мне всегда казалось, что он машет именно мне. Что он видит меня так же, как я его.

После некоторого замедления в центре площади мы мчались изо всех сил, оборачиваясь назад в надежде еще раз хоть на мгновение увидеть его. Когда площадь кончалась, я чувствовал, как напряжение и возбуждение спадают, будто я плыл по морю со страшной скоростью, а теперь выхожу из волн на берег.

1 Мая 1942 года мы собрались в 7 часов во дворе нашей школы. Нам выдали красные плакаты с надписью: «Наше дело правое, враг будет разбит!» — и портреты вождей. Наша колонна потянулась к центру города. Лю-

дей было много, некоторые пришли прямо с ночных смен. Они шли в спецовках, лица у них были особенно бледные в утреннем, ясном, даже резком свете. Но они шли быстро, не хуже нас и тоже несли плакаты и транспаранты, а некоторые доставали из платков и мешочков какую-то еду и торопливо, на ходу ели. Но потом, когда мы все вышли на главную площадь, люди перестали переговариваться и есть. На деревянной щелястой трибунке стояло несколько человек. Я узнал только секретаря горкома комсомола: он приезжал как-то в школу и проводил с нами беседу. Тогда он показался нам самым главным. Он был в застегнутом наглухо кителе, а на бедре у него висел маленький браунинг. Было не совсем понятно, зачем ему в тылу, так далеко от фронта, оружие, но потом мы решили: раз носит, значит, надо. Но здесь, на трибунке, он был далеко не главный. Здесь главные были другие, а он скромненько стоял во втором ряду, и его почти не было видно.

На центральной площади против трибуны мы все остановились, стало тепло, тесно и тихо. Только скрипела тоненькая фанера транспарантов, глухо, глинисто чавкала мокрая, в лужах земля, придавленная тысячами ног. В середине трибуны стоял очень высокий и худой человек с морщинистым, но не старым еще лицом, с непокрытой, совершенно белой головой, которая странно возвышалась и светлела над зелеными кепками, над темными шляпами, над военными фуражками, будто это была вершина горы, на которой лежит снег, вершина самая высокая и самая белая среди других, зеленых, темных и невысоких.

Он сказал высоким мальчишески-звонким голосом куда-то мимо микрофона:

— Мы открываем митинг всех трудящихся нашего города, посвященный Дню международной солидарности пролетариев — Первому мая. Слово имеет председатель горисполкома товарищ Парфенов.

Что-то было в его голосе и виде, что подействовало на меня, и теперь я ждал чего-то очень важного. Я даже сам не понимал чего. Чего-то важного и торжественного. Не то чтобы пышного, а именно торжественного, значительного, то, чего я никогда потом не забуду, так же как я никогда не забуду Красную площадь. Может быть, даже более важного, чем там, на Красной площади, потому что

сейчас — сорок второй, а тогда был сороковой. Потому что сейчас я другой, чем тогда. Сейчас я уже знал что-то, а тогда не знал ничего. Я неожиданно вспомнил своего историка, своего классного. Я знал, что его нет, но искал его глазами. Он всегда ходил с нами на Первомай, он любил этот праздник особенно. Он только просил нас не очень шуметь, когда мы приближались к Красной. Он всегда шел во главе нашей колонны, а вот сейчас его не было. Его не было в этом городе, в этом Первомае. Его не было вообще. Это было очень просто, очень понятно и все-таки удивительно, что его нет вообще: ни здесь, ни в другом городе, что его нет нигде. Мне захотелось, чтобы рядом был сейчас кто-то нужный и близкий мне. Отец... Но отец в другой колонне, если он вообще на демонстрации. Хайдер... Да, я бы хотел, чтобы рядом был Хайдер. Пусть Хайдер. Он совсем другой, чем я. Мне с ним не легко, но пусть он. Пусть он будет рядом, и, когда на трибуне будут говорить, мы оба будем слушать и переглядываться в особенно важных местах. Я это люблю, я сильнее чувствую, когда кто-то рядом. Но Хайдера нет. Где он? Я оглядел весь наш ряд и не нашел его. Странно, что его нет.

А на трибуне между тем выступал председатель горсовета. Он говорил четко, внятно и все время низко склонялся к микрофону. От этого голос у него делался слишком громкий, слишком металлический. Уже не чувствовался его голос, а чувствовался только усилитель. Он говорил долго. Слушали все сначала его. Но он не говорил того, чего я ждал. Он не говорил важного. Он говорил не по бумажке, но так, будто перед ним все время была невидимая бумажка: правильно, складно, четко — о войне, о победе, о партии и народе, но он говорил не так, как я думал. Он не волновался. И я не волновался. Никто не волновался. Все знали, что раз митинг, значит, надо слушать, но все были настроены на другое, у всех было другое настроение, и все сначала думали, что он скажет то, что всем надо. Но он и не думал этого говорить. И вдруг во мне что-то ослабло, пропало то напряжение, что было вначале. Он говорил так громко и отчетливо, доносил каждое слово и низко склонялся к микрофону, а ребята уже переговаривались почти вслух... Наконец он кончил. Тогда микрофон передвинули опять в середину

трибуны, где стоял седой... Седой стоял секунду неподвижно, его лицо, старое и одновременно молодое, все в глубоких, резких, как шрамы, морщинах, было неподвижно и как-то далеко от нас, точно он забыл о том, что ему надо говорить... Но потом словно вспомнил, качнул головой и сказал опять не в микрофон, так что голос чуть не потерялся:

— Товарищи дорогие, хороший это праздник Первомай, я его люблю с детства. Были у меня разные Первомай, мальчишкой на маевку ходил под Сормовом, рабочим по Красной площади проходил — видел Ленина на трибуне. А вот такого Первомай не припомню. Первомай, когда о празднике не думаешь, и о весне не думаешь, и ни о чем не думаешь, кроме одного: выстоять и победить. Еще далеко до нашей весны, до победы, до настоящего светлого Первомай. Не завтра он наступит и не послезавтра. Враг все еще на земле нашей, и как он гадит эту землю, об этом я говорить не буду. Да вы не хуже меня это знаете...

Он перевел дыхание, снова задумался, лицо его порозовело. А может, он просто чуть повернулся и ушел из тени и теперь солнце задело его лицо.

— Враг топчет наши поля, вешает, расстреливает братьев, сестер, отцов и сыновей наших. Но всему бывает конец, и будет конец гитлеровскому злодейству, будет конец фашизму, всем его главарям и всем его исполнителям. Этот конец начался под Москвой. Они спали и видели, как они пойдут по Красной площади, как они устроят парад на московской земле. Они не знали, что они, как последняя падаль, будут гнить на нашей московской земле, что не марши парадные им придется играть, а заказывать церковную панихиду по убитым. Они получили первый страшный удар. И весь наш народ, как один человек, поднялся на священную войну, потому что весь наш народ, как один человек, борется за свою судьбу, за свое будущее, за жизнь — против смерти.

Все захлопали. Это был глухой звук материн, потому что многие еще носили варежки и перчатки. Что-то было странное и сильное в этих глухих, тяжелых, как топот ног, аплодисментах. Теперь я уже слушал этого человека. Я слушал его изо всех сил, хотя все, что он говорил, я знал и без него. Дело тут совсем не в том, знаешь ты,

что говорит человек, или нет. Дело в том, к а к он говорит и к а к о й он сам, и веришь ли ты ему или нет.

Я почему-то верил этому человеку. Верил его звонкому, накалившемуся и тяжелевшему с каждой секундой голосу, его длинным худым рукам, что неподвижно лежали на трибуне, сжатые в большие кулаки, и только очень редко, когда он особенно волновался, поднимались над белой головой, как два ядра. Я верил его резким морщинам, и глазам, и старчески легким светлым волосам, шевелящимся на ветру. На груди у него был единственный орден в красной матерчатой окаемке, каких сейчас не носят. Кажется, это был довоенный орден Красного Знамени. Я такие ордена только в Музее Революции видел.

А он продолжал:

— Мы здесь далеко от фронта. Мы все — я уверен в этом — от мала до велика хотели бы быть на фронте, чтобы своими руками уничтожать фашистских захватчиков. Но все не могут быть на фронте, потому что фронт должен опираться на тыл. Каждый из нас, как только началась война, тут же попросился на фронт, но партия сказала: нет, вы нужнее в тылу, на оборонных заводах, на фабриках и в госпиталях. Наше сражение — здесь, и от него очень во многом зависит исход фронтовых сражений. «Все для фронта, все для победы!» — это лозунг нашей жизни здесь, в тылу. Мы должны не завидовать тем, кто сражается с врагом на линии фронта, а должны давать на эту линию танки, снаряды, продовольствие и одежду. И сегодня, товарищи и друзья, я поздравляю вас с нашим рабочим пролетарским праздником и верю, что никто из вас ни на мгновение не ослабит своей работы, своей борьбы за наше общее справедливое дело. Наше дело правое — враг будет разбит!

Все снова захлопали глухо и сильно, а седой резко взмахнул рукой, и оркестр, стоявший слева от трибуны, заиграл «Интернационал». Мы сдернули с голов кепки, военные на трибуне приложили руки к козырькам, а говоривший речь стоял устало, опустив руки, и слушал так внимательно, будто «Интернационал» при нем исполняли впервые. Ему, видно, очень хотелось, чтобы несыгранный этот оркестр сыграл так, как надо. И оркестр не фальшивил — играл как следует. И все стояли навтыяжку

и слушали «Интернационал», будто его играли для них первый раз.

Потом мимо трибуны пошли те солдаты, что были ранены, а теперь выписывались из госпиталя и на днях отправлялись на фронт. Оркестр играл марш, и солдаты шли, держа парадный строй. Он был четкий, но не безупречный. Наверно, оттого, что они долго лежали в госпитале и отвыкли от маршировки. А может, просто есть особые войска, которые владеют искусством парадного марша.

Затем и все остальные демонстранты двинулись по площади, и теперь уже оркестр играл: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна», и кто-то начал вполголоса подпевать, и тогда вся площадь подхватила песню. Тот седой на трибуне тоже пел; мне даже казалось, я слышу его высокий, не по годам звонкий голос. Мы тоже тронулись с места и шли мимо трибуны, и я вновь пожалел, что Хайдера нет рядом. Мы шли очень хорошо, безо всяких заминок, каждый старался не выбиться из общего марша. Где-то в параллельной колонне я увидел отца. Я не думал, что он придет, но, видимо, и их отпустили из госпиталя ненадолго. Он тоже Первомай любил, и, когда я был маленький, я всегда с ним ходил на Красную площадь. И когда мы проходили мимо Мавзолея, он брал меня за локти и подымал.

Я ему крикнул, но он не услышал. Он шел и пел. И я очень удивился, что он поет. Он вообще почти никогда не пел. У него не было слуха. Но для таких песен, наверное, не нужен слух...

Мы быстро прошли площадь и теперь двигались назад, к школе. Надо было отдать на склад транспаранты, флаги и портреты. На улицах было так тихо, что даже до школьного двора доносились ухающие тяжелые звуки оркестра. Мне снова захотелось туда, на площадь. Но идти было бессмысленно: митинг шел к концу.

Ребята уже разбежались, а я не знал, куда деться. Домой идти не хотелось, все равно там никого нет. Я зачем-то зашел в наш класс.

В самом конце, на задней парте среднего ряда, кто-то сидел, вернее, полулежал, опустив голову на руки.

Это был Хайдер. Казалось, он спит.

— Хайдер, — крикнул я, — проснись!

Он не ответил, не поднял головы.

Наверное, всерьез спит, решил я и в недоумении подошел к его парте. Я не больно щелкнул его по затылку.

— Чего надо? — пробормотал он глухо, неразборчиво, в доску парты.

— Ты чего, одурел, что ли? Все на демонстрации, а он спит!

— Я не сплю, — все так же неразборчиво, неясным, как бы стертым голосом проговорил он.

Потом он поднял лицо и посмотрел на меня красными, оцепеневшими пьяными глазами.

— Ты напился? — тихо спросил я.

— Н-нет, — сдавленно протянул он.

— Может, ты заболел?

Он тяжело покачал головой.

— Что ж ты ведешь себя, как псих. Все пришли на митинг, а он в классе сидит. Ну и дурак, много потерял. Знаешь, какой митинг колоссальный был! Солдаты из госпиталя, которые уже выписались... Парад, оркестры! А потом мужик один выступал — здорово так говорил про то, как мы должны помогать фронту. Весь город был... Даже отец — знаешь, как занят, — и то пришел. Очень здорово было. Дурачок ты, ей-богу!

Мне хотелось, чтобы он понял, как там было, чтоб понял, что он потерял. Я говорил что-то еще, быстро, возбужденно.

Он все так же оцепенело, неподвижно смотрел на меня неживыми, тусклыми глазами.

Мне вдруг в голову пришла сумасшедшая мысль, что сейчас он не понимает по-русски; у него иногда бывали такие минуты, когда он будто бы не понимал по-русски, когда он понимал только по-своему, по-татарски... В самом-то деле он, конечно, всегда понимал, а только так смотрел, будто не понимает. Я замолчал. Я не любил, когда он делает такой вид. А он сказал, словно бы чуть оживившись:

— Значит, и отец твой был...

Почему-то во всем моем рассказе его заинтересовал только мой отец.

— Да, и отец был. Кстати, хочешь вечером к нам зайти?.. В шахматы сыграем, может, отец подойдет.

Он усмехнулся сумрачно, недобро, глаза его ожили и блеснули.

— Твой отец все в шахматы играет. Все в шахматы играет, в поддавки играет... Да? И на демонстрацию ходит. Да?

Он все продолжал неестественно напряженно улыбаться, а я не понимал, чего он хочет.

— Твой отец скоро чемпионом будет, — продолжал он.

А я уже почти не слушал его, а только как-то смутно угадывал, что сейчас он скажет что-то такое, чего уже не взять обратно, не поправить, что-то очень скверное, страшное, такое, из-за чего я должен буду ударить его, такое, из-за чего можно убить человека.

Но, словно отрезвев, он замолчал, вернее, заставил себя замолчать, потому что ему хотелось сказать э т о. Губы его шевелились, но беззвучно, и он втянул шею в плечи, что-то давя в себе. И так сидел, наверное, минуту, насильственно, напряженно молча.

Потом он снова опустил голову на руки и крепко сцепил пальцы.

Я увидел, что голова его мелко, почти незаметно дрожит. И вот уже эта дрожь передалась плечам, и плечи тоже затряслись, только не мелко, а круто, резко, волнами.

— Что ты, что ты! — быстро сказал я.

Он шевельнул плечами, словно сбрасывая с себя эту дрожь, но она не уходила, она разламывала его и качала из стороны в сторону.

— Отца... — крикнул он ломающимся, незнакомым мне голосом и жестко ударился лицом в крышку парты. Затем с огромным усилием он поднял маленькое, серое, помертвевшее лицо. — Отца, отца... — повторил он и что-то еще хотел добавить, но не смог.

Потом он задохнулся и замолчал, и щеки у него свело. Он встал из-за парты, повернулся к окну, не глядя на меня, тихо, тускло сказал:

— Отца во вторник убили. Мать еще не знает.

Он аккуратно достал из кармана своей бесцветной гимнастерки листочек бумаги, развернул его, совсем близко поднес к глазам и внимательно прочитал, точно проверяя правильность сказанного. Затем он так же акку-

ратно сложил листочек вдвое и бережно положил в карман.

Оркестры на площади еще играли — в тишине их было слышно очень отчетливо.

ГЛАВА 13

— Ты спишь, пацан?

Я его не вижу в темноте. Только слышу, как он возится в коридоре, снимает плащ, ботинки, как натывается на алюминиевый таз, стоящий под умывальником, и как таз долго, противно звенит.

— Нет, я не сплю.

— А что ты делаешь?

— Думаю.

— Ты большой русский мыслитель? Да?

Настроение у него хорошее. С чего бы это? Получил письмо от нее? Или просто так? Уже я не помню, когда у него в последний раз было хорошее настроение. И всегда так получается, что у нас все наоборот: ему хорошо — мне плохо. Он входит в комнату, подходит к моей раскладушке, склоняется надо мной.

— Пацан, я по тебе соскучился, мы с тобой почти не видимся.

Я что-то бурчу в ответ. А сам думаю: раньше надо было по мне соскучиваться. Когда еще она была. А теперь-то что.

— Хочешь, зажжем коптилку, будем жить, а не спать? Все-таки праздник.

— Мне спать охота... Мне завтра в школу.

— А мне завтра в Большой театр? Ладно, дрыхни, маленький, скучный старичок.

Он в темноте стелит себе постель. Он это ловко делает в темноте. Привык приходиться, когда я сплю.

— Ты Хайдера помнишь? — неожиданно говорю я.

— Да. Которого ты сюда приводил? Он еще в шахматы ничего играл.

— Да. У него во вторник отца на фронте убили. Сегодня повестку получил.

— Жалко парня.

Отец ложится, долго устраивается, выбирая удобное место. Кровать издает какой-то звонкий, жидкий звук.

Я вспоминаю белое лицо Хайдера, его неожиданный страшный горловой крик: «Отца... отца...», мне хочется забыть это, скорее уснуть, но я знаю: уснуть не удастся. И еще я вспоминаю то, что он не договорил: то, из-за чего я мог бы убить его. То, о чем я не думаю только потому, что не позволяю себе... То, о чем я никогда не спрошу отца.

Почему ты здесь, а не там? Я понимаю, ты нужен здесь, ты работаешь в госпитале, на тебе лица нет, ты проводишь там круглые сутки. Кроме того, ты ведешь занятия со студентами. Война войной, но студенты-то должны учиться, а то у страны не будет врачей. И мне хорошо, что ты здесь, а не там, что ты рядом.

Но я не хочу, чтобы Хайдер, чтобы я сам так мог подумать о тебе. Поэтому я спрашиваю тебя: почему ты не там? Я спрашиваю тебя мысленно. У меня нет сил спросить тебя вслух. Я не имею права спросить тебя вслух. Если бы я не верил тебе, если б я не знал, как о тебе, я просто подошел бы к тебе и сказал: «Отец, почему ты не на фронте?»

— Чего ты там бормочешь?

— Так.

— Ты спи... Конечно, жалко этого мальчика. Всех этих мальчиков жалко. Понимаешь, каждый день тысячи мальчиков получают эти извещения.

— Других я не знаю. Я Хайдера знаю.

— Ну и что теперь делать? Хныкать, не спать? Вчера в госпитале тоже... трое. И их мальчики еще ничего не знают. Даже еще извещения не оформлены. И это будет каждый день, и завтра, и послезавтра...

— Всю жизнь?

— До тех пор, пока мы не победим.

Пока мы не победим. Пока вы не победите. Сидя здесь. За три тысячи километров от фронта. И опять, почти вслух, я говорю ему: «Отец, почему ты...»

— Ты чего? — сонно спрашивает он. — Что ты все вертишься на кровати? Спать, спать!

— А у меня, может, бессонница...

Хочу забыть обо всем на свете. О Хайдере. О его отце. О Шеле. Хочу забыть об эвакуации, о холодах, об этом городе, о том, что ребята грызут на уроках жмых. О том, что от матери третий месяц нет писем... Обо всем на свете. Хочу забыть о войне.

Войны нет. Весна. Да еще какая! Лето в мае. Восемнадцать градусов, всюду мокро, весь город — огромная, блестящая лужа.

Вечером иду в кино, в клуб. «Дети до шестнадцати лет не допускаются». Идиотская надпись, уравниловка... Смотря какие дети. Недоразвитых и в восемнадцать не надо пускать.

— Мальчик, до шестнадцати... сейчас вечерний сеанс. Это билетерша. У нее низкий мужской голос.

— Я вам не мальчик.

— А кто же ты?

— Гражданин.

— Видали таких граждан! А ну, пошел отсюда!

— Я билет купил за семь рублей. Мне шестнадцать лет. И вообще, чего вы грубите!

— Я тебе не грублю, я тебе по-русски говорю.

Попробуй ей объясни... А мне хочется в кино, я уже давно в кино не был. И потом, семь рублей...

Я делаю равнодушные, невидящие глаза и иду мимо нее, как мимо столба. Это старый прием. Идешь быстро, но очень спокойно. Голову держишь высоко. Равнение на надпись «Запасной выход». И вдруг, когда билетерша устремляется за тобой (а она помешкает секунду-другую обязательно, потому что люди проходят за тобой мимо нее), ты сжимаешься и делаешь короткий, прямой бросок в зал. Как мячик. Раз — и в ворота. А в зале уже гаснет свет — и ищи-свищи ветра...

Да и кому охота этим заниматься!

Это старый коронный прием мальчишков-безбилетников с Чистых прудов (они «прикреплены» к «Колизею») и с Пушкинской (эти шуруют в «Художественном»). Работа эта не лишена риска. Но мальчишки-безбилетники любят рискованные дела. А я не безбилетник, и это придает мне сил. Я купил билет за семь рублей, но что поделаешь, если контролерша такая стерва.

— Эй, пацан! Может, милицию позвать? Пацан, остановись!

(«Пацан» — как по-разному это звучит. Отец тоже иногда называет меня так.) Насчет милиции — это она загнула. В городе всего несколько женщин-милиционеров и один усатый старик, похожий на городского.

Вот я уже и в зале. Показывают журнал «Битва под Москвой». На экране генерал Рокоссовский осматривает позиции. Это молодой, стройный генерал, и у него походка наполеоновского маршала. Так, может быть, Ней ходил или Даву. И вообще Рокоссовский мне нравится. Он дал прикурить немцам под Москвой! И потом, он действительно похож на генерала. Бывают такие толстые, маленькие генералы, не поймешь, то ли повар, то ли генерал. (Правда, Кутузов тоже толстый был.) А этот шагает легко, властно, смело, как и подобает генералу. И он стрижен ежиком. И у него прищуренные зоркие глаза. И у него фамилия какая: Р о к-оссовский — роковая для фашистов фамилия. Он мне с самого начала понравился, с первых военных киножурналов. С тех пор я за него «болею» и даже собираю про него вырезки.

Генерал Рокоссовский осмотрел позиции и уехал в маленькой бронированной машине, а наши орудийные расчеты дали залп по врагу, и киножурнал кончился. В зале загорелся свет. Я подумал, что сейчас контролерша будет меня искать. Но ничего подобного. В зале было много пацанов, особенно в первых рядах — настоящие безбилетники, но попробуй всех перелови и выведи. А может, она их по соседству пускает, а я в этом кино первый раз. Когда зажегся свет, я решил пересесть поближе. Оглянулся — вижу, в четвертом ряду сидит девушка лет шестнадцати-семнадцати. С затылка — ничего. Стрижена коротко, как студентка. Но на студентку, пожалуй, не тянет — так класс девятый или десятый. Садиться рядом или нет? А потом думаю: ладно, чего я теряю? Не понравится она мне — буду кино смотреть.

Заготовил две фразы. Первая: «Я вам не помешаю?» Вторая: «Здесь, кажется, свободно?»

Я немного помешкал, а тут и свет погас. Я сел и спросил тихо:

— Я вам не помешаю?

Но так тихо, как будто я сам с собой разговариваю. Она даже не повернулась. Это мне не понравилось. Я не люблю таких, которые не поворачиваются, которые делают вид, что ничего не произошло, которые как будто не понимают, что к ней специально подсели, которые сидят неподвижно, с напряженным профилем. Знаете, такой каменный, как барельеф, не отвечающий, напряженный профиль... Но, может, она просто подумала, что я воришка или псих, который только и ждет, когда в зале станет темно и можно будет разговаривать самому с собой. Я решил обождать. К тому же я ее еще толком не разглядел. Свет погас, а кино не начиналось. В задних рядах уже кричали:

— Сапожники, сапожники!

Наконец пыльный струящийся луч потянулся к экрану, и звук заработал со страшной силой и хрипотой.

После первых кадров, улучив паузу в этом неразборчивом, гулком хрипении, я сказал, довольно четко и явно обращаясь к ней, а не к самому себе:

— А фильм-то черно-белый! (Это в специальной книжке, которая у отца была, я вычитал, что нормальные серые фильмы называются черно-белыми.)

Она опять не ответила. Теперь я разглядывал ее профиль. Профиль был ничего — симпатичный. Она была курносенькая.

— Да, черно-белый фильм,— повторил я, чувствуя, что начал не с того, слишком научно.

— А какие еще бывают? — не поворачиваясь, прямо держа устремленный на экран и тем не менее довольно симпатичный, но несколько напряженный профиль, сказала она. — Черно-красные или серо-буро-малиновые?

— Бывают черно-белые, трехцветные или цветные. Бывают также немые, звуковые или звуковые с одной музыкой.

— Что-то я таких не видела.

— Например, «Огни большого города». Чарли Чаплин протестовал против звука и сделал одну музыку.

— Да... Ну давайте смотреть этот черно-белый, как вы говорите, фильм.

— Давайте.

Но в том-то и дело, что смотреть я уже ничего не мог. Я внимательно глядел на экран, но не мог понять, что там

происходит, потому что обдумывал свою следующую фразу. Но поскольку я ничего не видел, то и говорить мне было не о чем. Нелепо же во время сеанса вести отвлеченные разговоры, не относящиеся к фильму. Я смотрел на экран тупо и напряженно, пытаюсь понять, что там происходит, кто кому кем приходится и что они вообще-то хотят друг от друга. Фильм был довоенный, музыкальный. В конце концов это надоело мне, и я вообще перестал смотреть на экран, а стал все чаще и дольше глядеть на свою соседку. Казалось, нет для нее ничего более интересного, чем эта музыкальная картина. Ее глаза прямо-таки вцепились в черно-белый квадрат экрана. Иногда, в самых интересных местах, она громко смеялась или говорила сдавленно: «Ой, не могу!»

А я все смотрел на нее. Не отрывая глаз от экрана, она сказала:

— Вы бы лучше туда смотрели. Гораздо интереснее.

Я хотел сострить, не нашелся и пробормотал еле слышно:

— Это смотря на чей вкус.

Теперь мне вообще нечего было делать. Смотреть на экран не хотелось, на нее — неудобно. Я закрыл глаза.

— Может, тебе подушку дать? — прошелестел чей-то старческий голос. Это была моя соседка слева.

— Дайте, — сказал я, не открывая глаз. — Только с чистой наволочкой.

— Пускают таких хулиганов на вечерний сеанс, а они дрыхнут, — продолжала старуха.

— Не мешайте, я слушаю музыку, — сказал я.

— Тише, товарищи, мешаете смотреть! — Это уже курносенькая вмешалась.

Я чуть-чуть всхрипнул, чтобы позлить старуху, а затем стал смотреть конец картины. Но вот и сеанс кончился.

Курносенькая встала и оказалась довольно высокой, почти с меня. Высокой и взрослой. Вряд ли она была ученицей. Да и студенткой тоже. Скорее всего, она работала на заводе.

При свете я с ней не мог разговаривать, хотя мы вместе двигались по узкому, сырому, как бомбоубежище, коридору выхода. Мы вышли на улицу. Она пошла в сторону, прямо противоположную моему дому. Я — за ней. Сам не знаю зачем. Нельзя сказать, чтобы она мне

понравилась. Она шла впереди, я сзади, примерно на метр. Там, в полутьме зала, в мелькании кадров, в музыке, я чувствовал себя все же легче, чем здесь, на ночной пустынной улице. Наконец я догнал ее и пробормотал:

— Ничего, если я вас провожу?

Она чуть сбавила ход и сказала:

— У вас в Москве все такие... смелые?

«Ничего себе смелый,— подумал я.— Вот это смелость — идти сзади, мучиться и молчать?»

— Нет, это только в восемьдесят первой школе на Арбате такие. Да и то не все. А откуда вы знаете, что я из Москвы?

— Видно.

— По чему же это видно? Форма черепа, разрез глаз, особенности голеностопного сустава? — Теперь я словно на свободу вырвался. Разговаривать стало легко и весело. Раньше я как будто плыл со связанными руками... Теперь веревки сброшены, и я плыву по знакомой реке.

— Да нет, не форма черепа. Я вам даже объяснить не могу... Ну, разговор у вас московский, что ли...

— А, панятна... аканье. Я акаю, ачевидно, как все масквичи. Патаму что раз масквич, значит, акает.

Она засмеялась.

— Да нет, вы нормально говорите.

— А вообще все остальные москвичи разговаривают ненормально, да? Подвывают, заикаются, иногда даже рычат... Да?

— Да нет. Ну как вам объяснить... Москвичи какие-то... свободные слишком. Их сразу узнаешь — легкие они на знакомство.

— Так это плохо?

— Не знаю. По-моему, не очень хорошо.

— Ну да, вам нравится молчание. Молчание — золото. А знаете, что молчание очень часто признак тупости? Молчат те, кому нечего сказать, у кого мыслей нет. (Это была одна из отцовских фраз.)

— А у вас есть мысли?

— Есть.

— Что-то не видно.

Я хотел обидеться, но быстро передумал. Если бы я обиделся, мне пришлось бы уйти. А мне не хотелось. Мне нравилось провожать ее.

— А вы учитесь? — спросила она.

— Да.

— В каком?

— В десятом,— быстро сказал я.

Она посмотрела то ли с уважением, то ли с недоверием. В темноте я не понял.

— А вы?

— Я уже отучилась. Девять кончила, пошла на завод. В тот день, как отца проводила на фронт. А у вас отец на фронте?

Я помешкал... Мысленно сказал: да.

— Нет. Он здесь.

— Инвалид?

— Нет. Врач.

— А мать?

— Мать в Ташкенте.

— Чудно. Сын в Сибири, мать в Ташкенте.

— Бывает.

Мы оба замолчали. Теперь мы шли по узенькой улочке. По обе стороны ее стояли серые, как будто ободранные дома. Около дворов толкались какие-то пацаны, курили махру, сплевывали, посмеивались и глазели на нас. По-моему, они скучали.

Мы шли как сквозь строй. Один из них сказал очень громко, на всю улицу высоким ломким голосом:

— Варька жениха на фронт проводила, теперь только с малолетками...— Он выругался и оглядел своих корешков, ожидая смеха.

Кто-то хмыкнул, но вообще было тихо, и только наши шаги быстро и неловко стучали по земле.

Что делать? Драться? Драться не хотелось... Их было слишком много. Да и настроения не было. Для того чтобы драться, нужно завестись. Но и прощать такое хамство я не мог. «Еще скажут слово — полезу»,— решил я.

— Варька теперь салагу обучает...— снова зазвенел над узкой сонной улицей высокий, чуть истеричный блатной голос.

Варя болезненно сморщилась. Я остановился и пошел назад — к тем, что стояли у двора. Они гурьбой с готовностью пошли мне навстречу.

— Чего надо? — сказал я.

— Ничего не надо, кроме шоколада, — кривляясь, сказал тонкоголосый. — Шоколад любишь, на, выкуси!

Он протянул ко мне маленькую грязную руку, сложенную кукишем. Я ладонью сверху ударил его по руке. Кукиш разжался.

— А по ха не хо?! — тихо сказал он. (Это означало: «А по харе не хочешь?!») — Сейчас хохотальник почистим.

Сзади слышалось чье-то взволнованное, прерывистое дыхание. Это была Варя. Она бежала ко мне. Она бежала тяжело, чуть переваливаясь, шла грудью на все это кодро. Лицо у нее было красное, яростное, нос как-то особенно вздернут, как маленький, но беспощадный клювик. Она походила на наседку, защищающую цыпленка.

— А ну, брысь, погань, шпана несчастная! — кричала она на них. — Хулиганье бесстыжее! А ты отойди. — Она рванула меня за рукав.

— Вишь, как Варька разволновалась из-за своего ха-халя, — сказал тонкоголосый.

Вдруг чья-то знакомая рослая фигура выдвинулась из темноты, из заднего ряда, где, по-волчьи поблескивая глазами, стояло несколько низкорослых малолеток.

Это был Фролов. Он, прищурившись, поглядел на меня, точно удостовераясь, я ли это, затем перевел взгляд на Варю и сказал лениво и повелительно, обращаясь к тонкоголосому:

— Ладно, отзынь... Я его знаю. Из нашего класса. Хайдеров корешок.

— Хайдеров? — недоверчиво переспросил тонкоголосый и посмотрел на меня с удивлением. — Закурить есть? — сказал он почти дружелюбно.

— Нет.

— Ну, извини в таком разе.

Они отошли, а мы с Варей двинулись дальше. Я уже был почти спокоен и готов был продолжать разговор о чем угодно, а она вся кипела. Женщины вообще злопамятные. Я не знал, чем отвлечь ее, и молчал. Эти типы испортили нам все.

Она остановилась у углового домика и сказала:

— Ну все. Вот здесь мы и живем.

Дальше был пустырь, а оттуда дул теплый ветер с легким запахом гари...

— Еще рано идти, — сказал я. — Время детское.

— Вот именно детское. — Она усмехнулась и посмотрела на меня.

Потом она помолчала и протянула мне руку. Рука у нее была узкая, теплая и легкая, как у маленькой девочки. А мне казалось, у нее должны быть так называемые трудовые руки. Я хотел чуть-чуть задержать ее руку в своей, но мне стало неловко, я вспомнил тех пацанов и разжал пальцы.

— Пойдемте завтра в кино, — тихо сказал я.

— Завтра я не могу.

— А послезавтра?

— И послезавтра тоже.

— А когда?

— Когда-нибудь.

«Когда-нибудь» — это значит «никогда». У «когда-нибудь» такой смысл. И еще «когда-нибудь» — это значит «не хочу». «Когда-нибудь» — это значит: «Мне неинтересно с тобой, ты мал для меня, ты школьник, шпингалет, ученик десятого класса, а вернее всего, девятого или восьмого, а у меня есть настоящий жених, и он на фронте...» Вот так я понял это «когда-нибудь».

— Ну что ж, ладно... когда-нибудь, — сказал я и пошел назад.

Она еще стояла, не уходила. Я не слышал ни шагов, ни движения.

— Подождите! — крикнула она.

Что-то дрогнуло во мне, и я остановился в ожидании чего-то нового, удивительного. «Подождите... Я люблю вас!» — проговорил я мысленно те слова, которые она должна была произнести.

Она подошла ко мне и сказала быстро, шепотом:

— Обещай мне, что ты не станешь связываться с ними... Что ты не будешь им отвечать. Я боюсь отпускать тебя... одного.

— Вот как! — Я даже присвистнул.

Она удивительно походила на пионервожатую. Когда я учился в младших классах, к нам прикрепляли пионервожатых. Им полагалось бояться я.

— Вы не бойтесь. Меня не убьют. И мы, может, даже увидимся. Когда-нибудь. Спокойной ночи!

Я снова засвистел и пошел. Сначала быстро, потом

совсем медленно, чуть притаив дыхание. Может быть, она еще раз окликнет меня? Но пионервожатые окликают только раз. Когда уж очень боятся. Они заботливые. Такая у них профессия. И у них у всех есть женихи, которых они тоже окликают, только по-другому.

Какая-то тяжесть была внутри. Я шел не оглядываясь, но я чувствовал спиной: она не ушла.

ГЛАВА 15

Улица серела, я грудью ощущал пронизывающий ветер, пустоту, и все нарастающее с каждым медленным шагом одиночество. А может, это было что-то другое — вязкое, горькое, отрывающее тебя от всех людей, от всех еще горящих окон, от всех запирающихся на засовы дверей... Чего я ждал от этого провожания? Ничего. Просто познакомился, проводил — и домой. А все-таки чего-то ждал. И вообще чего-то ждал — каждый день ждал чего-то. Черт его знает... какой-то дурацкой любви, что ли? Да нет, просто ждал, просто ждал вот чего-то такого, что, например, бывает, когда слушаешь пианиста: он талдычит по клавишам какого-нибудь Шумана, а тебе скучно, ты засыпаешь, и вдруг что-то остановилось в тебе, перевернулось, и ты замер, как суслик на дороге, и такая необъяснимая надежда на что-то... И от стихов это иногда возникает, только реже, а чаще всего просто так — на улице, вечером, весной. Наверное, у старых этого не бывает.

Сейчас это мешало мне, я выругался вслух и пошел уже быстрее... И вдруг слышу: по мокрой, жидкой земле — чап-чап, кто-то бежит. Не оборачиваюсь. Иду.

Она дергает меня за руку. Я останавливаюсь.

— В чем дело? — говорю спокойно, будто и ждал ее.

Она запыхалась, лицо в пятнах, дышит шумно.

— Ты, я вижу, их боишься. Идешь еле-еле, ногами шаркаешь, как контуженный.

— Боюсь, — говорю. — Ты же видела, как я их там боялся.

— Они тебя измордуют так, что своих не узнаешь.

— Узнаю. А вы чего волнуетесь?

— Сейчас только помешанные гуляют. У нас тут чего

хочешь бывает. На днях одного эвакуированного раздели и шлепнули.

— Страсти какие! Короче — в чем дело?

Она все шла рядом со мной и все говорила, говорила и вдруг замолчала. Я снова засвистел художественным свистом «Санта-Лючию». Она сказала:

— Если хочешь, идем ко мне. Рассветет — уйдешь. А не боишься этих — иди дальше. Дело твое.

— Боюсь этих, — быстро сказал я.

— Как хочешь, в общем. — Голос у нее вдруг стал сердитый. — Можешь у меня переждать, пересидеть на табуретке часа три до рассвета. Диванов всяких у меня нет. А не хочешь — иди домой, только я за тебя не отвечаю.

Я быстренько соображал. Отец будет психовать. Ладно. Пусть. Не все же ему возвращаться на рассвете. И вообще... Да, конечно... иду к ней, хотя...

— Ты, я вижу, сам не знаешь, — сказала она. — В общем, привет, я пошла.

Я молча двинулся вслед за ней. Было зябко, мы шли быстро. Прошли двор, она первая поднялась на ступеньки, стала открывать дверь. Ключ долго лязгал, руки у нее, что ли, дрожали...

Наконец открыла. Коридор темный, узкий, длинный.

— Идем. — Она меня подтолкнула, но я на что-то наткнулся, то ли таз, то ли ведро, что-то загремело долгим жестяным тренькающим звуком. — Какой ты неловкий! — громко, сердито прошептала она. — Пошли.

Она пошла вперед, дала мне руку. Я крепко сжал ее руку. Чудесная у нее была рука, гладенькая, маленькая, как шоколадка. Она идет вперед, я за ней, вцепился в ее руку, так что ей неудобно идти. Она чиркает спичками. Коридор весь заставлен каким-то хламом. Вдруг из-за закрытой двери кто-то странным плачущим голосом спрашивает:

— Степушка, это ты?

Она, не моргнув, спокойненько отвечает:

— Я, мамаш, я.

Я ей шепчу:

— Ты чего?

Она машет рукой: мол, потом. Наконец подходим

к ее двери. Она открывает ключом, на этот раз быстро. Входим в комнату. Холодно здесь, как в погребе. Кто-то спит на полу под одеялом и тулупом.

— Это сестренка, — говорит она. — Нас уплотнили, все в одной комнате. Мы с ней на полу, а мать на кровати.

— А где сейчас мать? (Этот вопрос я давно хотел задать, но не решился: раз она не беспокоится — чего же мне...)

— В ночной смене. В шесть придет.

Мне показалось, что она еще что-то хочет добавить насчет того, чтобы я в шесть смылся... Но она не добавила. Может, она матери не боится, а может, она и не думает ничего такого. И я не стал ни о чем таком думать.

— У вас тут Северный полюс.

— Да мы уж привыкли. Мать вторую неделю бьется, ходит в завком — нету угля, и все. Хочешь, свет зажгу?

Я не ответил, а она уже зажигала какую-то лампадку. У них топливо совсем плохое было, фитилек еле горел на каком-то жире, все время загасал.

— Жмыху хочешь? — сказала она.

— Давай.

Она ушла, должно быть, на кухню, и теперь я мог разглядеть комнату. Комната походила на пенал: длинная и узкая. Неясно белела печка с толстой, уходящей куда-то под потолок трубой. Казалось, весь холод исходил от этой бездейственной, тускло светящейся, будто большой сколок льда, печи. Печи, которые не топят, всегда так и тянут холодом. Еще я заметил иконку, на нее косо падал свет из окна, и она золотилась на стене. В коридоре слышались шаги, и снова чей-то свиный, резкий голос спросил:

— Степушка, это ты?

— Я, — слышался Варин голос, а через секунду она отворила дверь в комнату.

— Слушай, кто это тебя Степушкой называет?

Она протянула мне кусочек жмыха и сказала:

— А это соседка Марфа Дмитриевна. Она всех, кто ночью придет, окликает... У нее младший сын был Степка, в пятом классе учился, отдыхать уехал куда-то в Россию, чуть ли не под Москву, а потом возвращался домой, и поезд немецкие самолеты накрыли. Вагон загорелся, а он как сиганет из вагона. И никто его больше не видел.

Марфе Дмитриевне рассказали — так она ничего, даже не заплакала, только побелела сильно. И на работу пошла. А ночью все вскакивала и все окликала: « Степа, Степушка!» И с тех пор окликает, только теперь не встает, а на кровати лежит. Шаги чьи услышит ночью, думает, ее Степа, и зовет... Ну, не станут же ей разобъяснять, в чем дело, откликаются... А днем она совсем нормальная, только ночью окликает.

Она замолчала и села на материну кровать, кровать заскрипела, застонала, сестренка сказала глуховато во сне: «Ты чего?» — и перевернулась на другой бок.

Варя встала, отдернула занавеску, в комнате посветлело, и икона перестала блестеть.

— У тебя что, мать верующая?

— Да нет. Так... Иногда. Об отце говорит иной раз, перекрестится.

Она замолчала, и я молчал, не знал, о чем говорить. По-моему, она хотела спать, она молчала как-то сонно, устало, а я молчал в странной и неприятной напряженности. Хотелось чего-то другого, чем то, что было: других разговоров, другой тишины. Но так уж пошло: и эта старуха с ее совиным голосом, и этот холод, и ледяная печка... Пожалуй, надо было идти домой. Я почему-то вспомнил тот вечер, когда Шеля уходила на фронт, как я пил спирт, и как мне было легко, горячо, и как я с ней танцевал. В первый раз в жизни как будто я другим стал, словно из другого теста меня сделали. Вся тяжесть уходит, и ты как бы на коньках скользишь. Вот сейчас бы немного спирту!

— У тебя выпить нету?

— Откуда же? У нас не пьют. Вот когда Костю провозжали — пили.

— Костя — это жених?

— А тебе что?

— Да так... А сколько ему?

— Сколько есть, все его.

Я представил себе, как в этой комнате было светло, горело несколько таких коптилок на жире, может, и керосину раздобыли для такого случая, и как они кричали, пели, а что они пели, не знаю, может, «Если завтра в поход», а может, «Тучи над городом встали»... Лучше бы пусть они пели «Тучи над городом встали»: «Тучи над

городом встали, ветер нам дует в лицо; за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов». Нет, лучше другой куплет, он больше подходит:

До свиданья, друг мой милый,
Поцелуй меня в уста.
Я клянусь, что тебя до могилы
Не забуду никогда.

Вот я вижу, как они поют, а у него голосок ломкий, а глаза влажные, и весь он светленький, лет ему восемнадцать, всего на два с половиной года старше меня... Но он уходит на фронт, она ему поет и не плачет, держится, а все орут, голоса у них дикие, пьяные (я знаю такие голоса), а ее мать украдкой крестится, и какая-нибудь лампада все время гаснет, а он пьет спирт мелкими глотками, как Шеля... А что делаю я? Он уходит на фронт — это ясно, а что делаю я? Два с половиной года нас разделяет. Два с небольшим. Почему? Я не хочу. Почему не мне она поет, почему ему восемнадцать, а не мне, почему он уходит, а не я?

И вот я вижу, как голос у нее становится влажный, разбухший от слез, но она все еще поет, а слова не идут, а текут, как вода. И он ее целует, и тогда только она замолкает, и он ее снова целует в мокрые блестящие щеки, в опухшие губы, в глаза. Целует так же, как, наверное, отец — Шелю, когда она уходила. Не знаю, как целуют, когда провожают на фронт... А что делаю я? Сижу в сторонке, пью кисель из порошка. Может, не кисель. Может, она расщедрится, даст мне наперсток спирту.

— Варя, а сколько ему все-таки лет?

Не отвечает. Я встаю со своего холодного табурета, подхожу к ней. Она как бы отъехала от стены, шея и плечи утыкаются в стену, а тело неудобно, нескладно свисая, лежит поперек кровати. Она спит. Неудобно так спит. Руки лежат на коленях... Мне хочется чуть повернуть ее: ей ведь неудобно, очень неудобно так спать... И вот я неожиданно решаюсь, одну руку просовываю между стеной и ее плечами, другой беру ее за щиколотки и довольно легко приподнимаю ее. Она бормочет приглушенно, неясно: «Ты чего, ты чего?» — но тело ее не

сопротивляется, и какое-то мгновение я чувствую его нетяжелую, теплую тяжесть. Я быстро кладу ее вдоль кровати. И отхожу. Платье у нее заголилось на коленях. Я подхожу и закрываю ее колени. Все это будто не я делаю, а кто-то другой, а я им только мысленно управляю.

Она постанывает чуть-чуть, я наклоняюсь над ней и подкладываю под ее голову подушку. Она дышит на меня каким-то детским, теплым, молочным запахом. Мне ее вдруг ужасно жалко. Спящих всегда жалко. А ее особенно. Но на черта я ей нужен. Теперь я ее положил, подушку под голову подсунул, и можно мне идти домой... Небось она думает: малолетка, ребенок... А я вот старше ее на тысячу лет, на целую огромную жизнь, вот сейчас она малолетка передо мной. Жалкая, спящая малолетка. И дышит, как малолетка. Молоком. Молоко на губах не обсохло... Рука свесилась вниз. И рука тоже как у малолетки — легкая, беспомощная. Ее руке, наверное, неудобно так висеть; надо взять ее руку и положить вдоль тела. Только положу руку и уйду...

Беру ее руку, очень так осторожно, как стеклышко. И вдруг чувствую: какая-то дрожь проходит по всему ее телу, она сонно, слепо тянется ко мне. Я сажусь у изголовья кровати, задеваю торчащую из-под ее головы подушку, и подушка легко шлепается на пол. Что-то меня сдавливает, я снова вижу эту светлую комнату в неровном колебании десятка коптилок и этого жениха, который целует ее в мокрое лицо, и я беру ее голову, кладу на свои колени. Секунду я сижу неподвижно, мне неудобно, странно и тяжело. Она поворачивается: ей, видно, тоже неудобно; она ложится на мои колени не затылком, а щекой. Я опускаю голову и утыкаюсь в ее теплую, с нежными вмятинками от упавшей подушки щеку и замираю так, и какие-то мысли быстро, ненужно, как пустая мельница, крутятся в моей голове. Они мешают мне. Если б не они, я бы замер навсегда у этой теплой, чуть пушистой щеки. Я приподнимаю ее голову на уровне своей груди и вижу губы, крупный, четкий, красивый рот. Что-то меняется, я забываю нежность и слабость ее щеки, я вижу только этот неподвижный, темный рот, и я целую его долго, жестко, неумело, потому что не чувствую ничего... Только легкий привкус крови. И вдруг она обвивает

руками мои плечи, быстро и сильно притягивает меня к себе, к своему лицу, к своим засверкавшим маленьким глазам.

— Ну что ты, что ты... — шепчет она.

— Н-не знаю... — Рот у меня сомкнут, и мне кажется она меня не слышит.

Тогда она целует меня, не так, как я ее, а влажно, мягко, так, что все крутящиеся, летящие мысли мгновенно выходят из меня, и я чувствую только легкий, нервный холодный озноб. Она отпускает меня, моя рука тянется к ней, упирается в ее маленькую твердую грудь, теперь я целую ее уже не так, как раньше... Я целую ее нежно, долго, даже, кажется, слишком долго — так невыносимо, до звона тихо. Так громко и ровно, как паровоз, дышит на полу ее сестра.

Потом Варя несильно отталкивает меня, а у меня кружится голова, и я хочу лечь, уткнувшись в ее шею. Я снимаю пиджак, негнуцимися пальцами расшнуровываю ботинки. Вот оно, думаю я о себе, как о постороннем. Вот оно. Это о нем ребята трепались на переменах в уборных, это о нем я думал, читал в книгах. Вот оно теперь и у меня. Так вот как оно бывает...

Как камень, громко и одиноко падает ботинок. Сестра снова переворачивается, на секунду открывает глаза, быстро, тревожно спрашивает: «Чего?» — и снова засыпает. Видно, жестко ей на полу.

Вместо ответа падает второй ботинок. Я медленно подхожу к кровати. Сейчас я вижу и чувствую каждый свой шаг. И поэтому я не чувствую ничего. Только неприятное странное волнение.

Я вновь обнимаю ее за плечи, руки у меня холодные, бесчувственные. Она неподвижна, будто притаилась и ждет чего-то. Я снова целую ее, она не отвечает, губы ее не такие, как три минуты назад, неподатливые, холодные. Я зачем-то сильно, до боли сжимаю ее, как будто я борец и собираюсь бросить ее на лопатки. Я чувствую, что ей больно, неприятно, да и мне неловко... Все как-то нелепо, по-дурачки, я остро ощущаю свою трезвость и притворство. Она высвобождается. Я не пускаю ее. Тогда она резко, как хлыстом, бьет меня по щеке.

— Ишь ты, и ботинки уже разул, — зло и глухо шепчет она. — Приготовился.

Я молча сажусь на край кровати. Она встает и под-
ходит к окну.

— Ты думаешь, я что... Дурак ты, и все. А еще
москвич. Главное, ботинки разул.

Шепот ее теряет ярость, тускнеет, она замолкает и
стоит, прижавшись лбом к стеклу. Плачет она, что ли?..
Не поймешь.

— Да что ты. Это я просто так... я ботинки снял,
потому что жмут, хотел, чтобы ноги отдохнули.

Она не отвечает. Она все так же молча стоит у стек-
ла и смотрит на улицу, будто ждет кого-то.

И снова я вижу светлую комнату, и то, как он уходит,
и как она хочет выйти за ним на крыльцо, но не может,
останавливается у стекла, словно бы прилипает к стеклу,
смотрит, как он идет, и непонятно, плачет она или нет...
А что делаю я? Я зашнуровываю ботинок.

— Варя, ты не сердись. Я ничего такого и не думал,
просто они жали... Варь, честное слово.

Мне становится вдруг горько и больно; я хочу, чтобы
все было как раньше, чтобы я просто приподнял и по-
ложил ее поудобнее и поцеловал в теплую, мягкую щеку,
и все. Так и должно быть, а вышло вот как. Нет, это,
наверно, не так получается. Когда тебе и ей хорошо —
это случается. Когда ни о чем не думаешь, а когда
каждый думает о своем и обоим плохо, тогда это, навер-
ное, не случается. И не надо мне этого.

Она отходит от окна с таким лицом, будто я и не
существую, деловито поправляет постель, поднимает по-
душку и старательно взбивает ее. Я быстро встаю, не
дошнуровав свои злополучные ботинки, и открываю дверь.
Я иду по узкому, как тамбур, коридору, ударяюсь о
чью-то дверь и опять слышу высокий растревоженный
голос:

— Степушка, это ты?

— Нет! — громко и зло отвечаю я.

Я долго вожусь у дверей, никак не могу их открыть.
Какой-то проклятый, сложный засов. И возвращаться
тоже не хочу. Ни за что. Я дергаю дверь, чувствую, что
сейчас всех перебуду. Вот уже одна дверь звякнула,
открылась. Кто-то быстро идет в темноте. Запахло
скандалом.

— Ты чего же, сам и открыть не можешь? — говорит она то ли с презрением, то ли с сожалением.

Она открывает мне, я выхожу. На улице уже светает. Она зачем-то выходит вслед за мной на крыльцо.

— Ты можешь остаться. Никто тебя не гонит.

Я открываю калитку низкого заборчика, окружившего их дом. Потом я поворачиваюсь к ней.

— Слушай, сколько же ему все-таки лет?

— Кому? — говорит она, невесело усмехнувшись.

— Знаешь кому!

— Ему двадцать. А тебе-то что?

Я не ответил, быстро захлопнул калитку и пошел по улице. Я слышал, как она сказала негромко:

— Дурачок. Вот дурачок...

У нее опять сделался тон пионервожатой.

«Не сердись, Варя, — мысленно сказал я ей. — «Тучи над городом встали, ветер нам дует в лицо...» Я хотел, чтобы все было иначе, а получилось так. Теперь я ухожу, а ты не сердись и забудь меня».

Хотел я ей это сказать, но не смог. Я повернулся и махнул ей рукой. Хотел легко так, небрежно, а вышло тяжело, будто в руке была кувалда.

Она стояла, не двигаясь, задумавшись, и, когда я махнул ей рукой, она чуть покачала головой, то ли укоризненно, то ли насмешливо. Кажется, она не сердилась.

ГЛАВА 16

Я вышел к центру города. Свернул на маленький, заброшенный скверик. Зимой я его даже не замечал, он был весь засыпан снегом, неподвижен, будто низкий, продолговатый сугроб. А сейчас деревья словно бы вновь выросли, и от них тянуло сырым, острым запахом молодых листьев. И весь воздух в городе был необычайный, кружащий голову, как бы чуть приправленный эфиром. И, как эфир в отцовском кабинете в Москве, воздух ударял в голову и в грудь, и вдруг что-то обрывалось внутри — будто я взлетал вверх на огромных качелях, вверх, в ветер, в странное, пахнущее эфиром, почками, молодыми листьями и еще чем-то необъяснимым пространство. Это обязательно бывало со мной раз в году,

весной, в самом ее начале. Я выбежал в Москве на улицу и замирал, и струя весеннего, еще сырого, терпкого воздуха обдувала мое лицо и руки с такой силой, словно ее выпустили из шланга. И уже не хотелось ничего делать, во всяком случае, ничего определенного, а только идти куда-то дальше, по полупустым бульварам, по переулкам с внезапно ожившими дворами. Идти в ожидании того, что должно произойти. Но ничего не происходит. Происходит только этот внезапный толчок внутри тебя. Этот удар воздухом из шланга. И все.

А потом ты успокаиваешься, и все проходит, проходит, но не забывается. Так и сейчас было со мной. Я вошел в сквер; на единственной скамейке сидела какая-то женщина и курила. Я сел на край скамейки. Головокружение проходило быстро, и мне было жаль, что оно проходит. Женщина курила не махру, а папиросы, и хорошие, у них был очень знакомый запах. У них был запах тех папирос, что курила обычно моя мать,— «Дели». Дома вечно валялись окурки с лиловой печатью губ. И курила эта женщина так же, как мать, вдыхая дым понемногу и часто.

«Это мать приехала»,— сказал я себе, осознавая всю бредовость, несбыточность этого. Приехала мать из Ташкента. Вернулась к нам. И теперь будет все, как раньше. Женщина посмотрела на меня с удивлением. Может, я что-то сказал вслух.

— Вы не дадите мне закурить? Если у вас есть, конечно...

— У меня есть, но не рано тебе курить?

— Может, и рано, но я все равно ведь курю.

Она протянула руку с коробкой, щелкнула по донцу коробки, и тоненькая папироска выскочила прямо в мои пальцы. Я уже забыл, как выглядят такие папироски. Я даже зажмурился от предвкушения удовольствия. Женщина зажгла мне спичку, и я стал неторопливо, бережно курить. Папироска была легкая и тающая, как пастила.

— Ты приезжий? — сказала женщина.

— Да... из Москвы. А вы?

— Ленинград. А тебе не пора ли домой, мать-то небось ждет, волнуется?

— А ее нет.

— А где же она? На работе?

— Да. Она сегодня в ночную смену. Вот я и гуляю.

Она глубоко затянулась, бросила окурочок, носком узкой туфли погасила его, раздавила отличный недокуренный бычок и встала. Она была полнее и ниже матери. И старше. И некрасивей. И у нее были черные волосы, а у матери каштановые, почти рыжие. Она кивнула мне и ушла.

Я медленно докуривал папироску, уже началась горечь, никотин, уже тлела бумага, но я курил с наслаждением и продолжал то, что эта женщина оборвала своим удивленным взглядом. И так, мать вернулась, все, как раньше... А может ли быть все, как раньше? Да и что было раньше? Мне было хорошо с ними, но им-то как друг с другом? Я не любил об этом думать. Если об этом думать, то можно додуматься бог знает до чего. Я только знал: остаюсь с отцом. Когда мать плакала, умоляла меня: едем со мной в Ташкент, я знал — не поеду. Почему? Я любил их одинаково. Но что-то здесь было... Может, потому, что отцу я верил, ей — нет. Отца я уважал, а ее просто любил. Сам не знаю. Все это произошло почти незаметно для меня... Я и не подозревал, что так все выйдет. Что-то изменилось сразу же после того, как отец уехал. Мать говорила, что он уехал на какую-то особую работу. Он как-то странно, плохо уехал. Не предупреждал ни о чем, и я не знал, что должен с ним расстаться. Я жил тогда в пионерлагере в Малаховке. И он иногда приезжал ко мне. Он плохо выглядел, когда я с ним говорил, он не слушал. Делал вид, что слушает, а не слушал. И природа его не радовала, даже купался он как-то вяло, безрадостно. Я чувствовал: ему плохо, а отчего, я не знал — он о своих делах никогда не рассказывает. Потом он долго не приезжал, и мать не приезжала. И я стал волноваться, хотел сбежать из лагеря, но куда там! Такие вожакие — за пятку хватают на ходу. Потом мать приехала. Худая, страшная, под глазами круги. Я даже испугался.

— Что с тобой? — говорю. — Ты больная?

— Да, — говорит, — я что-то заболела.

— А отец где?

— Он в командировке.

— Надолго?

— Да.

Весь день она ходила как пьяная, только к вечеру

немного пришла в себя. Я ее все уговаривал: ты не приезжай, ты лучше полечись...

Продержала она меня две смены в лагере вместо одной, а приехал — в доме пусто, странно, отца нет. Какие-то редкие письма от него приходили; она мне их не показывала, только отрывки читала. Иногда какие-то люди захаживали ненадолго; они тоже передавали ей письма от отца, будто нельзя было их посылать по почте, и она опять читала тайком и бледнела и была истеричная, взвинченная. И все ходила неприбранная, ненамазанная, мой дневник не проверяла, даже родительские собрания не посещала.

— Что с тобой? — спрашиваю.

— Болею, — отвечает. — Сердце.

Потом она резко изменилась, стала краситься, мазаться, улыбаться, опять красивая стала. Долго в коридоре по телефону разговаривала вполголоса. Вполголоса — и не поймешь, о ком и с кем. Я не люблю, когда так разговаривают. Когда нормально говорят, и слушать не станешь, а так невольно прислушиваешься... Раньше она все дома сидела опустив руки, и не подходила к телефону, и иногда даже вздрагивала от звонков и говорила испуганно: «Спроси кто». А сейчас первая бежала к телефону, ждала каких-то звонков. Может, ей что-то об отце говорили по телефону. Иногда уходила надолго, целые вечера ее не было. Когда уходила, нервничала, вечно опаздывала, меня не слышала и не видела, а приходила усталая и все приставала ко мне, зачем-то все выспрашивала о школе, об отметках. Иногда она целые дни только об отце и говорила, а иногда у нее такой вид был, точно его и не существует на свете. Ничего я понять не мог. Я его ждал. Письма теперь он стал чаще писать, она отвечала сразу, быстро, а раньше — она целый день ходила как помешанная и все бормотала какие-то строки, должно быть, письмо обдумывала.

Наконец он вернулся. Он тоже какой-то другой стал: все глядел, будто со стороны, будто к нам присматривался. Тихий он стал какой-то. Даже смеялся тихо, а раньше громогласно. Люди к нам теперь редко ходили, мало кто звонил. И они с матерью все больше дома сидели: ни в кино не пойдут, ни в театр. И все закрывали двери, будто у нас соседи живут, которые подслушивают

и подглядывают. Шепотом ссорились, шепотом мирились. Вообще в квартире стало тихо. И мне часто хотелось орать, греметь стульями, двигать мебель. Не любил я эту тишину. Мне казалось: в доме поселилось какое-то шуршащее, невидимое, как мышь, существо. Я не знал, как его зовут, но чувствовал его присутствие. От него и тишина эта была — шуршащая, нарочитая. Может, мне сейчас все так кажется. Когда старше становишься, думаешь, что и тогда ты все чувствовал, как сейчас...

Если б война не началась, наверное, так бы все и продолжалось. Но война началась, и тут, когда решался вопрос об эвакуации — куда ехать, мать заявила, что едет в Ташкент со мной и еще с кем-то.

Я отказался. Даже если бы она меня взяла силой, я бы выскочил из вагона. Она плакала, причитала. Она умоляла меня. А я не представлял, как я буду жить без нее... Но еще больше я не представлял, как я буду жить без отца с ней и с тем, третьим. Я только знал, что буду ненавидеть этого третьего каждый день, каждую минуту... Насмерть.

Женщина ушла, а курево кончилось... Мне уже не хотелось думать о том, о чем я начал думать, но остановиться я не мог. Я знал, что сегодня ночью мне будет сниться мать; она мне снилась часто, иногда несколько раз в месяц. Мы с ней никогда не разговаривали. Она ничего не делала, не ходила, не улыбалась. Просто я видел ее лицо. Неподвижное лицо. Глаза, лоб, волосы.

Я хотел ее поцеловать, я тянулся к ней, хотел что-то сказать, а голоса у меня не было. И лицо исчезало... Мне никогда не снились долгие сны. Просто лицо немного побудет около меня, я вижу его, и все. А поговорить не удастся. И поцеловать нельзя. Только в письмах. Но в письмах какие разговоры и какие поцелуи!.. Бумажные. И потом, она не умеет писать письма, сплошные вопросы. Как ты учишься? Как твои гланды? Кто тебе стирает?

«Хорошо учусь,— отвечаю я.— Гланды в порядке, большие, розовые гланды. А стирает мне тетя Маша. Или тетя Нюра. А носки я стираю себе сам».

В нашем дворе на кривой, колченогой лавке сидел отец.

Я его еще издали увидел. Он сидел опустив голову, чуть раскачивался и что-то наборматывал. Была у него такая привычка, когда он оставался один: он иногда тихо и неразборчиво что-то наборматывал. В Москве иногда в ванную зайдешь — он стоит, бреется, лицо в мыле, одна рука с бритвой откинута, и он что-то наборматывает... Будто стихи какие-то. А как только я вхожу, прекращает, и лицо у него делается озабоченное, официальное, будто он не дома, а на работе. Вообще интересно на человека смотреть, когда он один и думает, что его никто не видит.

Да, так вот он сидит на лавке в нашем дворе, покуривает, чего-то бормочет, иногда тревожно поглядывает по сторонам... Меня ждет. Взгляд диковатый, будто спросонья или спьяну.

Вдруг мне его стало жалко, будто он был маленький. Или, наоборот, глубокий старичок. Я хотел к нему подбежать, но удержался и зачем-то прошел мимо него павлиньим шагом с таким видом, будто возвращался с ночного боевого задания. Он увидел меня, улыбнулся радостно и вместе с тем жалко и прошептал что-то, кажется: жив, слава богу. И прошептал он как-то испуганно, по-стариковски. Потом он сказал резким, чужим голосом:

— Какого черта ты такие номера откальываешь?

— А чего?

— «Чего, чего»... Дурачок, что ли?

— Хоть бы и дурачок.

— Если уж собрался шляться всю ночь, так предупредил бы. Так порядочные люди поступают.

— Да ладно...

— Нет, не ладно. Нашел время по ночам шляться! Тебя тут, как щенка, прирезать могут.

— Не прирежут.

— Где же ты валандался? У Хайдера, что ли, был?

— Нет, зачем я к нему пойду. Ему утешители не нужны, он этого терпеть не может.

— Ну и где ж ты шатался? С девицей, что ли?

— Не с девицей, а с женщиной.
— С женщиной?! Со старухой, что ли?
— Почему со старухой? Обыкновенная женщина, ей лет девятнадцать.

— Ишь куда хватил! Тебе с пионерками надо гулять, а не с девятнадцатилетними женщинами. С девчонками младшего школьного возраста.

— Плевать я хотел на то, что надо.

— «Плевать, плевать»... Экий шикарный джентльмен. Стоит и поплеывает на всех и вся. Мужчина!

— Да ладно... Чего ты, ей-богу!

— Ладно так ладно. Пойдем домой, мне надо с тобой поговорить.

— Да какие сейчас разговоры...

Сейчас он был чужой мне. Сейчас я был во власти матери, я был ее сыном, а не его... Так бывало со мной редко, но бывало. Мне не хотелось сейчас, чтобы он заслонил ее, чтобы она ушла. Пусть она еще побудет со мной, а с ним я успею наговориться: он-то никуда не уйдет от меня...

Он медленно шел по узкой, ржаво скрипящей перилами лестнице, и я видел его белеющую во тьме спину: он был в белой рубашке, будто сейчас лето. Я шел за ним и смотрел на эту широкую, медленнодвигающуюся вверх спину и куда-то мимо, дальше, в темноту, разбавленную жидким полусумраком маленьких лестничных окошек. Ах, как хотелось света и каких-нибудь голосов и, если можно, музыки... Пусть даже это в соседней квартире гуляют, пьют, музыка, а ты возвращаешься домой и на мгновение застываешь у чужих дверей. Как уже давно это все было! Как уже давно я здесь, в этом доме, всю жизнь!

Отец долго открывал дверь впотьмах, ключ сухо щелкал, будто отец не дверь открывал, а разбивал грецкие орехи. Наконец открыл; мы вошли и стали раздеваться. Отец долго сидел на кровати, курил, потом сказал мне:

— Я достал немного пшенки. Завтра сделаешь себе кашу.

— Хорошо.

Потом он лег, тихо, не устраиваясь поудобнее, не ворочаясь, как обычно. Докурил сигарку до конца, до самой бумаги, так что искра пошла. Затем погасил го-

рящий, как светляк, клочок бумаги и, перевернувшись на правый бок, сказал тихо и как будто сонно:

— Сережа, я улетаю завтра ночью.

Что-то быстро и сильно бахнуло меня по голове, и я спросил автоматически, не думая, не осознавая, только предчувствуя, спросил одними губами:

— Куда?

Он помялся, потом что-то пробормотал, вроде в командировку или что-то еще, — я не понял, не расслышал.

— Куда?!

Он сел на кровать, зажег спичку, и я увидел его надбровье и глаза: чуть красноватые от усталости и от огня.

— «Куда! Куда»!.. На фронт.

— Когда? — спросил я.

— Завтра... ночью. Я ж тебе уже сказал... Улетаю.

Он встал, подошел ко мне, тяжело сел на мою раскладушку.

— Ну, что долго говорить, пацан. Я с первого дня просился, десяток заявлений написал. Не пускали: ты здесь нужнее. И действительно, дел здесь хватало. Надо было подготовить выпуск студентов-врачей на фронт. Да и в госпитале хватало работы. А теперь я своих студентиков отправил, экспериментальную работу в клинике кончил... А оперировать и там можно. Понял?

— Да.

— Помнишь, после демонстрации, когда с отцом Хайдера случилось, я веселый был. Тогда уже решение было принято об отправке, только я говорить тебе не хотел: вдруг опять передумают. И тебя волновать не хотелось. Все-таки Первомай, праздник...

— Да.

— Устал я, понимаешь! Устал перед собой оправдываться, себе объяснять, почему мне здесь быть положено, а не там. Ну, да все теперь. Я свое здесь сделал, а теперь там буду делать. Понял?

— Да.

— Одно только меня мучает, как ты тут будешь. Все время об этом думаю... Может, к матери тебя отправить?

— Нет.

— Понимаешь, я там буду торчать, а голова будет все

время сюда повернута. Ты знаешь, как меня сослуживцы называют?

— Нет.

— «Мама Мечников». Мечников насчет своего ребенка тоже был псих, вроде меня. Мы с Мечниковым в этом смысле одинаковы, только он плюс к этому еще был гениальный ученый.

— Какой?..

— Гениальный. Да ты чего, пацан?

— Ничего.

— Ты что это? Я это не люблю. Это на тебя не похоже, не надо.

— Оставь меня.

— Ну ладно, пацан, не надо... Ну, не надо, милый мой, родной мой, ну что ты, ну, пожалуйста, не надо...

— Уйди.

— Ну, не надо, прошу тебя, не надо, ну давай пойдем погуляем, покурим. Хочешь? Покурить хочешь? Я тебе разрешаю. Ты у меня теперь большой. Знаешь, кто ты теперь?

— Кто?

— Ты мой первый заместитель... по административной части.

— Не надо. Не шути.

— Не буду. Шутки в сторону! Давай поплачем вместе.

— Дай покурить.

— На, только не вдыхай глубоко.

Он оторвал клочок газеты, скрутил мне толстую, хорошую сигарку и поднес к лицу; я взял ее из его рук губами, а он зажег спичку. Я закурил, но сигарка расклеилась, выпала изо рта, и я не стал ее поднимать. Мне хотелось быть одному. Он мешал мне плакать.

ГЛАВА 18

Он улетал в пять часов утра.

В три ночи мы с ним уже были внизу — ждали машину. Было зябко, ветрено; мы сидели с ним на нашей лавке, и он то открывал, то закрывал со шелканьем ободранный старый прямоугольный чемоданчик. Ему казалось, он забыл что-то важное.

Мы ни о чем не разговаривали, а только ждали машину.

Меня тошнило, хотя я ничего не ел. Так иногда со мной случалось перед экзаменами, перед чем-то очень важным. Только не так, как сейчас, а чуть-чуть. Отец говорил, что это вегетативный невроз.

Черт его знает, что за невроз, а только все время что-то сдавливало кишки и все внутри выворачивало — ничем, пустотой.

Наконец подошла машина. Там сидел какой-то человек с нашивками подполковника. Он, видно, тоже улетал с отцом.

Мы ехали по городу долго. Даже странно, что так долго мы не могли проехать этот маленький город. Улицы предрассветные, серые, ветреные и влажные, не утренние и не ночные...

Мы проехали мимо школы и мимо большой недостроенной улицы, где я впервые увидел Шелю, и мимо пустыря, около которого жила Варя, а город все не кончался, и я почему-то прощался с ним, будто это я улетал отсюда. И все время у меня было такое чувство, что я лечу вместе с ним, и я не мог до конца понять, что он летит, а я остаюсь. Я всегда уезжал вместе с ним: на дачу, на рыбалку, на юг, и сюда, в Сибирь, в эвакуацию, — всегда вместе с ним, вот так же, с чемоданами, по ночным или вечерним улицам, и так же он открывал крышку: не забыл ли что, самое главное... Только один раз он уехал куда-то без меня, и два года я не видел его.

И сейчас я улетал вместе с ним и прощался с нашим городом, не утренним и не ночным. И когда мы подъехали к аэродрому, то у отца проверяли документы и смотрели на меня и спрашивали: «С вами?» И он говорил: «Да, со мной».

Самолет стоял на площадке, около него все время сновали люди, таскали по трапу какие-то тюки, а командир самолета волновался, что тюков слишком много, и в конце концов приказал прекратить погрузку. Тогда с ним начал ругаться подполковник; они долго спорили, стоя у трапа, а люди, не обращая внимания на их перебранку, все таскали тюки. Потом к нам подошел еще кто-то в штатском и в сапогах, в потертом летном шлеме и сказал, опять обращаясь к нам обоим:

— А знаете, вы можете и не улететь. Козлов и Демин летят обязательно, а вас мы не планировали. К тому же загрузка у нас на девяносто килограммов больше, чем ждали.

Отец побледнел и быстро пошел, почти побежал к большому сараю, обмазанному в зеленую защитную краску. Он вошел в сарай, и я услышал его голос, необычайно высокий, почти ломающийся. Он все время повторял: «Мы должны улететь сегодня, обязательно сегодня».

Кто-то ему отвечал неясно, размазанно, будто рот у того был залеплен глиной, а отец все повышал и как бы закручивал голос: казалось, голос ввинчивается в того, второго.

— Вы отправите меня этим самолетом, немедленно. У меня на руках приказ. Я и слушать ничего не желаю!

Я стоял и все отмечал с необычайной четкостью, а сам был как бы во сне, и все во мне дремало, и мозг, и сердце, и голос, и только что-то глубокое, спрятанное, тихое и неясное забито, размазанно, как тот второй, невидимый мне человек, бормотало: «Мы летим, мы оба летим, мы с ним летим...»

Потом отец стремительно вышел, пробежал мимо меня и буквально кинулся, прыгнул к подполковнику, стоявшему у трапа. Отец потащил его за собой к сараю, где помещался тот, который мешал нам лететь. Подполковник послушно, рысцой бежал за отцом, а у отца было пугающе воспаленное, яростное и необычайно сосредоточенное лицо. И я знал, что он своего добьется. Когда у него становилось такое лицо, он мог сделать все... Он мог сделать так, что все тюки выкинут из самолета, да и не только тюки, а подполковника и Козлова с Деминим — всех, а он полетит. Я-то уж знал это его лицо.

Они исчезли в сарае, выкрашенном в цвет травы, а я пошел в поле за самолет, туда, где лежал нестаявший снег, а травы еще не было...

А может, и была, но мне не хотелось глядеть вниз, в землю, и я смотрел в небо, все еще не светящее, неровное, кочковатое, как земля. Я шел все дальше от тупорылого и короткого самолета, от людей, спящих вокруг него, от подполковника, от человека, которого

я не видел, того, кто мешал отцу улететь, того, кто оставлял его со мной.

— Сережа! Сережа! Иди сюда, отправление!

Я слабо слышал голос отца, и опять все шло так же, как и раньше: он звал меня, потому что отправка, потому что мы можем опоздать.

Но я не повернулся сразу, а еще шел вперед, потому что вдруг понял со всей отчетливостью, что это игра или сон, который я сам придумал себе, нету этого «мы», есть я и он, он улетаёт, я остаюсь; и это произойдет не через год и не завтра, а вот сейчас, через пять или семь минут. Мне хотелось кричать и уйти навсегда от этого: от низкого, землистого неба, от снующих людей, от самолета, от грохота падающих на дно самолета ящиков, тюков, от того, что произойдет сейчас и мгновенно перевернет и изменит всю мою жизнь. И я бежал по пустому полю прочь от самолета, от слабого, почти неслышного голоса отца и от разлуки.

Я словно рехнулся. Бежал, задыхаясь, потом сел на сырую, веющую глубоким, тягучим холодом землю. Уже светлело, небо ползло вверх, раздвигалось, но не теплело, а становилось еще яснее, беспощаднее, больше. Неопределенность уходила, приближалась ясность.

Кто-то сильно взял меня за руку, приподнял, что-то сказал. Я отстранился от него, услышал тихий, теплый, прямо в мой лоб и глаза шепот:

— Мы улетаем... Пойдем.

— Ты улетаешь, так и говори! — крикнул я. — Ты улетаешь, а я остаюсь. Я знаю: я не увижу тебя больше!

Он сжал мои плечи и жестко, грубо тряхнул меня и сказал резко, очень громко, точно не для одного только меня, а для себя и еще для кого-то:

— Не пори чушь. Мы увидимся с тобой, и скоро. Я вернусь. Не смей болтать чепуху! Пойдем!

Я встал, приказал себе успокоиться и молча, твердо, шаг в шаг пошел рядом с ним.

— Будешь писать мне каждый день, — все так же жестко говорил он. — Каждый день перед школой ты пишешь мне по письму. Понял? Карточки, деньги, все тебе оставлено, и ты знаешь где. Завтра ты пойдешь в институт и в госпиталь насчет угля. Ясно?

— Да.

Мы подошли к самолету. Откуда-то неожиданно появилась толстая женщина; она стояла, прижавшись лицом к подполковнику, и я видел ее белую шею и встрепанные, торчащие, как пакли, пшеничные волосы. Шея напрягалась, краснела; женщина плакала очень громко, но звук утыкался в грудь, в мягкость шинели и доносился прерывисто и глухо, как кашель за стеною. Отец не хотел, чтобы я смотрел на эту женщину, и все отводил меня в сторону, а я и не смотрел, теперь я смотрел только на него...

Он беспокоился, и все боялся, и говорил со мной нарочито буднично, почти зло, наверное, думал, что со мной опять что-нибудь начнется. Но я знал: не начнется. Это я мог один или с ним, но когда вокруг люди, и когда уже все ясно и решено, и ничего не изменишь, и сейчас отлет,— этого со мной уже случиться не могло.

— Не беспокойся, папа,— сказал я ему.

Слово «папа» было странным, детски коротким, как распашонка, допотопным, полузабытым. Я никогда не называл его «папа», а всегда «отец».

— Ты не беспокойся ни о чем. Я возьму карточки, деньги, достану уголь, может быть, дрова. Завтра пойду в институт и в госпиталь...

— А писать?

— А писать буду. Ты насчет этого не беспокойся. Только не каждый день и не перед школой.

— Нет, каждый день! — сказал он.

— Ну хорошо, каждый... Ты же понимаешь, что каждый невозможно.

— Все равно!

— Хорошо. Каждый.

— Ну, все... Да,— сказал он и легко обнял меня. Он обнял так, будто он уезжал на два дня, с субботы до понедельника.

— Все, кажется,— сказал я.— А Шелю ты увидишь?

— Да. Мы будем служить в одной части, очевидно.

— Ты передашь ей...

— Что?

— Привет и все такое... Скажи, что я ее тоже жду.

Он улыбнулся и вдруг присел на корточки подле меня. Это он раньше любил, несколько лет назад, когда я был

ниже ростом, меньше. Он садился на корточки и прижимался головой к моей груди, и я гладил его по волосам. Он и сейчас так присел, но его голова была мне по пояс. Я чуть нагнулся и погладил его густые, посеревшие волосы, и он тут же встал.

— Пошли,— сказал подполковник, отрывая от себя толстую женщину.— Посадка.

Женщина крикнула, но я не расслышал, потому что слушал только отца.

А отец молчал. Стоял около меня и молчал. И я молчал. Он обнял меня, неловко поцеловал куда-то в ухо, хотел что-то сказать, но не смог и только отошел от меня на шаг и снова на мгновение остановился.

— Ладно,— хрипло сказал он.— Все будет нормально... И ты не волнуйся, понял?

Я мотнул головой. Да, понял. Конечно, понял. Мол, все ясно, и волноваться не буду. Он улыбнулся своей очень знакомой мне улыбкой, московской улыбкой, которую он здесь словно бы позабыл. Я не могу передать ее смысл, но она была чуть небрежная, и чуть ироничная, и такая: мол, ничего, прорвемся!

— Да! Да! — закричал я ему.— Все будет нормально. До свидания. Пиши!

Он повернулся и пошел. Подполковник шел за ним, женщина исчезла, наверно, ее увели. Осталось только чистое поле, и самолет, и люди, поднимающиеся по короткому трапу, и двое идущих по земле прямо к самолету: подполковник и отец.

Они поднялись по трапу, оба повернулись сюда, к нам — ко мне, и я поймал взгляд отца, собрал силы и улыбнулся ему.

Он неловко нагнулся у люка и исчез, а за ним подполковник, и дверь со страшным скрежетанием и грохотом захлопнулась.

Пропеллеры начали бешено крутиться, ветер тут же рванулся из-под них и сильно оттолкнул меня назад. Самолет еще стоял, растопырив крылья, вертя пропеллерами, человек с флажком бегал перед самолетом и энергично махал рукой. Наконец самолет сдвинулся с места, начал разворачиваться, и на повороте в круглом окошечке мелькнуло лицо отца. А может, это был и не отец, а подполковник или один из тех, кого я не знал. Но мне

показалось, что это отец... Этим зачем выглядывать: их же не провожают, а женщину уже увели.

Теперь самолет уже мчался по аэродрому, разбрызгивая грязь, полусгнивший снег, уже мчался безудержно и страшно, затем осторожно неожиданно подпрыгнул — и полетел...

ГЛАВА 19

Та же машина отвезла меня домой. Сначала женщину, потом меня.

Женщина успокоилась, сидела тихо, прижавшись лицом к стеклу. Когда ее довели до дома, она встала, задержалась на ступеньках и спросила:

— Как тебя зовут?

— Сергей.

— Твой отец хирург?

— Да, нейрохирург.

— А мой муж — артиллерист. Он уже один раз был тяжело ранен, чуть подлечился и снова... Как ты думаешь, они вернутся?

— Да. Обязательно, — сказал я.

— Ну, до свидания, Сережа. Я тоже уверена, что они вернутся.

Глаза у нее снова набухли, покраснели, она заторопилась и вышла из машины.

Потом меня повезли домой. Когда я поднимался по лестнице, мне все казалось, что отец идет впереди, на пролет выше, и если я подниму голову, то увижу белеющую в сумраке летнюю, не по сезону, рубашку. Поэтому я шел, не поднимая головы.

Дома было так же, как всегда, почти никаких следов отъезда, почти никакого беспорядка... Он взял с собой очень мало вещей. В комнате пахло его одеколоном, бритьем, куревом, запахом ухода на работу. Только вот эта самая белая шелковая рубашка лежала на стуле, уронив на пол смятые, усталые рукава. Я постоял в комнате, докурил его бычок и ушел, заперев дверь на оба ключа, как он мне велел...

Было, наверно, около шести, уже светло, свежо, чуть накрапывал дождь. Сначала я пошел по направлению

к школе, потом свернул влево, туда, где была улица недостроенных домов.

Я не помнил точно, где тот дом, куда я шел, я только помнил, что он где-то тут, за этой оборвавшейся, недостроенной улицей. Я искал его среди таких же желтых двухэтажных домов, чем-то он отличался, что-то я в нем запомнил, а что — забыл... Они все были одинаковые, двухэтажные, с палисадничками, с оббитой штукатуркой. Я кружил среди этих одинаковых домов, ничто не беспокоило меня теперь — ни то, что холодно, ни то, что дождь, и я один посреди пустой, еще ночной улицы, и мало ли что тут бывает. Но я не мог ни простудиться, ни заболеть, я не боялся никого и ничего, мне ничего не было жалко... Я мог делать с собой, что хочу, — я стал легким и ничьим. Я стал, как футбольный мяч, которому не больно от чужих, самых сильных ударов. И, как мяч, я перекачивался с улицы на улицу, закатывался то в один палисадник, то в другой, слепо утыкался то в одну дверь, то в другую и отскакивал от них.

Но вот, кажется, та дверь, которую я искал. Она войлочная. Из распоротой кожи торчит желтая вата. Стучу. Мягкая дверь глушит звук. Я дергаю дверь за полуоторванную металлическую ручку. Наконец шум шагов в полной тишине и голос:

— Кто здесь? — Голос знакомый, резкий и гортанный.

— Это я. Открой, Хайдер.

Он открывает и смотрит на меня с удивлением. Но не спрашивает ничего. Он не любопытный, редко что-нибудь спрашивает. Он показывает мне, чтобы я снял ботинки. У них в доме такой порядок. Мы идем по коридору, входим в маленькую комнату, где кто-то лежит на полу почти поперек входа. Я переступаю через него и нечаянно задеваю его носком. Он поднимает голову и недовольно бурчит:

— Чего лезешь?.. Кто это?

Я узнаю Фролова. Он приподнимается, спрашивает:

— Ты чего в такую рань?

Я молча, долго смотрю на него, будто не знаю, что ответить, будто забыл...

— Отца провожал на фронт.

— С Северного? С вокзала?

— Нет, с аэродрома.

Слышу голос Хайдера:

— Есть хочешь?

— Нет.

— Тогда ложись. Мы тут на кошке спим с Генкой. Я спать не хочу. Но стоять холодно, а меня знобит. И я ложусь на пол, в тепло, между Фроловым и Хайдером.

ГЛАВА 20

Я получил от него три письма подряд, потом он замолчал. Кончились занятия, теперь мы всем классом работали на заводе, в механическом цехе. Я писал ему, как обещал, почти каждый день. От него не было писем. Я ходил в госпиталь, в институт, к тем людям, с которыми он работал.

Они отвечали:

— У нас нет сведений.— И добавляли: — Все будет в порядке.

Я возвращался домой и думал: наверное, сегодня придет... Заглядывал в ящик. Ящик был изнутри холодный, как погребок. Пыльный, пустой погребок. Так было каждый день.

Я не спал ночами: боялся не расслышать его шагов. Я знал, что он должен вернуться. Ненадолго. В отпуск.

Он не возвращался.

Я нашел конверт от Шелиного письма к нему и написал по ее адресу. Я спрашивал: что вы знаете об отце?

Ответа не было. Я все равно ждал его и в конце лета, и осенью, когда начались занятия, и зимой особенно. Уже мы долбали их под Сталинградом, и я думал в эти праздничные дни: может быть, он вернется или пришлет письмо? Я ждал его одного. Но пусть он вернется с Шелей... Будем жить вместе. В конце концов я на это согласен. Пусть он вернется с ней, если уж он без нее не может... Я написал ему об этом. Я писал обо всем: о занятиях, о себе, о Хайдере, о Фролове. Он не отвечал.

В феврале я заболел: у меня началось крупозное воспаление легких, и Хайдер приходил в больницу, стоял

около окна, а я смотрел на него с кровати. Теперь вся надежда была на него. Он каждый день заходил ко мне домой и смотрел в почтовый ящик.

И показывал мне руками: нет.

Его стали отгонять от окна медсестры. Тогда он ухитрялся передавать мне записки. В записках он писал: пока еще нет.

Пока еще нет.

Я болел тяжело, двусторонняя пневмония, все время высокая температура. Мне не давали ни бумаги, ни карандаша. И я мысленно писал ему письма. Я писал ему вот что:

«Ты всегда приходил ко мне, когда я болел. Помнишь, я заболел дифтерией, и ты пришел в больницу на Соколиной горе в белом халате, тебя нельзя было тогда отличить от других врачей.

А сейчас я болен, но ты не приходишь. Почему ты не пишешь мне? Что с тобой? Ты что же, хочешь, чтобы я умер в этой больнице? Куда ты пропал? Где ты? Где Шеля? Может быть, я пишу тебе это письмо, а тебя нет? Тебя уже нет. Нет. Нигде... Никогда».

Я мысленно зачеркивал это письмо, комкал его, бросал в окно. Я начинал новое.

«Отец, я болен воспалением легких, но, кажется, я начинаю поправляться. Ко мне часто приходит Хайдер, помнишь его?»

Тот, у которого отца (этого, пожалуй, не надо, и я мысленно зачеркивал фразу)... Врачи здесь хорошие. Как ты там? Где ты? Почему ты не пишешь? Я думаю только о тебе. А я ведь о тебе ничего не знаю. Иногда мне начинает казаться, что тебя нет. А я не могу без тебя...»

Концовка снова получалась, как в первом письме. Какая-то истерика. А отец этого терпеть не может. Неужели я не сумею написать обыкновенное, спокойное письмо из больницы?

И я рвал это второе, недописанное письмо и начинал третье.

«Отец, я немножко болею, но это ерунда. Что-то с легкими. Ничего особенного. Врачи хорошие, Хайдер приносит передачи. С продуктами все более-менее... Правда, два твоих костюма (синий и серый) я обменял на тол-

кучке на продукты (помнишь, ты мне так и велел?). Ну, что еще?.. Работали все лето на заводе, в основном по очистке территории и по сбору лома. Некоторые в цехах работали. Я жду тебя. Когда ты приедешь? Дела наши на фронте улучшаются, а от тебя ничего нет. Что с тобой? Когда я узнаю что-нибудь о тебе? Я так больше не могу».

Нет, опять пошло не то, опять не выходит тихое, спокойное письмо. И я рву третье и приподнимаюсь на кровати. В палате темно, здесь еще человек восемь. За стеной уже не детское отделение, а госпиталь. Палата для выздоравливающих. Я иногда слышу их голоса, как они ругаются, как иногда поют, потом приходит сестра, и они замолкают. Часто слышу их смех, резкий, мужской смех, от которого я уж отвык, и я всегда прислушиваюсь: кто-то из них смеется очень похоже на отца.

Когда я его слышу, я поворачиваюсь к стенке и выбиваю морзянкой: «Товарищ Островский, отзовитесь!»

Но никто мою морзянку не слышит, просто им и в голову не приходит прислушиваться к отделению малолеток. А я стучу, стучу, пока сестра не появляется и не кричит на меня:

— Островский, перестань баловаться! Вот ты хулиганишь, а у тебя температура тридцать девять и четыре.

Я перестаю елозить по кровати, ложусь на спину и смотрю в потолок. Белый высокий потолок, как маленькое беззвездное и очень низкое небо. Совсем низкое, побеленное заново и слегка потрескавшееся небо. А в середине — звезда, матовый больничный плафон.

ГЛАВА 21

В марте меня выписали. Пришли Хайдер, Фролов. Они провожали меня до дому, дурачились, кидались снежками. Вроде бы они радовались тому, что я не сдох от этой проклятой пневмонии. Они были необычайно веселые, я Хайдера таким вообще никогда не видел. Он много разговаривал и все повторял: «Теперь после Сталинграда Гитлеру капут, я точно знаю!»

Я следил за сводками: действительно после Сталинграда дела наши сильно улучшились, но до конца тогда еще было далеко. К Хайдеру приезжал какой-то друг погибшего отца; он, по словам Хайдера, служил в штабе чуть ли не писарем и все точно знал.

Ветер был сильный, резкий, голова у меня кружилась. Я чувствовал, что снова слягу, если мы будем так долго идти по улице и швыряться рыхлыми и тяжелыми, как тесто, снежками. Но я все оттягивал свой приход домой. Наконец мы дошли до двора, я с ними простился у подъезда. Домой я хотел прийти один.

Я поднялся на наш третий этаж, подошел к своей двери и посмотрел в щель почтового ящика.

Там, на дне, за слоем паутины, пыли лежал тусклый квадратик бумаги. Я стал искать ключ от ящика. Хайдер мне отдал его... Я искал, выворачивал карманы, не мог найти. Я про себя, сам того не желая, повторял, как в какой-то ужасной и смертельной игре: «Похоронная» или письмо. «Похоронная» или письмо...»

Я так и не нашел ключ и обеими руками рванул ящик на себя. Он оторвался от двери, но не упал, а так и остался в моих руках.

Я перевернул его щелью вниз, квадратик выпал. Теперь он лежал на цементе. Я все не мог разглядеть, что же это, и боялся нагнуться. Наконец я нагнулся и увидел ясно и окончательно: на цементном сером полу лежало письмо. На нем была серая печать полевой почты. Я поднял его, стал рвать конверт, задев бумагу. Из конверта выскользнул узкий и твердый, как железнодорожный билетик, листок.

Я снова похолодел, схватил этот листок и поднес к самым глазам. Это был рецепт. «Больному Островскому...»

Я не стал его рассматривать, а взял письмо, медленно развернул его и сел на ступеньки.

«Пацан, милый мой!

Вот наконец я снова могу что-то сказать тебе, а значит, и услышать тебя. Почему так случилось? Не спрашивай сейчас — не для письма этот разговор. Только скажу тебе, что у меня и у моих товарищей были очень тяжкие месяцы, и никто из нас не знал, увидим ли мы еще когда-нибудь своих близких. Был я ранен — ну да что об

этом... Живой, и на том спасибо. Долго мы были в тяжелом положении, многих потеряли. Но все-таки пробилась к своим. Встретимся — расскажу. Все время думаю о тебе. Перед отъездом возникло у нас какое-то отчуждение, вспоминаю, и горько становится. В одном из тех писем, что я получил, ты пишешь, что после школы пойдешь в военное училище. Зачем? Будет время, когда стране нужны будут не одни только солдаты. Да и склад ума у тебя не военный, не офицерский, а, скорее, гуманитарный и штатский. Война эта долгая, но ей уже виден конец.

Настанет день, когда мы поедем с тобой в Москву, на нашу Волхонку... Ты-то, я знаю, о Москве сильно скучаешь.

Мы станем с тобой старше, ты будешь почти взрослый, а я почти старый. Может быть, мы с тобой станем умнее — ни тебе, ни мне это не помешает. Да и вообще все люди станут после войны, по-моему, умнее. Тебе и твоим сверстникам страшно не повезло — война оборвала ваше детство, навсегда оторвала вас от солдатиков, детских книжек, каникул... Но я надеюсь все-таки, что вам не придется воевать: в этой войне мы, кажется, обойдемся без вас... Молоды вы еще гибнуть. Правда, я многих видел здесь совсем молодых. И всегда тебя вспоминал... Но все-таки они были постарше, чем ты. А вы еще маловаты для этого дела, вы еще — от горшка два вершка, хоть и думаете о себе бог знает что... Но ничего, не волнуйся, вы еще пригодитесь...

Вы теперь тертые калачики, все знаете: и бомбежки, и холода, и страх, и когда писем от отцов нет. Ну да ладно об этом.

Снимись и пришли свое фото. И пиши мне теперь, как обещал: каждый день, перед школой. Надеюсь, ты теперь по ночам не шляешься один. Смотри у меня! Получишь. Я ведь скоро вернусь.

Пиши обо всем, о чем хочешь, даже о пустяках, — мне здесь все о тебе интересно.

Ты спрашиваешь о Шеле. Ее нет. Она погибла в октябре сорок второго. Она о тебе много думала, и ей не хотелось причинять тебе страданий. Мы с ней часто говорили о тебе. Однажды, когда я сказал, что у тебя сильные головные боли и тошнота, она сама выписала тебе

этот рецепт и обещала достать в госпитале очень хорошее, по ее словам, лекарство. Но она не успела...

Посылаю тебе этот рецепт.

Будь здоров и обязательно пиши мне... Не знаю, удастся ли мне к тебе приехать, но я постараюсь. Все равно теперь-то уж мы не разлучимся до самой победы.

Крепко, крепко тебя обнимаю. Твой...»

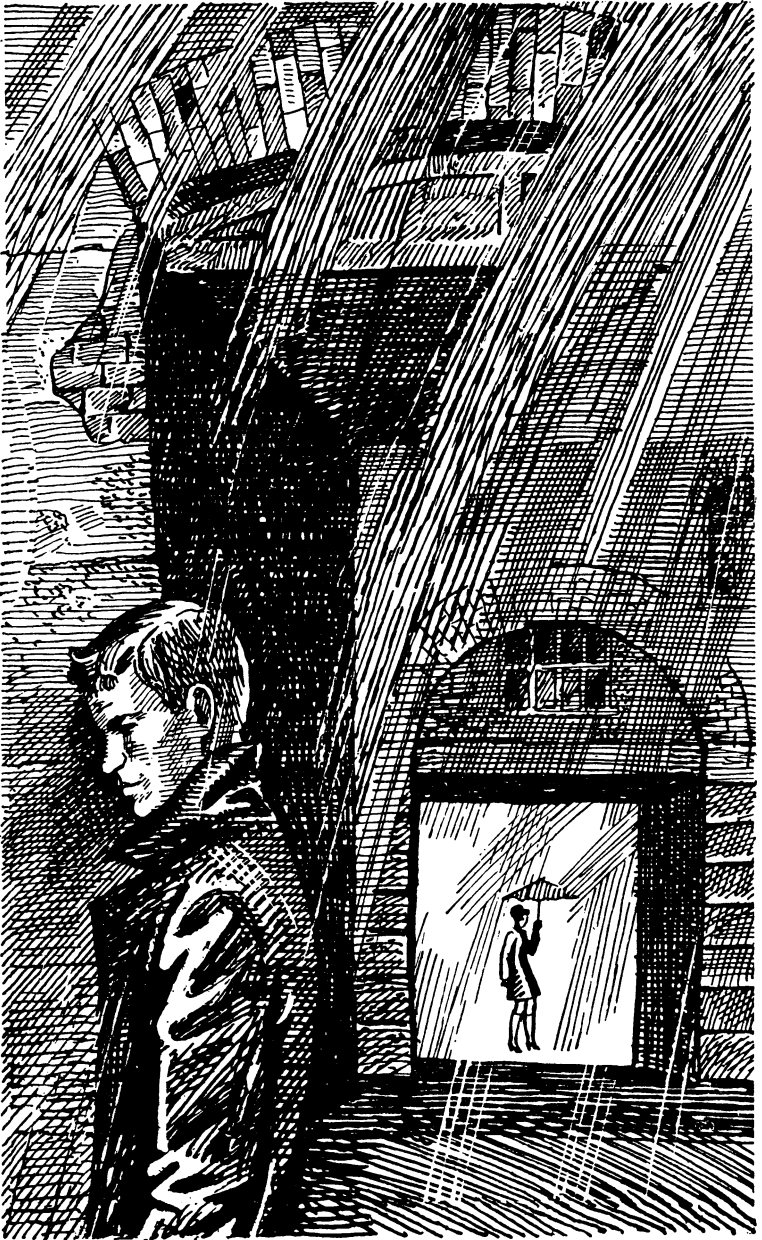
Я взял письмо и, держа его на весу, вышел на улицу.

Ветрено было, весна сорок третьего года только начиналась. Снег еще лежал густо, глубоко, только кое-где его уже рассекали желтые и тонкие рубцы.

Май 1962—март 1964

Возвращение брата

РОМАН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

За стол сели поздно — без немногого в полночь.

— Будто Новый год встречаем,— сказал Иван и усмехнулся.

— Очень правильное замечание,— сказал Вячеслав Павлович, разливая беленькую в рюмки. Разливал он не целясь, из неудобного положения, по диагонали с одного конца стола на другой, но ни капельки не пролил, рука, видать, была точная, тренированная.— Не Новый год наступает, а твоя, Иван, новая жизнь.— Он помолчал со значением, обвел глазами присутствующих и прибавил: — За что и предлагаю соответственно...

Подняли рюмки, чокнулись. Вячеслав Павлович, задержав на Иване взгляд, опрокинул, хрустнул огурцом, сказал как бы благословляя:

— Ну, давай, Иван.

Иван подержал на зубах ледящую, из погреба, чистую водку, давно он такой не пил, кивнул согласно, сам подумал: «Я уж давал, разве еще хотите?» И еще он подумал: «Как же называть мне этого человека, хозяина дома, пожилого, маленького ростом, с красным морщинистым лицом и с густыми, волнистыми, без единой сединки волосами, как же его называть, Вячеслава Павловича: отцом, батей или по-детски дядей Славой? — Иван мысленно даже чуть-чуть присюсюкнул.— Может, паханом его звать или уж просто по имени-отчеству?»

Человек этот давно, без малого двенадцать лет, был мужем его матери. Но только сегодня Ваня впервые увидел его воочию, по причине своего длительного отсутствия. От него были приветы в письмах; мать всегда приписывала: «Слава тебе привет шлет», «Слава тебе желает того и того-то», «Слава тебя поздравляет с праздником Великого Октября». Слава да Слава. Но это он матери Слава, а Ивану он кто?

Гостей было немного, два-три сослуживца по заводу, где Вячеслав Павлович служил главбухом, и подруги матери, верно, самые близкие. Да и к чему звать лишних, чужих людей, падких на новость да на интерес? Не обязательно всем в городе знать, откуда вернулся Иван,

почему, зачем, на сколько. И не на сколько, а на этот раз навсегда. Навсегда? Кто его знает, может, и навсегда.

Второй гост предложил хозяин за свою подругу жизни, за мать Вани Наталью Михайловну. А ее за столом не было, она все хлопотала, все ходила из столовой в кухню, из кухни в столовую, все носила что-то, будто людей было не девять человек, а рота, на которую не напасешь ни выпивки, ни закуски, ни ложек, ни вилок, ни рюмок, ни тарелок.

Иван еще и не видел толком мать. На вокзале он только уткнулся в холодное ее лицо, потом повели в машину «газик», рассадили как-то порознь, неудобно, наспех; мать сидела на боковом сиденье с Вячеславом Павловичем и еще с кем-то, а Иван впереди, и он все оборачивался назад, а в машине было темно, и, когда они попадали в свет придорожного фонаря, он ловил ее лицо, а через секунду оно снова погружалось во мрак. Иногда он чувствовал ее прикосновение, она дотрагивалась до него, до его спины, плеча, словно стараясь убедиться, что это действительно он, сидит на переднем сиденье, курит и не исчез, не выскочил из машины в тот момент, когда они ехали по темным, уснувшим проселкам.

Да и ему все это казалось чудным, временным, будто сейчас все прервется на полпути, не станет ни машины, ни дороги, ни матери, дотрагивающейся время от времени до него, и он раздерет веки, проснется, вскочит по медному гонгу в сонном предрассветном бараке.

А сейчас она тихо, молча сидела, опустив плечи, и так же тихо, тускло чокнулась, не глядя никому в глаза, и лицо, недавно такое еще яркое, не старое, казалось теперь тяжелым, увядшим.

— Ты чего это, Михайловна? — тронула ее соседка за руку. — Сынка ведь дождалась.

Мать отпила немного водки мелкими глотками, будто верхушку с молока сняла, и сказала:

— Устала я что-то... А вы на меня не смотрите, пейте, ешьте. Мое дело хозяйское.

Она усмехнулась. Иван глядел на нее молча, неотрывно, ведь за все эти годы впервые он видел ее так сравнительно спокойно, не отвлекаясь ни на что другое. Вот он не знал, например, этой усмешки, нервной, тут же гаснущей; да и вся она, в пушистой розовой кофте, с

волосами, уложенными, видно, в парикмахерской, с выщипанными, нарисованными бровями, была ему как бы незнакома. Была она нарядная, похудевшая, странно растерянная, а на свиданиях он привык видеть ее просто-волосой, бедно одетой, очень сосредоточенной и почему-то всегда злой. Она прошибалась к нему сквозь начальство, требуя, умоляя, грозя, и ей давали свидание с ним, даже когда он был в колонии усиленного режима. Всегда он ждал этих свиданий, но с тревогой, а иной раз даже думал: может, лучше бы и не приезжала.

А когда он стал «побегушником» и был взят в Москве и возвращен с новым сроком, она не приезжала к нему четыре года, да и писала редко и скупо. А однажды, получив письмецо от администрации (теперь принято было в отдельных случаях обращаться к родным, если таковые есть, с призывом оказать администрации моральное содействие), написала ему так (он это место запомнил наизусть): «...устала я, Ваня, от тебя очень сильно, и после всего, что было, нет в тебя веры больше. Иной раз так становится тошно, что хочется, ей-богу, проклясть тот день, когда ты у меня появился на свет...»

На что он ей ответил: «...с этим, мама, я целиком и полностью согласен. Я и сам тот день от всей души проклиная».

Ни разу он не видел ее плачущей на свидании. И, говоря по совести, это нравилось ему. Слез он не уважал, он их много навиделся на своем веку и не придавал им никакого значения. Но передачи посылала мать регулярно, все годы, даже когда не писала. Тут ей надо отдать должное. А что важнее в конце концов — слезы или передачи? Сколько их, родственников, и матерей даже, наплачут полный конверт слез да поучений прибавят, а годами от них не дождешься ни кусочка сахара-рафинаду... Знал Иван и о таких матерях, да и похуже знал. А при своих делах он многого не требовал.

Вот уже третья рюмка прошла, кто-то из сослуживцев предложил за Вячеслава Павловича, все дружно чокнулись, но весельем так и не пахло. Иван чувствовал, что люди здесь скованы и не в своей тарелке. И скованность эта из-за него. Потому что он был главным сегодня человеком, как бы именинником. Но всего того, что связано было с именинником, не велено было касаться, вроде

бы и не знали, будто сговорились по кругу. И это удивляло и отчасти даже смешило Ивана. «Тоже мне, детский понт наводят,— думал он.— А впрочем, им виднее...»

Однако сам хозяин первый не выдержал этой игры. Он заметно захмелел и все чаще поглядывал на Ивана, а потом повелительно махнул рукой, чтобы все замолчали.

— Знаю я, Ваня,— сказал он,— что в тех краях, где ты временно пребывал, множество есть любопытных песен. Так вот, Ваня, может, ты нам чего исполнишь.

Говорил он это со значением, и Иван почувствовал нечто вроде ноток гордости: вот, мол, где наши бывали, в каких они водах мыты. Ваня терпеть не мог блатных песен, ему аж скулы сводило, когда в колонии заводили какую-нибудь «Пацаночку» или «Не надо, не надо, не надо», все это он любил давно, на заре туманной юности, и мог отдать полпайки хлеба и махру, чтобы услышать:

Проснешься рано, город еще спит,
Не спит тюрьма, она уже проснулась,
А сердце бедное в груди моей болит.
Болит, как будто пламя прикоснулось...

Тогда он это слушал с восторгом и грустью, и вся его молодость казалась оплаканной и понятой, и все-таки еще не оборвавшейся, и что-то еще будет, и все вдруг изменится, и он выскочит отсюда, как и был, целехоньким... И поэтому давай, керя, а мы подпоем:

Мне снится сон, как будто я на воле,
В саду гуляю с Раей, рву цветы.
Ах, это нет, ах, это не свобода,
А только лишь одни мои мечты.

А еще больше любил он песни про войну, но не те, что передавали по радио, а те, что слышал, когда еще был на свободе и толкался у пивных ларьков, где собирались инвалиды. Они любили Ваню, был он хотя и пацаненок, а солдат, инвалид, награжденный медалью «За отвагу». Мальчонкой партизанил он в Белоруссии. Может, и громко сказано «партизанил», тем не менее давали ему в отряде задания, отправляли в город, где была немецкая комендатура, и там он притворялся дурачком-сироткой (на свою беду он, видно, притворялся, такую судьбу сам себе накликал: мать его пропала без вести при массиро-

ванном налете на Оршу, и нашла она его лишь в конце сорок пятого, а про отца он узнал в Германии, уже после войны).

Ну, а дурачка валять чего проще. Он топтался у немецкой комендатуры, попрошайничал, ходил на руках, строил рожи, потешая немецких солдат, а сам следил за прибытием и отправлением грузовиков с солдатами, узнавал направления, по которым они будут двигаться, а иногда видел, как вешают партизан на свежих, нечисто оструганных виселицах. Он сидел на траве, что-то жевал и все смотрел, смотрел как бы навсегда обалдевшими глазами на людей, которых подводили к виселицам.

Одни упирались, другие еле волочили ноги, обвисая на руках конвойных. А чаще всего шли молча, спокойно, будто и не на виселицу. И люди, которых сгоняли на казнь, молчали, и редко кто плакал, и только когда в тишине что-то живое глухо, жутко рвалось, в толпе возникал крик, и вот тогда Иван, зажмурив глаза, бешено работая локтями, выдирался из толпы.

Так и ходил он, бледный, вечно голодный, с шутовскими, усталыми глазами, мальчик при отряде, полусвязной, полупартизан, полустарик, полумальчик.

Как говорится, это было давно и неправда.

Однако — было.

Даже и вещественное доказательство осталось — медаль. Когда документы нашлись на отряд — Ваню наградили медалью.

Осталась у матери как память о нем та медалька с залоснившейся красно-черной ленточкой.

Вот почему он любил военные песни.

А потом, когда кривая жизнь, как говорится, понесла не туда, когда Ваня очутился в другом обществе, то узнал он и другие песни. Поначалу они ему понравились. А чем дольше он сидел, тем больше они ему надоедали. Редко среди них попадались хорошие, искренние, в основном это была смесь блата с душещипательным романсом. У Вани был неплохой слух, и, когда кто-нибудь начинал в колонии голосить истерично и визгливо, Ваня просил заткнуться или натягивал шапку на уши. А в последние годы Ваня стал человеком ученым, поскольку на старости лет окончил в колонии десять классов, и всякие глупости он больше не уважал.

Но сейчас его просили спеть культурные люди, от которых зависело его дальнейшее существование. Ему вроде даже оказывали честь такой необычной просьбой, и что ж тут отмалчиваться! Раз просят — надо уважить. Возможно, им хотелось, чтобы Ваня немного распахнул дверцу в ту окаянную, несколько таинственную, вызывающую у них законный интерес жизни, из которой он прибыл прямым железнодорожным сообщением. Вначале им казалось, что нельзя задевать Ивана и напоминать о «местах не столь отдаленных», и они всячески показывали, что им, дескать, все равно, кто он был и откуда приехал, и всячески подчеркивали, что считают его обыкновенным гражданином со всеми правами и вытекающими отсюда обязанностями, который после кратковременного отдыха должен приступить к созидательной работе на благо общества. Но обыкновенное человеческое любопытство их разобрало все-таки: мол, зря, что ли, Ваня, ты там ошивался, покажи, на что ты способен.

— Впрочем, Ваня, если нет у тебя настроения, то и не надо,— сказал Вячеслав Павлович.— Хотелось бы, конечно, послушать, что там люди поют.

— Ну что же, давайте гитару, что-нибудь вспомню,— сказал Иван.

Все притихли, а он настраивал гитару и сам соображал, что же все-таки спеть. Откровенную блатнягу он не любил, да и стеснялся при матери, а романсы вроде «Черной розы» устарели и были непосвященной публике непонятны. И он остановился на песне вполне спокойной и с приличным мотивом:

Есть по Чуйскому тракту дорога,
Ездит много по ней шоферов,
Был там шофер отважный и смелый,
Звали Колька его Снегирев.
Он трехтонку любимую, «эмку»,
Как родную сестру, полюбил.
Чуйский тракт на монгольской границе
Он на «эмке» своей изучил.

Ваня пел негромко, спокойно, без нажима... Все смотрели на него внимательно и, как ему казалось, чутко и, возможно, думали: «Вон он поет, а сам в данный момент вспоминает, как все у него там было». А он ничего не вспоминал. Только старался спеть правильно, не забыть

слова, не спутать мотив. Нечего ему было вспоминать, пусть вспоминают те, кто забыл.

Просто теперь ему все это уже неинтересно... Все это было рядом, и все он знал, и помнил, и чувствовал, но, как ни странно, все это уже не трогало его. То, что было, нисколечко не трогало. Его трогало лишь то, что будет.

Когда у зуба вынимают нерв — зуб перестает болеть.

Иван отложил гитару, налил себе почему-то не в рюмку, а в граненый стакан, в то, что попало под руку, выпил, ни с кем не чокаясь. Не понял он, понравилась песня или нет... Да и какая разница, его дело было пойти навстречу пожеланиям трудящихся, а больше петь он не собирался. Да они и не просили... Возможно, ждали чего-то остренького, жареного, с приправой, а эта простая, скромная песня им, как говорится, не в дугу.

Правда, один из приятелей Вячеслава Павловича попросил-таки Ивана спеть что-нибудь наподобие «Мурки», но Иван ответил на это, что «Мурку» уже давно не поют, что, возможно, ее пели в начале двадцатого века, но он лично в те времена еще не сидел.

Иван чувствовал, что малость заводится, и старался себя не распускать, но все-таки водка нет-нет да о себе напоминала по причине долгой отвычки от спиртных напитков. К тому же вмешался Вячеслав Павлович и заметил не без гордости, что Иван познакомил присутствующих с современным, так сказать, репертуаром и что он не профессиональный исполнитель этих, с позволения сказать, музыкальных произведений, и что все знать он вовсе не обязан, и что э т о даже пора забыть, именно, как сказал в свое время Чапаев, «наплевать и забыть». И что теперь у него, Ивана, новая жизнь, а значит, и песни новые.

— Какие же? — поинтересовался Иван.

— Ну, например, чудесная народная песня «Издаlecka долго течет река Волга», или же «Я плакать не стану, мне он не велел», или же строевая «Солдатская».

Тут же кто-то затянул не указанную Вячеславом Павловичем песню «Куда ведешь, тропинка милая?». Тогда мать Ивана недовольно махнула рукой и сказала:

— Будет вам петь. После третьей сразу в голос... Человек с дороги... Отдохнуть хочет в тишине.

Иван обратил внимание, что мать сказала «человек», а не «сын», но это его не обидело и не удивило, потому что он вообще никогда на свою мать не обижался. Все затихли, словно не зная, о чем говорить. Петь не позволяли, а тем, общих с Иваном и для него интересных, вроде бы и не было, а говорить о своих делах в присутствии такого человека тоже как-то несуразно.

И тут в ненадолго наступившей тишине, нарушаемой скрипом стульев, отдельными репликами и прочим шумом, который издает застольная компания, даже когда она молчит,— в этой некрепкой тишине отчетливо раздался детский вскрик. Голос ребенка доносился из соседней комнаты. Что-то он произнес со сна громко, моляще, неразборчиво и затих. Иван поднялся на этот голос, опередив мать. Мать встала, но тут же села на место, увидев, что он пошел.

Он вошел в темную комнату и подошел к раскладушке. Мальчик спал на раскладушке, так как на кушетке постелили Ивану. В комнате пахло незнакомым Ивану и как бы молочным детским духом. Запах был успокаивающий, теплый и приятный. Стараясь не шуметь, Иван подошел к раскладушке поближе.

Мальчик лежал с закрытыми глазами и вроде бы спал, но у Ивана был глаз наметанный, острый, и он заметил, что у мальчика веко напряженно подрагивает. Иван, однако, не подал вида, нагнулся над раскладушкой и стал смотреть. Он видел этого мальчика первый раз в жизни.

Мальчик лежал затылком к Ивану, голова у него была маленькая, с густыми, спутанными, теплыми волосами и тоже пахла хорошо, и хотелось до нее дотронуться. Но Иван выжидал...

И вдруг раздался шепот. Не открывая глаз и не поворачиваясь к Ивану, мальчик сказал:

— А я знаю, кто ты.

— Кто же я? — спросил Иван.

— Ты мой старший брат, Иван.

— Точно, — сказал Иван.

— Я тебя давно жду, уже почти целый год, — быстро зашептал мальчик. — Я знаю, откуда ты приехал.

— Откуда же? — спокойно спросил Иван.

— С армии, с китайской границы, ты там на границе служил, я все это знаю.

— Правильно, — сказал Иван, — именно оттуда.

— А ты знаешь, как меня зовут? — спросил мальчик.

— Знаю, — сказал Иван.

Но, не доверяясь знанию Ивана, мальчик прошептал:

— Сергей. А хочешь — Серега. — И зачем-то добавил: — А по батюшке Вячеславович.

— Я знаю, — сказал Иван, — ты Сергей Вячеславович.

— А ты, значит, по батюшке Иван Вячеславович, — сказал мальчик.

— Извини, Серега, — сказал Иван. — Но я Иван Владимирович.

— А как это может быть, раз мы братья?..

— Да вот так... Бывает.

— Значит, мы по батюшке разные.

— Разные, — сказал Иван.

— А мать у нас общая или тоже разные? — спросил мальчик.

— Мать у нас с тобой общая, единая, неделимая, — сказал Иван. — И давай, пацаненок, спать. Завтра мы с тобой нагуляемся и наговоримся.

Мальчик улыбнулся ему и сделал смутно уловимое движение, точно прося чего-то. Иван не понял. Тогда мальчик взял его руку и подложил себе под щеку. Иван стоял над раскладушкой, согнувшись, с рукой, неудобно вытянутой, и ждал, когда мальчик заснет.

Через несколько минут мальчик заснул. Он привык засыпать именно так. Иван вытащил нагретую его щекой руку, когда мальчик спал уже крепко, легко посапывал и когда рука Ивана уже начала затекать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Иван проснулся с первыми петухами. А вернее сказать, от первых петухов... Был странен этот далекий ухающий звук, который в отличие от металлического гонга и крика дежурного «Подъем!» не разрубил его сон, намертво выстудив ночное непрочное тепло, и недолгий покой, выталкивая в долгий безрадостный день. Крик петуха как бы шелестяще задел его сон, не оборвал, а именно потревожил. И дальше Иван уже не мог заснуть. Крик петуха он бы слушал и слушал, так по-хорошему,

неопасно тревожен он был, но крик затих, петухи повозились, пошебуршили и примолкли, а чувство тревоги осталось. Оно, как пробка, торчало в мозгу. Иван знал за собой эту черту: когда ему было худо и он оказывался, что называется, прижатым к стенке, он ощущал необыкновенную силу, четкость, слаженность мысли, слов, поступков; когда же жизнь его отпускала, когда вроде бы обстоятельства благоприятствовали ему, он терялся, не знал, что с ними делать, как их расположить на пользу себе, и чувство неуверенности и страха западало в него.

Не оттого это было, что боялся он за себя, боялся опять начать по новой, как говорится, по большому кругу... Нет, смешны ему были опасения администрации, родных, разные педагогические призывы, с э т и м внутри него самого было не то что завязано (он не любил этого слова, уж больно ходким оно стало, все, не только блатные или приблатненные, а так, разная шушера неученая производила его со смаком и без всякого повода; даже если кто и не пил водку всего-то с неделю, так и тот скажет не иначе, как «завязал»). С э т и м внутри него самого было разорвано намертво, навек. К тому было много причин, о которых он мог бы говорить долго... Но «внутри него самого» еще не означало, что все, порядок... Сколько раз так бывало: сам человек уже решил, уже оторвался с кровью, с кожей от прежнего, а обстоятельства выстраиваются так, что ведут его прямой дороженькой обратно. В такой жизни, как Иванова, обстоятельства эти имеют особую силу...

Иван встал тихо, стараясь не разбудить ребенка, разметавшегося на раскладушке. Окна в комнате были зашторены, мать хотела, чтобы они оба спали подольше, но сквозь занавеси было видно, что уже всю светает.

Иван вышел из комнаты, глянув на брата и мимолетно пожалев его. Спящих детей ему отчего-то всегда было жалко. Но не то чтобы всерьез было жалко, а так как-то... Беспомощный, жалкий был мальчонка во сне, любой гад его сможет придушить, как куренка. «Хотя кто тут-то будет... — подумал Иван. — Это не отсюда все, да и вообще глупость...» Просто лежит рядом его брат, спит, дышит, головка маленькая, теплые тонкие ручки, вот от этого и жалко.

Иван прошел кухню, по дороге в ванную задел таз, таз

громко, протяжно громыхал, но никто не проснулся.

Тут спали крепко, безмятежно, не вскакивая чуть что.

Посуда на кухне была вся уже перемыта, рюмки строем стояли в стеклянном шкафчике, блестели, и так было их много, разнокалиберных, будто взвод гулял... Мать, видно, допоздна возилась, приводя все в порядок. Голова у Ивана болела, хотелось опохмелиться. Ведь сколько он уже не пил!

А такую водку, столичную, чистую, и вовсе лет пять не держал на зубах. Впрочем, как иные, постоянной жажды и желания он не испытывал, так, для обогрева, после работы или иной раз с тоски хотелось захмелеть. Всерьез он никогда не пил и алкашей презирал глубоко. Иван начал вспоминать чудаков, делавших в колонии настой из зубного порошка, и тут же резко оборвал эти свои воспоминания... Нет, все-таки отключиться не удавалось. Будто и вправду временно, а не навсегда.

Он походил по кухне, попил воды прямо из ведра, так, что она налилась на шею и за майку, но он не отряхнулся — все это было приятно, закурил и, не набросив рубашку, в одной майке вышел в сад.

Снег полусошел и лежал серый, пористый, взбухший, кое-где до земли прогрызенный солнцем. В садике стояла скамейка, свежоокрашенная наполовину, видно, красили к Ваниному приезду, но не успели, и теперь она напоминала шлагбаум. Было солнечно, сыро, зябко — не зима и не весна. Начал падать снег — тонкими, длинными влажными волокнами, таял, не долетев до земли.

Ивану захотелось подвигаться, пробежаться, даже не пробежаться, а побегать как следует, не от кого-нибудь, а так, чтобы почувствовать, что есть еще сила, что мускулы не ссушились окончательно, чтобы услышать свое дыхание, сначала редкое, потом прерывистое, а потом и вовсе почти исчезающее от долгого бега и в самый последний момент снова появляющееся неизвестно откуда... Бежать и бежать по мокрой земле, чувствуя, как падает теплый мокрый снег на лицо, бежать так, чтобы уйти от всех и, конечно, от себя, и остановиться в летнем безлюдном лесу, в сухой, пригретой солнцем траве...

Иван сделал кружок по садику, шлепая ботинками по мокрой земле, потом остановился, чтобы не слишком пугать соседей дуростью своего поведения. Однако он не

удержался и решил испытать себя. Сделал стойку на недокрашенной скамейке. Руки дрожали, ходили ходуном на сыром скользком дереве; лишь несколько секунд он и выстоял.

И снизу вверх он увидел мокро блестящие голые ветки с выскочившими невесть откуда почками, белое без облаков небо, и в это мгновение, стоя головой вниз, он вдруг впервые за это время — с того самого момента, как заполнил бегунок, сдал ватник и сапоги и получил свою дезинфицированную полузабытую одежонку, с того самого момента, как вышел за зону и стал голосовать, ловя попутную до города, в п е р в ы е он физически ощутил, что с в о б о д е н, с в о б о д е н, о с в о б о д и л с я. Не на сегодня, не на завтра, не на декаду, не на месяц, на веки вечные, до конца своих дней о с - в о - б о - д и л - с я!

Он лег на скамейку, ощутил голой спиной мокроту, холод. Увидел снова спокойно, радостно деревья, голые ветки с клейкими, сморщенными узелками. Он закурил блаженно и сказал себе так, чтобы никто не слышал, но достаточно громко:

— Все нормально, капитан! Все нормально! Порядок в танковых частях! Дела наши идут хорошо! Самочувствие на сегодняшний день о т - л и ч - н о е!

— А я все видел,— раздался высокий незнакомый голос.

Иван мгновенно вскочил.

— И как вы сами с собой разговаривали и как вниз головой стояли.

Иван увидел физиономию своего брата, подглядывавшего за ним из окошка своей комнаты. От волнения брат даже перешел на «вы».

— Это я зарядку делаю,— сказал Иван.— Так положено.

— А голый зачем, и вниз головой, и на мокрой скамейке?

— Вот именно так и нужно,— сказал Иван без особой уверенности.— Для закалки.

— А-а, понял,— сказал мальчик.— Это специально такая зарядка пограничная. Чтобы долго в мокрой траве лежать, в засаде.

— Вот точно,— сказал Иван, удивляясь, как все это у мальчика логично складывается.— А ты чего не спишь?

— А я боялся, что встану, а вы уйдете.

— Куда ж я от тебя уйду? — сказал Иван.

Иван вернулся в дом, теплый после свежести сада. Он долго мылся до пояса, хотя вчера мать успела ему истопить баньку. То, что он мог так мыться, не торопясь, не в очередь, свежим мылом с твердыми от новизны углами, а не обмылком, то, что он мог растереться махровым чистым полотенцем и от души побрызгаться одеколоном после бритья (одеколоном, недоступным там для этой цели по причине «употребления внутрь»), — все это доставляло ему необыкновенное, много лет не испытанное наслаждение, почти счастье.

Он понимал, что это единственный такой день — первый, другого такого не будет. Когда еще все внове и когда можно не думать об устройстве, о работе, о прописке. Все это завтра надвинется... А сейчас утром после мытья все отпустило: и нервотрепка последних дней там, ожидание встречи со своими, и какой-то новый, легкий музыкальный такт застучал в мозгу, одновременно блаженно усыпляя и чуть хмеля... Ему захотелось выпить чуть-чуть, чтобы это закрепить, продлить свое состояние и эту славную музычку, но он не знал, куда мать убрала водку, и решил сам не рыскать по шкафам. «Все в ажуре, — говорил он себе, надевая рубашку, причесываясь у зеркальца. — А братан — смешной пацаненок, и не поймешь, похож он на меня или не похож. Лучше б не похож», — неожиданно заключил Иван.

В доме начали скрипеть половицы, раздавались голоса, уже не приглушенные, утренние; семья просыпалась, и мать покрикивала на своего младшего, чтобы он собирал портфель и готовился в школу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда брат вернулся из школы, они вдвоем отправились в город. По дороге зашли на рынок. Иван потолкался среди коров, делая вид, что приценивается, а сам трогал их за теплые бока и смеялся, будто младшим братом был он, а не Серега.

Серега то и дело встречал знакомых и все сообщал:

— А я с братаном в город иду. Он с армии, с границы вернулся.

Увидит кого, товарища ли по школе, взрослого ли, и кричит:

— А я с братаном...

Не привыкшего конфузиться Ивана чуть-чуть передегивало.

Потом они пошли в центр, на «бродвей», где были магазины, почта, кинотеатр. Иван не узнавал свой город — так он перестроился, разросся. Но главная улица осталась прежней: приземистой, двухэтажной. Только показалось Ивану, что стала она более людная, шепутная. Иван с интересом заходил во все магазины и, если где видел очередь, спрашивал с серьезным видом: «А что здесь дают?» Впрочем, кроме промтоварного и «Детского мира», у Ивана, как говорится, нигде не было интереса. В детском у него «был интерес» купить что-нибудь братану, в промтоварном — себе и что-нибудь матери. Кое-какие денежки в местах своей побывки он все же заработал.

Иван с Серегой потолкались на первом этаже «Детского мира», где Иван купил Вячеславу Павловичу ручку «Спутник» на черной массивной подставке.

— Это отцу? — обрадовался Серега.

— Именно, — сказал Иван. — Отцу...

Слово это звучало отчужденно и странно, он столько лет его не произносил, а когда сказал на следствии: «Отец, Лаврухин Владимир Федорович, секретарь райкома партии, погиб на фронте в 1942 году», — ему вначале не поверили; подследственные почти всегда придумывали себе родителей, но у Ивана это подтвердилось документально, и тогда стали говорить, качая головой: «Вот видишь, какой у тебя отец был, а ты... Недостоин ты такого родителя».

— Такого, может, и недостоин... Тогда найдите мне другого пахана, живого. Вот, может, вы, гражданин следователь, меня усыновите?

Очень они не любили таких шуток и серчали, переходя с Иваном на другой, сухой и официальный тон...

— Будет твой отец писать резолюции ручкой-спутником «Восток-1», — сказал Иван.

— А как его запускали, ты, случайно, не видел? — спросил Сергей.

— Нет, врать не буду,— сказал Иван.— Много чего повидал, а этого не довелось. Далеко я был от тех мест.

— В смысле от Байконура,— подсказал мальчик.

— Именно от него,— сказал Иван. И, меняя тему, добавил: — Значит, бате твоему мы оторвали подарок, теперь тебе надо. А потом пойдем в промтоварный, кое-чего матери приглядим, да и мне нужно материалу набрать на костюм.

— Мне подарка не надо,— заскромничал Серега.— У меня все есть, сабли разные, и солдаты, и танки.— Говорил он очень искренне, но Иван, однако, заметил, что мальчик бессознательно, но твердо держит курс на отдел игрушек, не сбиваясь и не теряясь во встречном потоке людей.

Вот они подошли к секции «жестких игрушек».

— Ну что, Серег, тебе подберем?

— Не надо, братан... У меня все есть, и сабли разные, и танки,— слабо сопротивлялся Серега, видимо наученный матерью, но глазенки его быстро и деловито шарили по полкам с игрушками; некий как бы электронный счетчик, сидевший в его мозгу, безошибочно рассчитывал: пушка-самоходка у меня есть, самолет инерционный есть, машина гоночная, самозаводящаяся, тоже имеется...— И вдруг глаза его изумленно блеснули и посветлели. Правда, тут же он отвел их и еле заметно, горестно покривил губы...

Однако жизнь научила Ивана разбираться во взглядах. В нем как бы незримый перехватчик-улавливатель был на эти самые взгляды. И он перехватил взгляд мальчика и тут же понял, почему так страдальчески покривил тот губы.

— Это, что ли? — спросил Иван, показывая на большой, почти в нормальную величину автомат.

Мальчик покачал головой и что-то пробормотал невразумительное: «...Да нет... зачем... у меня все есть».

На ценнике под автоматом стояло: «12 руб.».

— А ну-ка покажите эту штучку,— сказал Иван продавщице.

Она протянула Ивану автоматическое оружие. Иван подержал на весу тяжелую, гладкую, с магазином, прикладом и кобушкой «штуку». Он ощутил холодок и тяжесть оружия (то, что волнует любого мужчину на земле, даже если он вегетарианец, гуманист, Лев Толстой или

доктор Бенджамен Спок). Гладкость, холодок и тяжесть оружия. Нет, не затем, чтобы убивать, а лишь затем, чтобы подержать и отложить, хоть мгновение, хоть секунду подержать оружие, ведь это давно, еще многие столетия назад природа научила нас ценить его, природа, которая предполагала сделать из нас охотников и воинов.

Что это было за оружие! Оно сверкало лаком, мушка была вороненая, холодком отдавала рифленая рукоять.

Ивану ли, очень давно державшему в руке маленький «вальтер» времен Великой Отечественной, было не оценить это? Он с горечью подумал, что в его детские времена не было таких замечательных игрушек и было не до них, вот и пришлось тянуться к настоящим.

Но Серега понимал в этом почище его.

— Ты не на то смотришь, братан, — со сдержанной грустью сказал он. — Тут не в том дело.

— А в чем же? — удивился Иван.

— А вот в чем, — с готовностью сказал Серега и нажал спусковой крючок.

И тогда Иван понял, как он ошибался, как он недооценил эту штуковину. Перед прицелом было узкое выходное отверстие, и когда Серега нажал спусковой крючок, оно стало рубиново-красное, дуло прямо-таки запылало пламенем. Загорелась внутренняя лампочка. Автомат бил очередями, и огонь как бы хлестал из него, сжигал все на своем пути, гас и вновь загорался...

— Вот в чем тут дело, — сказал Серега, тихо откладывая автомат в сторону и ханжески вздыхая, ни на что не надеясь и ничего не прося, хороший, скромный, воспитанный мальчик, знающий цену трудовому рублю, скромный мальчик из трудовой семьи, понимающий, что игрушка не по карману брату и вообще баловство, ни на что не претендующий мальчик у прилавка, с взметенной в ожидании и надежде душой.

— Откуда такая красота? — спросил Иван.

И продавщица сказала небрежно и незаинтересованно, раздирая кровоточащее сердце Скромного Мальчика:

— Импортная. Венгерская. Раз в году бывает, дали для плана. — Она положила игрушку на полку и добавила: — Последний эсталея.

Двенадцать ре. Деньги ли это? Может, для кого-нибудь, но не для Ивана... Если брату х о ч е т с я, так тут надо

решать положительно. Только лишь положительно. И он немедленно достал бумажник, а из него узенькую красненькую и две желтеньких.

— Беги, братан, в кассу, пока не увели твой автоматик.

— Да что вы! — вдруг изменив форму обращения, все еще стесняясь, но уже став в позу бегуна на старте, ждущего выстрела, произнес брат.

— Брось, Серега, — улыбаясь, сказал Иван. — Как это в песне поется: «В жизни раз бывает сорок восемь лет».

Почему он сказал «сорок восемь», он не знал. Просто так интереснее. А Скромный Мальчик уже шпарил к кассе и мог сшибить на своем пути все, что угодно, — и человека, и собаку, и, если бы попался бульдозер, сшиб бы и его.

А Иван вспоминал, как он читал какой-то растрепанный роман про одного мужика, который вернулся из тюрьмы, где-то добыл деньги, делал всем подарки, в особенности одной бедной девочке с козым именем. Ах, как приятно быть этим самым, как его зовут, Жан Вальжаном, что ли... Почему им не быть, если есть такая возможность?

Серега нес свой автомат в сверкающей глянец длинной, узкой, как блок сигарет, коробке, обернутой поверх всего еще и папиросной бумагой. Иван сказал ему:

— Давай сдерем обертку, сразу всех распугаешь своей пушкой, всюду без очереди пустят.

Но Сергей покачал головой.

— Дома разверну, — сказал он. — Зачем сейчас? Да и коробочка хорошая, на ней автомат нарисован и написано не по-русски. Я в нее другие игрушки положу.

— Молоток парень, — одобрил Иван. — Ты, я вижу, в мать, мужик хозяйственный.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

После этого Иван и Серега пошли в городской универмаг.

Иван в те недолгие времена, что он пребывал на свободе, всегда был одет нормально, как говорится, не хуже других, да и в колонии старался выглядеть как

человек. В жизни у него никогда не было собственности: ни дома, ни мебели, ни даже какого-нибудь паршивенького велосипеда. У него просто бывало порой много денег, и они быстро уходили — куда, он и сам не знал. Он их не ценил, добывал легко, играючи, потому что люди, хоть и были прижимисты на свою трудовую копейку, все-таки всегда оказывались растяпами, часто прямо-таки дурачками и отдавали эту самую копеечку запросто, только надо было сообразить, как ее получше вынуть... А денежки ворованные летели невесть на что, исчезали и снова появлялись — это было словно река в дождь и в засуху. То она подымалась — воды становилось так много, что лезла из берегов, то мелела начисто, будто и не было здесь никогда реки.

Одежонку Иван любил... Чтоб пиджачок не горбатился, не висел мешком, а чтоб сидел как влитой, и чтобы брючки как бы текли по ногам, не пузыряться на коленях. Иногда Иван шиковал, шил себе у хороших портных, давал «верхушку», только торопил с заказом: времени у него всегда было в обрез, он никогда не знал, сколько с в о б о д н о г о времени у него осталось. К тому же одежда помогала ему в деле: все эти простофили по одежке принимали, они аж другим голосом начинали разговаривать, когда перед ними стоял солидный, одетый как надо человек. Да и свои как-то притихали, когда Иван в красивом костюме, с университетским значком и букетиком цветов появлялся на площади трех вокзалов, чтобы сделать самое скромное, можно даже сказать, повседневное, мелкое дело, скажем, «встретить приход». Ты встречаешь поезд дальнего следования, с цветочкамиходишь в вагон, ищешь глазами родных, близких, в вагоне кутерьма, проходы забиты чемоданами, сумками, тюками. Вокруг объятия, поцелуи. Объятия, поцелуи — это очень нужно. Пусть они там обнимаются, да покрепче — а нам нужны вещички, рублишки, которые в сумочках их покоятся, в легких сумочках, рассунутых туда-сюда, лежащих на столике купе, на полке или поверх чемоданов... Да и сам чемоданчик сгодится, стоящий, как сиротка, в стороне. А наш верный помощник Федя с круглой бляхой носильщика берет целую тележку и раз-раз — быстро, энергично, споро тянет тележку к главному выходу, а сзади бегут приезжие люди со встречающими: «Как съез-

дил? Ох, какой загар! Почему не писал столько?» Им не до чемоданов, они все больше о загаре, о письмах, у них свои заботы, у нас — свои... Кому что нужно, тот на то внимание и обращает. И вот мы быстренько сворачиваем в огромном вестибюле вокзала, опередив на двадцать метров приехавших и встречающих, а в маленьком «Москвиче»-пикапе, стареньком, замурзанном, обслуживающем днем трудящихся, уже ждет дядя Коля, ждет, и косит глазом, и выскакивает, отворяет дверцу — и взгляд назад; те где-то плетутся, болтают, а мы сразу, быстро, друженько уложили на места, повернули так, чтобы номер не был виден, — и в переулочек, и пошли по Садовому кольцу в дружном потоке личных, служебных машин, «скорой помощи», ОРУДа, такси, в дружном городском потоке.

Работа бывает крупная, так себе, а иногда и себе в убыток. Бывает работа с отдельным клиентом, а иногда с рядом лиц, с общественными и государственными организациями. И если ты не хочешь, чтобы она была никчемной, дурной и чтоб она не кончилась провалом, нужен план. Таранить что попало любой ханыга умеет, а вот план придумать — тут требуется человек башковитый. У Вани была кличка «Штабной» или «Партизан». Почему «Штабной»? Может, потому, что они слышали: когда-то давно, на заре туманной юности, он воевал, как они не воевали, не за барахло, не за чемоданы... Какая Ивану разница — «Штабной» так «Штабной». Лучше это, чем какой-нибудь «Купец», или «Косой», или тем более «Навозник».

Ему, Ване, дружки цену знали. Он был в больших сроках и в побегах, разрабатывал План и умело «толкал» барахло, был делец, а когда заваливался, не спихивал все на подельщика, а на следствии врал толково и четко, умело запутывая следователя и давая дружку небольшую лазейку... он не хорохорился с дружками, был вроде бы тих и скромн, не подделывался «под капитана», то есть не строил из себя больше того, что он есть, да и незачем было строить — где надо, его и так хорошо знали... В любые времена у него был авторитет. К тому же все знали, что Ваня никогда не проливает кровь... Ваня давно уже понял, что можно отнять вещь, деньги без скандала и без крови, что кровь надо пускать только для того, чтобы

спасти свою жизнь, когда другого выхода нет. А если уж придется все-таки взять кого-нибудь, нехорошего, так лучше чужими руками. Хитер, коварен был тихий Ваня. Он нередко говорил с важностью своим друзьям: «Я аферист, но не мокрушник». И они качали головой, и усмехались, и задумывались, и что-то тускло, медленно озаряло их маленькие, озабоченные головки, и где-нибудь в подходящем месте один из них вспоминал Ванины слова и говорил кому-нибудь другому с важностью: «Я, понял, аферист, а не убийца», — а потом и тот, другой, толкаясь у деревяшки, у пивнухи, заводясь с кем-нибудь нахальным, хватая бутылку за горлышко или доставая сапожный ножик, вдруг вспоминал эту фразу, и чуть остывал, и не пускал в дело острые или колющие предметы, наносящие вред организму и отягощающие дело по определенной статье УК РСФСР и союзных республик.

Это не значило, что Иван никогда не дрался. Приходилось, что поделаешь. Самые большие драки были давно, в первых его сроках, в первых колониях, в беспокойной юности. Тогда в этом мире царила «беспредельщина», и люди дрались часто насмерть из-за табака, из-за мыла, из-за зубного порошка, которым тоже, оказывается, можно было одурманить голову. Тогда не смотрели, малолетка ты или нет. «Хочешь жить — умей вертеться». Он попал сюда, узнав войну, лагерь под Эрфуртом, брюшной тиф, когда его чуть не пристрелили, но выходила толстая немка Бауэр, которая потом, когда все кончилось и наши были в городе, просила у него хлеба и защиты, как у авторитетного человека. Он достал ей хлеба и тушенку, у него все тогда было, потому что Ваню-пацана знали в округе все и никто не отказывал ему — ни свои, ни союзники. Это были лучшие дни его жизни — дни после освобождения, когда он был одновременно мальчик, солдат и победитель.

Счастливый он возвращался на родину. Мать отыскала его, привезла в полуразрушенную Оршу. Когда она увидела его и кинулась к нему, плакала, целовала, обнюхивала его, он молчал... Ему было как-то стыдно, что мать на людях вот так убивается, ведь он же живой.

А с другой стороны — ему было страшно идти с нею по многолюдному вокзалу, казалось, он потеряет ее в толпе, и все — больше никогда не увидит!

Не думал он тогда, что потеряет ее, но по-другому...

Одиннадцати лет от роду он отправился в школу во второй класс. К тому времени он неплохо понимал по-немецки, но деньги считал по пальцам и не умел писать.

«Один мальчик собрал пять шишек, другой девять шишек, третий на пять шишек больше их обоих», — диктовала учительница...

Какая ель, какая ель — какие шишечки на ней!

Он не мог сидеть с этими потными, сопливыми пацанами, которые жадно ели бублики на переменках, стучали медяшкой в расшиша и старательно писали: «Б, Е — бе». Они это проходили, а он через это уже прошел. Он прошел мимо, стороной, у них была своя компания, у него своя. Он был переросток. И учителя не знали, что с ним делать, некоторые из них малость его побаивались.

«Ваня, может, мы к тебе прикрепим Толю? Он поможет».

Приходит Толя и начинает: «На одной ели висели три шишки, на другой...» Мальчик старательно объясняет, а Ваня улавливает только окончания слов, сами слова будто протекают сквозь него, как вода сквозь растопыренные пальцы.

«Вань, покажи медаль», — тянет уставший от Вани Толик.

«Щас», — легко соглашается Иван.

И они оба рассматривают Ванину медаль «За отвагу».

«А пистоль мой, «вальтер» видел?» — заводясь, говорит Ваня.

«Не-е», — бледнея, говорит Толик.

«Щас, — говорит Иван. — Сделаем. — И лезет на чердак. — Щас, Толик, постреляем немного».

Но это обман. У Вани нет «вальтера». И не было никогда. И в отряде Ваня только несколько раз держал пистолет в руке и четыре раза выстрелил в воздух. Но он запомнил навсегда приятную тяжесть черной аккуратной игрушки с рифленой, как шоколадка, плоской рукоятью. Впрочем, если очень захотеть, то можно и достать кое-где. У него есть дружки фронтовые, у которых кое-что оставлено при себе, про запас. Учиться он не мог, учился плохо, невнимательно, без интереса, был он старше всех по возрасту в классе, сидел тихо, только иногда, если его разозлить, ругался страшно и непотребно и плохо действовал на ребят...

К старшим тянет Ваню, к взрослым, с ними есть о чем поговорить, есть что вспомнить. Среди одноклассников он как волчонок среди домашних щенков. Он их и по возрасту старше — старше на годы войны и плена. И неохота ему гонять весь вечер с ребятами консервную банку на пустыре или тряпку, туго свернутую в мяч. Он идет к своим товарищам, к инвалидам Великой Отечественной, сидит у них в гостях, идет с ними «на уголок» и знает тот час, ту минуту, когда, отбросив костыль и впившись в его плечо руками, кто-нибудь из них замотает головой в муке, в тоске и заплачет или запоет: «Стоял солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд...» А иной раз поднесут Ивану кружку пива или полстаканчика беленькой, и голова закружится одновременно горестно и блаженно, и тоже захочется плакать или петь. А когда придет, припозднившись, домой, мать начнет ругаться, и кричать, и грозить: «Вот я к директору завтра пойду», — а он скажет ей тихо, внятно: «Положил я на твоего директора», — и ляжет на кровать, скинув ботинки, но не сняв тужурку и штаны, так как привык спать одетым.

Так прошло два года. Его уговаривали, стыдили. просили, оставили на второй год в третьем классе. Он был безучастен ко всему, что делалось в школе. Жизнь его была не здесь... Вечера он стал проводить с темными типами, с наглыми огольцами, которые хвалились тем, что могут достать денежки в любой момент, и не просто одну бумагу, а много, столько, сколько им надо. Они и послали его в магазин с подделанными продовольственными карточками: «Ты фронтовик, оголец, если тебя и наколют — ничего не сделают. Ничего тебе не будет...»

Тогда ему действительно ничего не было... Обошлось на первый раз...

И Ваня подумал, что и в другой раз обойдется. Глупый был Ваня, молодой.

А в другой раз взял Ваня в школе большую вазу, хранившуюся под стеклом, переходящий кубок области за спортивные достижения.

Начали искать кубок, вся школа всполошилась, а кубок тот серебряный давно уж Ванины дружки пропили.

Теперь уж по второму разу мало кто за него заступался. Теперь уж и медаль его не спасла. Знали его в городе теперь как шпану.

Были у него и всякие драчки, и пьянки, и приводы, и школа больше не верила в него. Да и он сам не верил, что будет учиться.

И как мать ни старалась, как ни убеждала, что больше он не будет, — на этот раз убедить не удалось.

Получил срок. Отправили в детскую колонию.

«Он нуждается в воспитании наказанием, — говорили матери. — Только наказание сделает из него полноценного члена общества».

Перед отправкой в колонию он прошел через детприемник. В камере было тридцать — сорок пацанов.

— Давай знакомиться, керя, — шепелявя и дружески улыбаясь, обратился к нему бледный парень с круглой аккуратной плешкой на стриженной голове, видно от лишая. Он все время щурил глаза, будто на него лампу наставили.

— Имя мое — Иван, фамилия — Лаврухин, а кличка у меня Партизан, — важно и серьезно сказал Ваня.

— Где же тебя так накликали? — улыбаясь и все время щуясь, с интересом и симпатией рассматривая Ивана, спросил плешивый.

— В Эрфурте, — ответил Иван, — в пересыльном лагере 22/30.

— Ишь куда занесло, — сказал плешивый и присвистнул. — Только, Ваня, будь добр, забудь свою прежнюю кличку, к здешним условиям она не подходит. У вас, в Париже, — одно, у нас — другое. — Он покачал пальцем перед Ваниным носом.

— Почему в Париже? — раздраженно сказал Ваня. — Я же говорю, в Эрфурте.

— Ну, какая разница, керя, где ты был. Мы тут тоже много ездим... Вот, например, ты можешь ответить, где ты сейчас находишься?

— То есть как?! — удивился Ваня. — Что ж я, дурачок, что ли? В пересыльном детприемнике.

— А где твоя постоянная прописка, Ваня, в данный момент?

— Моя под Оршей, — сказал Ваня, — в райцентре. А что такое?

— А то самое, что постоянная теперь недействительна. Так что надо получать временную.

— Да иди ты, — сказал Ваня, — что ты мне тут рога крутишь!

— Ваня, хоть ты и артист и на гастролях был в Париже или еще где, а без прописки, Ваня, нельзя жить в обществе. Никому нельзя. Беги сюда скорее, Ваня.

Ваня не двинулся. Тогда бледный огорченно посмотрел на Ваню и сказал своим ребятам:

— Дурачок, сам не хочет. Придется его прокатить на велосипеде.

Ваня повернуться не успел, как человек десять, до того сидевших без движения, без улыбки, без звука, кинулись на него, заломили руки, раскорячили ноги и потащили его судорожно, по-рыбьи бившееся тело к плешивому. Иван изо всех сил вырывал ноги, и они как бы повторяли движения ног велосипедиста. Плешивый, громко и деловито считая, начал бить его по лицу. Видно, натренировался хорошо. Четко, звонко он бил и весело, деловито, без всякой злобы, будто всю жизнь занимался этой важной, необходимой работой. Сосчитав пятнадцать раз, он сказал:

— Прописан временно в двенадцатой камере. Что и удостоверяется печатью.

И он врезал Ване уже покрепче, напоследок, задержав и впечатав грязную ладонь в Ванин лоб и переносицу.

Парни чуть ослабили свои объятия, и Ваня кинулся на плешивого, чтобы ударить гада между глаз. Но пацаны тут же свалили Ваню на пол, и один шепнул ему на ухо:

— Зря обижаешься. Все прописку проходят, а ты что, особенный?

Они оттащили его на нары и положили как использованную, уже ненужную вещь.

Плешивый сказал, шепелявя и усмехаясь:

— Не обижайся, Ванюш, что мы тебя побуцкали. Закон есть закон. Без прописки, Иван, жить в дружном коллективе нельзя.

И у Ивана обида скоро прошла. Потому что появились в камере новички, и теперь он сам «прописывал» их и не удивлялся. К порядку человек быстро привыкает.

В детприемнике ему, надо сказать, даже понравилось. Он быстро здесь сориентировался и был не последним человеком. Все эти «покупки» и хитрости он быстро раскусил, да и сам мог кое-что подкинуть. Это ж не

школа, где надо считать, как идут два парохода, и запоминать, в каком году родился великий русский писатель. Здесь каждый день был непохож на другой.

К малолеткам относились все же не так строго, как к взрослым, и они, в свою очередь, бузили вовсю. В камере попадались пацаны, у которых была уже вторая, а то и третья судимость. Эти кое-чему могли научить.

Но вот кончилось пребывание в детприемнике, и этапом их повезли в колонию. Ночью проснулся Ваня, увидел за перекрещенным оконцем тусклые огни, мелькающие столбы, ощутил кислый, спертый запах, который стоял густо, прочно; ни дуновения ветерка, ни капли кислорода — оттуда, с летящей этапной дороги, ничего, только стон, храп и тишина, да конвойный подремывает, да жесткий стук колес, который можно сложить в любое короткое слово. Например, в слово «зачем». «Зачем я здесь? Зачем все это? Зачем везут меня с этими пацанами? Ведь меня уже везли однажды, и я вернулся, и вот снова везут... Тогда я ждал победу, я даже бомбежку нашу ждал, я и а ш и х бомб не боялся: свои своих не убивают. А теперь я кто? Я не свой, не фронтовик, не пленный, не партизан, не человек, а этапный, воришка по статье такой-то. Зачем?»

В вагоне душно, и ребята храпят, а иногда стонут, зовут во сне мать, маму... Иван приподнял голову и, почти теряя сознание от этой духоты, от ночных полувскриков, от железного грохота дороги, сполз на пол и на четвереньках пополз к тамбуру... Конвойный вроде бы спит, да и стрелять не будет. По малолеткам не положено... Лишь бы выползти в тамбур, а там...

— Ты куда это, парень? — негромко окликает охранник. — Тебе чего надо?

Ваня цепенеет... «Зачем, — думает он, — зачем окликаешь? Ведь спал же гад... Сейчас прыгну — и черт с вами всеми».

Ваня облизывает губы, сидит на четвереньках, смотрит вполоборота на освещенное лампой крупное бледное лицо охранника с красными от постоянного недосыпания глазами.

— Живот... у меня, дядя, — бормочет Иван.

— Так бы и обратился, а то ползет, как таракан... Идем сопровождаю.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда-то Иван делал покупки быстро и четко, без долгих прикидок и мучительных сомнений. Он был, что называется, в курсе дел, и наметанный глаз сам выхватывал то единственное, что Ивану было необходимо. А если этого единственного не было, то Иван шел к заведующему секцией и говорил, что приехал из Заполярья в отпуск, и давай, браток, сделай, к примеру, свитер или ботинки, а за мной, ясное дело, не станет... Ах, нет, так, может, на складе найдется... А если на складе не найдется, то еще где-нибудь, Ивану это без разницы, где, ему важно одно, чтобы он в своем далеком, но любимом трудовом краю мог надеть на себя вот этот самый теплый свитер синего цвета (из всех цветов Иван почему-то предпочитал синий милицейский цвет). Как правило, находилось на складе. Но это бывало в столице, или Ленинграде, или каком-нибудь другом большом городе, где гастролировал в данное время Иван. А сейчас времена переменялись, и Иван за семь лет своей последней отлучки поотстал от моды и не знал, что ему надо, — ему теперь все было надо... Да и все теперь было другое — и разговор, и подход, и бумажник (тощенький, трудовой), и вид, и сама его жизнь теперь была другая. Не так-то просто и легко теперь было Ивану что-нибудь купить. Правда, товар не больно переменялся за эти годы. Впрочем, кое-что все же проблескивало, то, чего не было раньше в магазинах, что всегда доставалось из-под полы. Так, например, белые нейлоновые рубахи, за которые Иван всегда переплачивал трешник, лежали навалом в целлофановых пакетах да еще и с легкими пластмассовыми полупрозрачными вешалочками в довесок, как говорится, «ешь — не хочу». Или шляпы с узкими жесткими, как у цилиндра, полями, которые в прежние времена были верхом пижонства, стояли теперь горой, и никто их не брал. Прекрасные свитеры уж на совсем малорослых мужчин, а может, на лилипутов из заезжего цирка, украшали собой секцию шерстяного трикотажа. Ивану сразу же захотелось купить огромный свитер и маленький вот так просто купить, без борьбы, без очереди, без «верхушки», за свою стоимость, на свои деньги...

Но начинать все-таки следовало с костюма, поскольку

одет он был в настоящее время в летний, не по сезону и порядком устаревший костюм, тот самый, в котором его забрали. Когда он еще был на воле, только входили в моду пиджаки с разрезом, а сейчас уже висели с двумя разрезами, а обыкновенных пиджаков без прорезей уже как будто никто и не носил. Девушка принесла Ивану клетчатый пиджачок, но он с трудом налез на его плотную, массивную фигуру, а когда Иван обернулся и поглядел в зеркало, то увидел, что разрезики вздымаются и торчат сзади, как крылышки. Серега засмеялся:

— Братан, а ты на империалиста похож.

— Это почему же? — удивился Иван.

— У них такие же сюртучки с фалдами.

— А где же ты видел империалистов?

— В газете. Их там часто рисуют... Например, дядя Сэм и всякие другие. И все почему-то с фалдочками.

Девушка-продавщица, стоявшая около них и ожидавшая с лицом каменно-отчужденным и даже несколько осуждающим: мол, разговариваете, щупаете, а все равно ведь брать не будете, — усмехнулась и сказала:

— Вам, товарищ, нужен костюм четвертого роста, но у нас сейчас этого номера нет.

— А без этих крылышек можно подобрать? — спросил Иван.

— Каких еще крылышек? — сухо сказала девушка, не желая понимать шуток. — Вы что, шлицы имеете в виду? (Она училась в торговом техникуме и любила, чтобы вещи назывались своими именами.)

— Вот именно, без них, — сказал Иван и внимательно посмотрел на девушку.

Хотя он разговаривал с ней и раньше, хотя вот уже минут десять он стоял около нее, поглощенный костюмом, он как-то пропустил мимо своего внимания и сознания эту девушку. И вот сейчас, отвлекшись от забот насущных, от пиджаков и брюк, он вдруг понял, что так просто отсюда не уйдет.

Девушке было на вид лет двадцать, ну от силы двадцать два. Лицо у нее было смуглое, а глаза зеленоватые, цвета бутылочного стекла, миндалевидной формы, к тому же еще удлиненные карандашиком. Она показалась Ивану похожей на южанку, но не на грузинку или армянку, а скорее на болгарку. Иван болгарок видел только в детстве

в Германии и не знал толком, какие они из себя, но почему-то именно болгаркой представил он себе эту девушку и пожалел, что не умеет говорить по-болгарски. Да и не только по-болгарски не умеет, по-русски он с девушками тоже давно не разговаривал, а с такими, может быть, не разговаривал никогда... Он поглядел на нее снова, внимательно, но быстро, почти мгновенно. Он умел и привык смотреть вот так, не в упор, а как бы вскользь, мимо, но какой-то блиц, сидящий в голове, вспыхивал, четко и надолго фиксируя нужный ему облик. Некоторые фотографии он выбрасывал из головы как ненужные, другие оставлял на годы, может быть, навсегда, и помнил цвет глаз и волос человека, когда-то мгновенно отснятого им на свою невидимую пленку.

Что же было на этой фотографии, на моментальном снимке девушки из секции мужской одежды? Было лицо, очень смуглое, как бы отчужденное и неприветливое, но очень подвижное и потому обладавшее множеством еле уловимых выражений, и неприветливость могла, казалось, тут же смениться радушием, а радушие, может быть, даже нежностью... Может быть... Только лишь может быть — всего-навсего предположение, смелый прогноз, своего рода мечта.

И отдельно от этого строгого, совершенно на первый взгляд далекого от Ивана лица (тысячи и тысячи километров их отделяли, моря, материка, населенные пункты, пятилетки, покрой одежды, поколения советской молодежи, музыкальные мелодии) существовали ноги, выдержанные в каких-то богом данных пропорциях, в чулках цвета парного молока, похожие на стволы молодых деревьев со светлой корой. Ствол не тонкий и не толстый, сильный, облитый нежно корой, нейлоном или эластиком — этого Иван точно не знал. Они были открыты на всеобщее обозрение, настолько открыты, что стали чем-то нереальным, вроде рекламы, и совершенно отдельным от Ивана, никак и никогда ему не предназначенным. Иван поймал себя на том, что все это вызвало у него совершенно неожиданное чувство, может быть, даже робость перед этой откровенной и смелой красотой, которая не знает, что было время, когда ее полагалось стесняться и прятать. Иван аж задохнулся от восхищения. Девушка все же не очень осознавала власть над людьми. Открытость, уве-

ренность и женственность этих линий, короткого, блестящего халатика, серебристых высоких сапог почти до колен, как у дрессировщицы в цирке,— все это как-то мало вязалось с лицом очень юным, смуглым, будничным, исполненным забот по отделу готового платья.

Иван хоть и вернулся издалека, но отнюдь не был снежным человеком. Когда его забрали, в шестидесятом году, в последний раз, уже начинались новые веяния моды, с которыми тогда никак не могли справиться сатирические журналы: мужчины носили узкие брючки, а девушки — юбки колоколом, довольно короткие и широкие, как парашют. Нечто шарообразное, а-ля Бабетта, возвышалось над их головами, а они поцокивали по земле тоненькими, хрупкими, как сосульки, остренькими, как сапожное шило, каблучками. В колонии Иван видел вольнонаемных учительниц и врачей, некоторые колебания моды можно было ощутить и там, так незаметно он привык к тому, что женщины ходят в удививших его поначалу сапогах и даже нашел (хотя и не сразу), что это красиво... Многие ребята в колонии вырезали силуэты красивых женщин из «Экрана», из «Советской женщины», из журнала «Работница» и приклеивали картинки над своими нарами.

А когда Иван возвращался домой, когда пошли первые часы после освобождения, в поезде он глядел и не мог наглядеться на множество невест откуда взявшихся девушек в коротеньких юбочках, в чулках всех цветов, от белых до зеленых, с расписными цветами, энергичных, самостоятельных и как бы очень независимых девушек. Все это было уже не случайностью, а реальностью, повседневностью, и нелепо было с этим не соглашаться. Следовало наблюдать, принимать и не удивляться ничему. Иван еще не знал, как побыстрее ко всем этим жизненным явлениям приспособиться, но был уверен, что все-таки приспособится; он и не к таким явлениям приспособлялся. А сейчас он смотрел на эту девушку, неожиданно растерявшись и не зная, что предпринять... Он почувствовал даже боль от сознания ее недоступности. Однако Иван не мог себе позволить ограничиться только лишь такими чувствами, жалкими вздыханиями и безрезультатным уходом. Он твердо усвоил в своей жизни истину, что под лежащий камень и вода не течет, и потому, несмотря на сложные и да-

же противоречивые чувства, владевшие им, он принял твердое решение: любой ценой познакомиться с этой девушкой и немедленно договориться о встрече. А раз решение принято — надо его выполнять, как бы это ни было тяжело. Вот тут и подумал Иван, как бы пригодился ему не купленный еще костюм, насколько увереннее он чувствовал бы себя в новой, хорошей шкуре, чем в этом летнем, старом костюмчике из слегка помятой, немнущейся, синтетической ткани «элана». Не выказав ни волнения, ни тайной заинтересованности, Иван заговорил кратко и деловито:

— Значит, сейчас моего размера нет. Когда же можно заглянуть?

— Не знаю, — сказала девушка. — Мы план уже выполнили, ничего нового в этом месяце не ждем. Дня три назад получили несколько финских и распродали тут же.

— А его не было три дня назад, — подключился к разговору Сережа. — Он только вчера приехал с армии.

Девушка с удивлением взглянула на Ивана. Староват он был для только что отслужившего. Впрочем, он мог быть и офицером... Для офицера в самый раз подходил... Тридцать с хвостиком.

— А эти самые финские... Они из чего? Из шерсти? Или из этого самого?

— Чистая шерсть с териленом, лучшего товара у нас не бывает, — сказала девушка, с оттенком жалости поглядев на этого офицера, отставшего от моды, облаченного в куцый костюмчик «времен Очакова и покоренья Крыма».

Иван поймал этот взгляд, понял его и сказал:

— Долго я отсутствовал в здешних краях, другую форму носил, сейчас малость надо прибарахлиться.

Разговор приобретал уже более личный характер, самую малость выходя за рамки общения клиента с продавцом. Это было отраднo, и это следовало продлить и углубить. Девушка собиралась что-то ответить, но в этот момент заведующий секцией, лысый, важный мужчина, подошел к ней и сказал вполголоса, но так, чтобы Иван услышал:

— Ты что, Афанасьева, ля-ля разводишь в то время, как люди ждут тебя в примерочной?

Действительно, из примерочной, то и дело теребя плюшевую занавеску и просовываясь сквозь нее, сверлил

глазами продавщицу какой-то полураздетый тип. Девушка подошла к нему, а тип, бесстыдно натягивая новые штаны, все приставал к ней с вопросом, не узки ли они ему в поясе.

Иван оказался в трудном положении. Уйти он не мог и не хотел. Ждать было глупо: это уж больно откровенно выдало бы его интерес к ней в служебное время и могло обернуться против нее, а значит, и против него. К тому же Серега все время тащил его в сторону. Мальчику порядком надоело торчать в магазине. Но Иван все же остался. Он перешел в секцию плащей и пальто и стал с усилием передвигать тяжеленные, будто набитые камнями, тесно прижатые друг к другу демисезонные пальто, разглядывая ценники и ярлыки. Наконец девушка покончила с типом из примерочной и пошла в сторону, туда, где висела табличка «Посторонним вход воспрещен». Иван решительно вышел из своего укрытия и догнал ее.

— Так как же договоримся? — сказал Иван хмуро и даже как бы зло; такой тон он принимал всегда, когда сильно волновался и чувствовал неуверенность.

— Это насчет костюма? — сказала девушка, еле заметно усмехаясь, видимо удивленная его упорством. — Ну, загляните на неделе, может, что-нибудь и будет, — добавила она профессионально равнодушным и тусклым тоном.

— А мне нельзя на неделе. Мне сегодня надо, — сказал Иван.

— Значит, сегодня в старом ходите, — сказала девушка.

— А что вы сегодня делаете?.. Вечером? — уже в открытую, не заботясь о тылах и не думая о поражении, спросил Иван.

— Как что?! — сказала девушка.

В вопросе было недоумение: мол, при чем тут это, какое отношение имеет мой вечер к костюмам финским, польским и прочим и к вам, странный человек непризывного возраста, в совершенно не офицерской ветхой одежке? Какое отношение имеете вы к моему вечеру?

Так говорили ее глаза, почти холодные, отчужденные, неодобрительные, наполненные зеленым светом, который не мог расходоваться на Ивана или кого-то другого, ему подобного, а предназначался молодому, двадцатилет-

нему, красивому, возможно даже длинноволосому, молодцу.

Это злило Ивана, и он в мыслях своих не допускал к ней такого, казавшегося ему худосочным, прыщавым, жалким и ничего в жизни не понимающим, с юношески слабыми скулами, с нездоровой пигментацией переходного возраста, с ломким голосом и детским гонором, с сердитым отцом и пятью рублями в потном кулачке. Ее зрелая женственность в его сознании не совмещалась с непрочной, непроверенной мужественностью таких юнцов...

И на мгновение он ощутил себя старым.

Однако он решил не отступать до того момента, пока есть хоть один шанс договориться с ней о встрече. Иван знал, что ничего плохого ей не сделает, и что он хочет только хорошего, и что ему, в сущности, от нее ничего не надо, а просто вот встретиться с ней, посидеть в хорошем месте, сходить в кино... Ни о чем другом Иван сейчас и не думал.

— Так что же все-таки вы сегодня делаете? — с тихим упорством повторил Иван.

Она как бы приготовилась уже полоснуть его глазами, всем холодом зеленой жести, губы ее уже почти сложились, приготовившись произнести фразу такого типа: «Какое вам, собственно, гражданин, дело?», или: «Куда мне надо, туда и собираюсь», или совсем простую: «Шел бы ты куда подальше», — но что-то остановило ее. И она сказала кратко, но с исчерпывающей ясностью:

— Я собираюсь вечером на танцы.

Иван чуть покачнулся, но спросил с надеждой:

— С кем-нибудь конкретно или просто так?

Девушка помолчала, поглядела на Ивана, как на дурачка, и, усмехнувшись, решив продолжить игру до конца, сказала:

— Просто так.

Тогда Иван в состоянии легкого опьянения и почти счастья спросил с кротостью, которой он в себе дотоле не знал:

— А мне можно?..

— Туда никому не заказано, — сказала девушка.

— Да, но я здесь ничего не знаю. Где тут танцуют?

Положение иногородца, приезжего человека было теперь его преимуществом. Иногородец требовал к себе по крайней мере некоторого внимания и вежливости.

— Это в городском саду, на закрытой площадке... Около кинотеатра «Космос», — сказала она.

— А когда там? — спросил Иван.

— В семь часов, — сказала девушка.

— Афанасьева, ну нельзя же так! — крикнул девушке заведующий секцией.

Опять все повисло на волоске. Иван спросил, зачем-то понизив голос:

— А вы лично когда придете?

Наступила краткая пауза.

— Часов в восемь, — сказала девушка.

— Я вас тогда встречу, — сказал Иван. — Можно?..

Девушка не ответила, только пожала плечами, мол, ну что ж с вами сделаешь, встречайте, если вы такой настырный. Кивнув Ивану, она отошла. Тут Иван вспомнил, что не спросил, как ее зовут. Он было хотел ее догнать, но потом подумал, что может этим все испортить... «Подумаешь, имя, — решил Иван. — Не в имени дело, а был бы человек хороший». Иван даже вспотел от напряжения. Чувство удовлетворения и вместе с тем беспокойства владело им. «Вечер утра мудреней; не суетись...» — твердил он про себя.

А рядом уже был заскучавший братишка.

— Ну как, братан, договорился, наконец, насчет финского? — спросил он.

— Вроде бы, — ответил Иван уклончиво.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В его жизни женщины не занимали особого места. Да и в колонии он не так уж тяготился, как другие... На воле он почти всегда имел дело с женщинами своего ремесла. Иван понял их давно и знал им цену... Одни были нежнее, доверчивее, другие попроще, поглубе, но все играли в деле роль второстепенную, подсобную, а оттого особенно жалкую. Ведь женщине больше, чем мужчине, противопозаказано бродяжничество, бессемейность, воровство. Они были особенно приметными, как бы отмеченными общей печатью этой среды. Иван за версту мог в них узнать «своих»: по низким, прокуренным голосам, по особому жеманству и притворству, по грубому, деланному кокет-

ству, по неряшливости, соседствующей с густым площадным гримом, по безвкусной броскости одежды. Все они хитрили и притворялись, но расколоть их было легко. и если они и были артистками, то самого что ни на есть погорелого театра, а те, кто поудачливей и поумней, рано или поздно уходили из блатной компании, обзаводились семьями.

Если среди мужиков он встречал людей интересных, сильных, способных спокойно и расчетливо рисковать жизнью и потому с каким-то особым цинизмом к ней относящихся, то среди женщин таких он не встречал... Ходили в колониях истории о каких-то атаманшах; различных нинухах, райках, курносых с прекрасной наружностью и хитрой головой, но это все были рассказы, чем-чем, а байками, всякого рода словесной «туфтой» так и наполнился мир, к которому до вчерашнего дня принадлежал Иван. Только Иван таких женщин никогда не встречал. Он и сам в юности придумывал и переделывал множество историй, а потом вновь слышал их от кого-нибудь как самую что ни на есть чистую правду. Вот в таких байках и действовали бесстрашные и соблазнительные нинухи.

Один раз в юности, впрочем, Иван был влюблен в одну «курносую» и все, что воровал, таскал ей и строил различные планы совместной бурной жизни, пока не был поколочен довольно жестоко ее более взрослыми «авторитетными» дружками.

Бытовало в его среде понятие: «поджениться», то есть быть как бы прикрепленным к одной и той же женщине сравнительно длительное время, иметь с ней общий котел, постель и приварок, пока не надоест или пока не заметут обоих. Это был как бы вид блатного брака, в котором существовали почти те же семейные законы, что и у нормальных людей, то есть у «фраеров», у вольняшек. Как бы те, но не совсем. Женщина работала свою работу, она была приманкой, ловила дурачков, что попадались на удочку, ну, а дело Ивана или других было снять жертву с крючка и хорошо почистить. Были у женщин и другие обязанности, часто им доверяли продажу краденого.

Многие из них были очень изломаны, истеричны, жалостливые и добрые по пустякам и часто более жестокие, чем мужчины, когда речь шла о человеческой

жизни. Они всегда якобы любили кого-то одного и в душе были только ему верны. В душе. Истории, которые они рассказывали, были похожи одна на другую: как только начнет говорить с влажными глазами, веря самой себе, Иван уже знает продолжение... Только он еще не знает в точности, кто именно натолкнул ее на такой путь: то ли злой отчим, который выгонял из дому и приставал, или негодяй, обманщик, который обещал жениться, в пятнадцать лет лишил всего, а затем смылся... Иногда Иван даже сам досказывал за них. Они удивлялись и спрашивали, широко раскрыв глаза: «Откуда ты, Ваня, все знаешь?»

Ко многому привык Иван в своей жизни, но их руготня, особо затейливая, изощренная, страшная, когда они затевали ссору между собой, до сих пор вызывала у него некоторую оторопь.

Знал ли о них Иван что другое? Скорей догадывался, чем знал. Любил ли он когда-нибудь? Он не задумывался над этим. Его тянуло к ним, а потом он остывал. Конечно, бывали у Ивана женщины и из другой среды. Но с ними было труднее, часто встречаться он не мог, должен был все время темнить и быстро уставал от этого.

Впрочем, был один случай — как говорится, оставил след в его душе. Тогда Иван получил второй срок, который отбывал уже во взрослой колонии. Стал он поумнее и пошел в школу. Учился в восьмом классе. В его классе учились и сорокалетние мужики.

Старшеклассников в колонии было немного, кое-кто с трудом дотягивал до седьмого класса, а дальше не шли. Ивану тоже поначалу школьные премудрости давались с трудом. Надо сказать, что некоторые готовы были скорее вкалывать на лесоповале лишние часы, чем писать в классе контрольную. И экзаменов они боялись ничуть не меньше, чем штрафного изолятора или облавы на картежников. Видимо, экзаменов люди боятся всю жизнь, до седых волос, до смерти.

Однако вскоре Иван почувствовал определенный интерес и даже вкус к учению. Память от природы у него была хорошая, и вот странно: то, что в детстве в нормальной школе казалось никому не нужной ерундой, теперь все всерьез интересовало. После двух лет раскочки он начал учиться старательно и даже с удовольствием.

И оценки шли соответствующие, особенно Иван налегал на математику и на русский письменный. Опыт жизни его научил, что надо уметь считать как следует, иначе обманут, и толково, по возможности без грубых ошибок писать прошения и заявления о сокращении срока. Без этих двух предметов ни в одном деле, выходит, не обойдешься. К остальным же предметам — таким, как биология, история, литература, — он относился как к чему-то несерьезному, хотя иногда и небезынтересному. Так, например, он любил слушать про полководцев, про воинов, но слушать, а не запоминать цифры и имена.

К ним в то время назначили новую учительницу литературы, вольнонаемную, впрочем, как и большинство учителей. Александрова Галина Дмитриевна, если полностью, но учащиеся звали ее между собой — Гала. Это была не кличка, а просто нормальное ее имя, ведь, в сущности, и по возрасту и по виду она была не важная Галина Дмитриевна, а молодая девушка — Гала.

Держала она себя довольно уверенно и свободно, отчего многим в классе показалась исключительно нахальной. Дело в том, что в колонии привыкли к другим формам обращения: к настороженно-опасливому и оттого, несмотря на металлические ноты, робкому тону или к назидательному, резко-приказному, когда даже в короткие часы школы тебе не дадут забыть, кто ты такой есть. Часто шло это не от характера преподавателя, а от класса, от этих людей, которые даже при самом спокойном к ним отношении никак не хотели превращаться хотя бы на сорок пять минут в более или менее нормальных учеников. Нелегко было там учиться, а еще труднее было там учить.

Гала преподавала одновременно русский язык, литературу и историю. Она, видно, недавно закончила институт, память ее не замусорилась житейскими делами и была исключительно свежа, и она сыпала наизусть множеством цитат из великих людей, датами исторических событий, стихами русских поэтов по курсу восьмого класса.

Казалось, она никого не боится. Это не всем нравилось.

В ней были азарт и молодость, и если уж она хотела кого посадить на место, «пришпилить», то делала это от души, без криков, не выгоняя из класса, а ехидным

словцом, с шуточкой или ледяным равнодушием. Она всегда со сдерживаемым, но страстным азартом вкладывала всю себя в любой, даже маленький поединок с учениками. Иван придумал ей кличку, но втихую, для одного себя, не обнародывая перед дружками. Он звал ее про себя «гражданка Бугримова». Потому что так или иначе, а была она в первую очередь не учительницей старших классов, а укротительницей диких зверей, и в ее деле главное было, чтобы они послушно сидели на тумбах.

Ивану она попеременно то нравилась, то неимоверно его раздражала. Нравилось, как она, надменно усмехаясь и не перебивая, слушает глупости учеников, чтобы потом с блеском в глазах, ледяным тоном отбрызнуть кого-нибудь из них, нравилось, как с нескрываемым счастьем слушает хороший ответ («алле гоп, молодец Акбар, получишь кусочек свежего мяса»), нравилась ее челочка и то, что всегда она была свеженькая, гладенькая, чистенькая, и то, что туфли ее, несмотря на осеннюю грязь в зоне, блестели и были такими же, какие носили в то время в Москве, а может, и в Париже (если носили на тонком каблуке, то и у нее тонкий, если на толстом, то и у нее такой же). Иван, правда, не знал, что носят в Москве, но чутье ему подсказывало: укротительница не отстанет от всего нового, передового. Нравилось и то, как она читает стихи, чуть нараспев, с особой такой тихой задумчивостью, с влажными глазами, будто она сама по меньшей мере их написала. Нравилась и маленькая рука, самозабвенно сжимавшая мелок и нервно, напряженно-страстно стучащая этим мелком по доске; это напоминало морзянку или шифр через стену камеры: удар, тире, пауза, удар, тире, цок, цок, по черной, мутной от меловой пыли доске, цок, цок — вперед, вперед, к свету, к знаниям, к чему еще?

Вот это и нравилось и раздражало.

Уж слишком она старалась, будто и вправду от этого что-то в их жизни изменится, уж слишком, сама того не замечая, подчеркивала пропасть между ее двадцатью тремя годами и их таким же или более почтенным возрастом. Ее жизнью, в которой были экзамены, семинары, отметки, знания, диплом, и их, в которой были следствия, суды, пересылки, КПЗ, новые сроки, побеги, УК РСФСР, УК союзных республик, знания, знания...

Уж больно ярко сверкают эти нарядные ножки в изог-

нутых туфлишках — каким-то нейлоновым струящимся светом другой планеты, Марса, а может быть, Венеры.

И низкий ее голос, самозабвенно читающий:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

«Куда, куда ты тащишь меня,— женский голос, чуть с хрипотцой и низкий, но женский, такой женский, что сердце останавливается, какая еще есть дорога на земле, которая не пылит, и зачем эти обманные, вкрадчивые, полушепотком, слова?.. «Подожди немного»... А чего мне ждать?»

Все это будоражило Ивана, так жестоко ударило по мозгам, что его симпатия к ней и даже некоторое уважение, которое она ему внушала, вдруг выливались в острую неприязнь, почти ненависть. «К чему мне эта отравка, эти баюкающие стишки? — думал он.— Чтоб в петлю полезть? Нет уж, тут не цирк, нечего показывать фокусы. Не утешай меня без нужды, женщина, не усыпляйте, гражданка, нашу бдительность. В этом кипучем мире и в этом отдаленном, богом забытом уголке нужна бдительность, бдительность и еще раз бдительность».

Однажды после ее уроков Иван взял в библиотеке томик Лермонтова из собрания сочинений и нашел там такое стихотворение:

Не дожидаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни, будто годы;
И окно высоко над землей.
И у двери стоит часовой!

Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки!..
Мы проснулись сегодня с зарей,
Я кивнул ей слегка головой.

Не грусти, дорогая соседка...
Захоти лишь — откроется клетка,
И, как божии птички, вдвоем
Мы в широкое поле порхнем.

.

Избери только ночь потемнее,
Да отцу дай вина похмельнее,
Да повесь, чтобы ведать я мог,
На окно полосатый платок.

Стихотворение это взволновало Ивана, и в тот же вечер он выучил его наизусть. А на следующий день на уроке он поднял руку и сказал:

— Прочтите нам стихотворение «Соседка»... а то все «Бородино» и разные «Тучки» проходим, а это, например, нам более близко. Так вот прочтите, пожалуйста, и объясните, в чем его смысл.

Учительница малость помялась. «Сейчас посадит: не по программе», — подумал Иван. Но она сказала с видом простодушного огорчения:

— Я его наизусть не знаю.

— Тогда я прочту, — сказал Иван. — Не возражаете?

— Нет, — сказала она. — Отчего ж, читайте.

Все притихли, ожидая от Ивана какого-нибудь подвоха, «покупки». Иван прочитал стихи, подражая ей, ее интонациям.

— Теперь разрешите один вопросик, — сказал Иван. — В чем же смысл данного стихотворения?

— Ну, а вы сами как думаете?

— А я думаю, в том, что из тюрьмы есть только один путь — побег.

— Вы, Лаврухин, больно практически стихи понимаете или делаете вид, что так понимаете. Это не о том ведь.

— А о чем же? — спросил Иван.

— О любви, Лаврухин... Слышали такое слово?

— Слышать-то слышал, но лично не видел.

— Значит, сам виноват, что не видел.

— Ах, и здесь виноват... выходит, кругом виноват. Виноват, виноват, виноват...

После урока, когда их уводили в бараки, Иван задержался на секунду и сказал как бы про себя, шепотом, но достаточно громко, чтобы она услышала:

— А оказывается, вы не все стихи правильно понимаете.

Иногда казалось Ивану после того эпизода, что она более внимательно и с большим интересом поглядывает на него, чем на других. И поэтому Иван стал ходить на ее уроки с особым настроением, словно чего-то ожи-

дая, только сам не знал чего: то ли радости, то ли подвоха.

Однажды попал он в штрафной изолятор и пропустил неделю занятий. Он очень маялся и мечтал поскорее отсюда вылезти. А когда вернулся, один друг сказал ему, что Гала как-то однажды справлялась: «А где же, дескать, Лаврухин проветривается?» — на что было отвечено, что Лаврухин в данный момент пребывает на заслуженном отдыхе.

Когда Лаврухин появился в классе, он написал ей записку, в которой просил задержать его после уроков. У Ивана на то было не много надежд. Она попросту могла отмахнуться от его просьбы, мало ли какая блажь может взбрести ее ученичкам.

Однако после уроков она сказала дежурному по подразделению, чтобы Лаврухина оставили. Дружки, уходя из класса, стали скалить рожки и знаками давали советы, как себя вести наедине с ней. Но вот класс опустел, теперь они действительно были вдвоем.

— Ну, что вы хотели мне сказать, Лаврухин? — спросила Гала, прищурившись и в упор глядя на Ивана.

А что он хотел сказать? Иван-то знал — что. Как — он не знал. Он боялся, что его потянет не туда, «не в ту степь», что он будет разыгрывать из себя бог знает что — по привычке, ставшей необходимостью, а может, по необходимости, перешедшей в привычку. А ему этого сейчас не хотелось...

Ну, а правда... она тоже слишком проста, чтобы выложить ее вот так, сразу... Она заключалась в том, что Гала нравилась Ивану и ему хотелось поговорить с ней не как ученику с учительницей и не как отбывающему срок с вольняшкой, а как человеку с человеком, как мужчине с женщиной. Вот это последнее и было самым трудным, поскольку первое и второе на много сотен километров отдаляли его от нее.

Однако Иван не отступался никогда от того, что было ему важно и нужно. Никогда не отступался от того, что для себя наметил, даже если это и казалось ему полной безнадеей.

Иван молчал. И она молчала.

«Понимаете... — молча про себя говорил Иван. — Я хотел...»

«Ах, Лаврухин, Лаврухин, о чем же мне с тобой разговаривать?» — молча говорила она.

— Конечно, я неправильно тогда рассуждал, — наконец проговорил Иван, продолжая тот неоконченный спор. — Я, может быть, и болван, но не настолько. И те стихи я правильно понял... Тут ясное дело — про что они... Только объясните, почему все это мимо нас? В стихах или в кино, пожалуйста. А в жизни я лично ничего подобного не наблюдал. Вы скажете: «В твоей жизни...» Но меня именно моя интересует, а не Фебина... Сколько я копчу белый свет — никаких таких особенных красивых чувств не наблюдается... А если бы они и были — кто им сейчас поверит?

— Это почему, интересно? — спросила Галя.

— А потому, что люди привыкли не чувства искать, а подвох или какую подлость. Москва, как говорится, слезам не верит.

Учительница еще не понимала, к чему ж все-таки Лаврухин клонит, а так как, по совести говоря, она тоже ничего другого от него не ждала, кроме как «покупки», то молчала, обдумывая ситуацию, и лицо ее было напряженно-приветливым.

— Вот я вам поясню на примере, — как бы отрешенно, задумчиво продолжал Иван. — Ну, предположим, человек в моем положении... полюбил женщину. Ну, возьмем, к примеру, вольнонаемную. Полюбил, как говорится, от души, и, может, даже хочет жениться после отбытия срока. Кто поверит ему? Разве эта женщина поверит? Тьфу, подумает, понтыра это все, то есть, по-русски говоря, обман и враки. Не так ли, Галина Дмитриевна?

— Смотря какая женщина и какой человек. Если он всерьез, то, может, и поверит... Но разрешите и мне вам задать вопрос. Я здесь недавно, Лаврухин, многого не знаю, но кое-какие выводы могу сделать. Скажите по совести — многим ли тут можно верить?

Иван ответил, помолчав:

— Смотря в чем и при каких обстоятельствах.

— Если уж верить, то, наверное, при любых.

— Не в том дело, — сказал Иван.

— А в чем?

— А в том, как люди к человеку повернутся... Вот он, скажем, врет. Но он за это и несет наказание. А другие

почище его врут, но только кто их накажет? Да они же еще и сами осудят его.

— Ну, а если, Лаврухин, попроще? Если без этих сложных построений? Ведь не в том же в конце концов дело, что раз кто-то подл, значит, и я назло ему подл... Ведь не о конкурсе же на подлость речь у нас с вами идет. А о том у нас речь, если уж честно сказать, то, например, в вашем классе я почти никому не верю.

— Никому?

— Почти никому... Такая уж, извините, среда.

Иван молчал минуту, курил. Потом, чуть кривясь, он сказал:

— Это я получше вас знаю... Своих-то я изучил. И я не защищаю. Чего тут защищать-то? Они не нуждаются. Они сами на кого хочешь нападут. Вы, может быть, эту среду презираете, а я лично ее ненавижу. Только не в том дело. Среда — это и есть среда, а каждый человек в отдельности — это совсем другое дело. И если уж у него отнимают последний шансик, если на него смотрят вот так, с прищуром, как на бешеную собаку, то ему только и остается гавкать да кусаться побольнее. Вот об этом и речь...

Ивану еще многое хотелось сказать ей, но совсем о другом. Как и многие из его дружков, он мог пофилософствовать, но не умел и не привык говорить о себе. О том, что именно он чувствует. О том, что он именно ждет и хочет. О том, наконец, что вся его жизнь — такая странная и дикая для других и такая долгая для него, такая обыкновенно-неудачная, привычно-надоевшая, как зубная боль, ослабленная пирамидоном, — что вся эта жизнь с некоторых пор потеряла для него смысл, и если он тащит и тянет еще себя по земле, то лишь в надежде... На что? Если бы он знал. На то, что вдруг, однажды, когда-нибудь...

И еще потому он до сегодняшнего дня волочится по земле, что сейчас, в марте, в одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году, ему еще нет двадцати пяти лет, а значит, если дожать срок «до звонка», то все-таки, может, еще что-нибудь да останется на жизнь.

Учительница задумалась, молчит.

Пушистая рыжая гривка ее волос кажется теплой, и Лаврухину хочется потрогать ее. Только Иван не враг

сам себе. Теперь на своем богатом опыте он хорошо знает, где кончается «можно» и начинается «нельзя». Скрытая дрожь буквально бьет его... так и тянется сделать что-нибудь непоправимо глупое, роковое.

Учительница сидит за столиком, он на первой парте.

Иван встает из-за парты, подходит к учительнице, облакачивается на столик.

— Папиросы все кончились,— говорит Иван.— У вас подымить не найдется?

— Найдется,— говорит она, суетливо, с готовностью роется в сумочке, достает пачку «Столичных».

Оба они курят, Иван — с жадностью, она — спокойно и женственно, мелкими глоточками, как и полагается молодой учительнице русского языка и литературы.

В этот момент и появляется в дверях физиономия дневального.

— Лаврухин, рви когти в барак. Петушок пропел давно!

Иван шел по зоне к своему барaku, по зоне общего режима, на первый взгляд похожей на больничный двор. Низкие кустики в низких же карликовых оградах, крашенных в медицинский белый цвет, чистота со слабым запахом хлорки, как бы скрывающая болезнь, заразу. И только одна земля была не больничная и не тюремная, а весенняя, мягко прогибающаяся под ногами. Да и запах сквозь хлорку и известь был особый, животно волнующий, весенне-острый и входил в легкие и в душу, будто светлое, приятно хмелящее нездешнее вино.

И еще стояла перед глазами эта учительница, такая строгая и высокообразованная, совершенно недоступная, но такая еще секунду назад близкая, с задушевым низким голосом, с быстрыми, маленькими, должно быть мягкими, руками, которые вдруг, на мгновение могли бы покорно, ласково замереть в его руках, и тогда вся эта обманная разница в положениях полетела бы черт-те куда, и остались бы на земле не вольнонаемная учительница Галина Дмитриевна и не Иван Лаврухин, осужденный по статье такой-то, а лишь Иван да Гала, Гала да Ивац.

И все, что разъединяло их, вдруг показалось Ивану нелепостью, идиотизмом, дрянной мышеловкой, в которую кто-то его запихнул. И оттого в особенности она была

мучительна и безвыходна, эта мышеловка, что тот человек, который его туда старательно и долго засовывал, который ее захлопнул со вкусом, который помешал ему выскочить, хотя и представлялась такая возможность, тот человек был он сам, Ваня Лаврухин, по кличкам «Штабной», «Окопник», «Партизан», — да еще с десятков кличек наберется: мало ли кто и когда ему их присваивал.

Он и был тот человек, хотя никому и никогда в этом не признавался, вина многих людей вокруг, скидывая все на обстоятельства и события, вмешавшиеся в его жизнь, обстоятельства и события и вправду весьма немаловажные.

И то, что он сам заткнул себя в этот известковый, как бы больничный двор, пусть и весенний, но все равно несовместимый с учительницей, с ее домом, с живыми улицами, по которым она ходит, сам втиснул себя в этот облитый хлоркой, обсаженный низкими мертвыми кустами квадрат, в котором — топтать, и топтаться на месте, и стоять, и сидеть еще не год и не два, — вот именно это так мучительно раздражало, злило его сейчас, так ноюще буравило все его существо, что хотелось лечь на землю и завывать.

Раньше Иван умел давить в себе подобную муть, хотя она поднималась со дна его души нередко, а сейчас не было с ней сладу, и весь он, тренированный, жесткий и сухой, вдруг стал мокрым от слез, неожиданных и пугающих, как внезапное кровотечение. Но надо было идти или доползти до барака, как уж сумеешь. Потому что уже пробил отбой и прожектор на вышке начал шарить и шарить по земле, чтобы накрыть Ивана слепящим беспощадным кругом.

Иван собрал силенки и пополз. Да, ему казалось, что он ползет по влажной земле в кольце жаркого света. На самом же деле он шел в барак с провожатым, тихохонько, надломленно, но шел, и довольно твердо — так, что со стороны и комар носа не подточит...

Иван хорошо закончил восьмой класс и перешел в девятый. В октябре на участке завершились работы и должны были открыться занятия в школе. Иван все об этом думал и ждал нового года. С десятка примерно писем за лето написал он своей учительнице, ни одного, однако, не отправив.

Занятия начались с других уроков, и они тянулись долго и пусто громыхали в мозгах Ивана, как этапный эшелон.

Ждал же он своей станции.

Но вот коротенький перекур — и урок литературы. Иван нарочно сел на последнюю парту, чтобы лучше наблюдать за Галой, не обращая на себя внимания... Вот уж и звонки прозвенели, а никого нет.

Наконец открывается дверь, и робким, неслышным шагом входит женщина. Входит, садится, проводит переключку.

— Теперь с вами буду работать я. Меня зовут Антонина Никитична. Прежняя учительница уволилась, уехала в другой район, будет работать в нормальной средней школе. А теперь давайте вспомним кое-что по курсу прошлого года.

Месяца через три получил Иван такое письмецо.

Иван, теперь у меня обычные ребяташки, работать с ними много легче и спокойнее, и я собираюсь поступать в заочную аспирантуру. Но я часто вспоминаю тех моих учеников и среди них — вас.

Я не такой уж сухарь, как вы могли подумать, и отчасти понимала, что у вас на душе делалось. Скажу вам больше — я иногда думаю о вас с тревогой. У вас хорошее, мужественное лицо, и мне кажется, вы много могли бы в жизни доброго совершить... Не мне вас судить — я вам желаю только счастья и поскорее освободиться.

До свидания, милый Иван.

Г. Д.

Недели две он ходил, как себе не родной. А потом проигрался в карты, что называется, в «полусмерть укатался» и угодил в штрафной на двенадцать суток. Потом работал в зоне в «предбаннике», потом перевели его в тайгу, в рабочую зону, в лес, где он ушел в побег, перечеркнув начисто все отсиженное.

«До свидания, милый Иван».

Через два месяца он уже был в Москве, на знаменитой площади трех вокзалов.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Иван с братом возвращался домой. Улицы были солнечные, Серега шагал рядышком, счастливый, осторожно, как вазу, держал новенький автомат. На переходах он брал отвыкшего от автомобильного движения Ивана за руку, и Иван всякий раз с удовольствием сжимал маленькую, твердую и счастливую руку. И словно от этого прикосновения и ему что-то передавалось, и он тоже шел почти счастливый, почти, может, самой малости ему доставало до полного счастья. А чего, собственно? Он и не мог сказать толком. Может быть, определенности? Ведь все впереди: устройство на работу, прописка — то, чего Иван всегда не любил и боялся, ибо, как только он соприкасался с государственным порядком, выходило, что он этому порядку как бы поперек. На сей раз, впрочем, Иван решил испить чашу до донышка, помытариться, но устроиться твердо, чего бы это ни стоило. Но кроме этих понятных забот, прежняя неясная тревога и волнение будто перед экзаменом или прыжком с высоты в воду, когда что-то в животе ноющее замирает, — не оставляли его.

Они с братом зашли в пивной ларек. Иван взял Сереге квасу, себе пива. Он выпил две кружки, а мог, казалось, и десять, так не хотелось отрываться от этой толстой кружки с холодной и вязкой пеной, с горьковато-сладким, чуть тягучим пойлом. Когда пил, аж сердце чаще билось от удовольствия.

Сереге же хотелось, чтобы брат понял, в какой хороший город он вернулся, какое здесь все: и пиво, и квас, и улицы, и магазины, и продавщицы, и мороженое, и кофе, и какао, и многое другое, что старший брат и сам поймет, когда обживется. Мальчик смотрел теперь на свой город глазами брата и как бы пил вместе с братом это холодное горькое пиво, и хотя он его терпеть не мог, все равно вместе с братом пил и чувствовал другой, необычайный замечательный вкус. Мать часто ругалась в последние дни и Сережке проходу не давала, очень она нервничала, и мальчик не понимал почему — то ли боялась, что опоздает к поезду, на котором братан должен приехать, или оттого, что не знает, где его поудобнее положить спать да чем накормить после службы. Но

теперь все было нормально, и Серега, как многие другие ребята, тоже имеет старшего, да еще какого, и он не где-то за тридевять земель, а рядом, его можно потрогать, поддержать за руку, и хоть он сильный и взрослый и может вколоть любому, если кто нарвется, но при этом он немного как маленький и не знает совершенно этого города и его порядков, и вроде даже машин побаивается, а Серега здесь все знает, не только каждого человека, но и каждую собаку да, пожалуй, и каждую кошку.

— Слушай, братан, а где тут телеграф? — спросил вдруг Иван, и мальчик с готовностью повел его в здание городской почты и телеграфа.

Иван писал телеграмму, а Сергей ходил по залу, разглядывая образцы открыток и телеграмм и воображая, что брат посылает секретную шифрованную телеграмму своему армейскому начальству. Ну, может, и не шифрованную, Сергей знал, что с обычного телеграфа так их не посылают, но уж армейскому начальству — точно. Да, может, и секретную — почему нет, только если написать все как положено, а смысл чтоб был совсем обратный. «Да, секретную», — твердо решил Сергей и аж присвистнул от своей догадки.

Иван между тем корябал казенной ручкой, ржавым пером «рондо» на телеграфном бланке такой текст:

Николай Александрович сообщаю что все идет нормально и я первый день нахожусь дома если сможете приехать как обещали то жду с приветом до свидания Иван.

Иван перечитал телеграмму. Текст показался ему слишком длинным, но он был не мастер по составлению телеграмм, это, кажется, была первая в его жизни. Перечитав текст, Иван для краткости убрал слово «идет» и «первый день».

Ни к чему в телеграммах подробности.

Домой они пришли к накрытому столу. Чужих сегодня не было, только мать да Вячеслав Павлович. Обедали долго, сытно, вначале без разговоров. Мать, видно, готовилась загодя, и на столе стояло много всякой всячины: и грибы домашнего посола, и студень, и пироги всяких видов — с мясом, с капустой, с яблоками, с картошкой.

Ели молча, только Вячеслав Павлович иногда вступал и говорил пространно, но все больше иносказательно. Например, он заметил, что «каждый человек познается не как-нибудь, а именно в своем труде» или же «кто доверяет людям, тому и люди будут доверять».

Иван приучил себя не поддаваться первому впечатлению, а проверять его дальнейшими поступками человека. Но первое впечатление было такое, что отчим, или как там его называть, не ума палата. А первое желание было обхаживать его, сказать ему такое, чтобы он быстро уткнулся в тряпочку и не учил Ивана жить.

Но это было хорошо для вчерашнего Ивана. А сегодняшний Иван должен был затаиться и молчать, а если и выступать, то редко и только по делу. А кроме того, была разница между тем, что говорил Вячеслав Павлович, и тем, как он глядел на Ивана. А Иван придавал взглядам не меньшее значение, чем словам.

Так вот глядел этот человек хитро и трезво и когда говорил всякие слова, то как бы сам себя не слушал. Глаза у него были карие, круглые и исключительно пронизательные, и, казалось, они стараются попасть Ивану прямо в «десяточку» — в сердце, а может, куда еще поглубже.

Иван улыбался обходительно и показывал всем своим видом: смотри, дорогой товарищ, смотри на здоровье, все открыто, нечего мне от тебя таить, поскольку нечего мне с тобой делить... И поскольку ты мне не слишком нравишься — так же, как и я тебе, — то давай сделаем наше, так сказать, сосуществование мирным. А как только я встану на ноги, то уйду в сторонку на собственную жилплощадь, чтобы не быть помехой в семейной жизни своей матери.

Так думал Иван, и еще он с радостью вспоминал свою прогулку с братом. Насколько легче ему было с мальчиком, чем даже с матерью, хотя брата он знал лишь один день, а мать — всю жизнь.

Мать все эти дни ни секунды не сидела на месте, хлопотала малость преувеличенно, точно хотела загонять себя так, чтобы ни о чем не думать. Ни разу после приезда она не приласкала Ивана, и хотя Иван легко мог обойтись без этого, поскольку привык, но даже и это его чуть-чуть, на самую крохотную толику задело.

Она, впрочем, никогда не была склонна к нежностям.

Только однажды, на последнем суде, когда не оставалось уже ни одного шанса на терпимый срок, она зарыдала в зале так, что все примолкли, а прокурор поперхнулся.

Рыдание ее было голое и сухое, как страшный, рвущий грудь кашель, такое, что все слова обвинения и доводы защиты вдруг как бы повисли, потеряв всякий смысл. Ее увели из зала, но она снова появилась минут через пятнадцать, и Ивану, которому на этот раз было в высшей степени все равно, что с ним сделают, потерявшему даже любопытство к будущему сроку, вдруг пришло в голову решение, возможно совершенно безнадежное, но тем не менее единственное, а значит (как много раз у него бывало), правильное, победное. Бежать из суда. Все подготовить, улучшить подходящий момент. Времени до окончания суда осталось дня два — не больше. И Иван, забыв обо всем, начал изобретать план.

Такого, кажется, никто до него не делал. Но мало ли что делали или не делали до него!

На следующий день его неожиданно перевели в одиночку. Это был очень плохой признак. Возможно, кто-то из подельщиков донес про побег. Ликанин и Жирный были против этого плана, они хотели получить сравнительно сносный срок и боялись чего другого, а Иван решил рискнуть в последний раз.

Вот тут-то после очередного заседания суда с Иваном перекинулся несколькими словами председатель районного нарсуда Николай Александрович Малин.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В то лето, когда Иван попался в последний раз, он был в «бегах». Он добрался до Москвы сравнительно легко, добыл себе чужой паспорт. Паспорт украл у студента железнодорожного техникума, с которым вместе ночевал на вокзале, дожидаясь поезда. Паренек ему понравился, и взяв паспорт, Иван оставил ему записку (чего не делал обычно никогда, поскольку это было чистое пижонство):

В милицию не беги. Будь человеком. Мне это сейчас очень нужно. Через неделю получишь почтой. Я не какой-нибудь шпион, а нормальный вор. Будь здоров, не чихай, не кашляй.

Легкость была в мозгах и в сердце. И странный план придумал себе Ваня. План тоже насквозь пижонский, рискованный, но в духе того настроения, которое им тогда владело.

Он приезжает в Москву и каким-то образом попадает на прием к Председателю Президиума Верховного Совета. И все выкладывает: от войны до последнего дня, до учительницы Галы. И просит у него не освобождения, а лишь скостить кончик срока — два года, а оставшееся время отбыть не в колонии, а на поселении. Почему он поехал в Москву? В Москве он давно всерьез не «работал», и здешние «менты» его ни разу не брали.

Думал еще Иван найти какого-нибудь писателя, чтобы тот помог ему. Иван слышал, что писатели иногда помогают. Но план планом, а жизнь жизнью. И, прежде чем совершить хотя бы один необдуманый шаг, Иван разыскал в Москве старых друзей: Бовыкина — по кличке «Жирный», Ликанина — по кличке «Грек» и Бабанина — «Боба». Они встретили Ивана с большим уважением, так как делали мелкую работу без плана — «ныряли», а появление Ивана означало: будет План и будет Работа, рискованная, но не кусочная, большая. Когда он рассказал им, что хочет идти в Президиум Верховного Совета, они только заулыбались. Всезнающий Ликанин заявил ему, что так уже давно никто не делает.

Они сказали ему, что эту бузу надо забыть, что они познакомят его с хлопцами, которые будут на подхвате, что объяснят хлопцам, кто он такой, и те будут его бояться и уважать, так чтобы он это учел тоже, вел себя в рамках и не обижал ребят.

В Москве была весна, все бурно цвело, асфальт очистился от грязи, хорошо было, и черт с ним — воровать так воровать! Что он умеет на свете? А, гори все огнем синим, лишь бы пожить в Москве, еще хоть полгодика, годик, порадоваться немножко свободной жизни, а там будь что будет...

Первая операция, проведенная им, была такая: в Кузьминках пару вечеров обхаживали сторожа, потом напоили и увели его, вошли в базовый гаражик, напугали там двух человек, выкатили машину «Газ», прикрепили ранее добытые рязанские номера и рванули далеко отсюда — в область, на гастроли. Там почистили два сельмага, не-

множко покатались по области и, оставив машину, поехали назад, по дороге завернув в профсоюзный дом отдыха, где в кладовой взяли десяток чемоданов.

Все шло хорошо, уверенно, легко, трофеи сами плыли в руки, капелла была довольна новым вожаком.

Но Ивану взбрело в голову увидеть свою учительницу Галину Дмитриевну, жила она в Туле.

Иван сел в поезд, поехал в Тулу. В поезде он не «маршрутничал», хотя рядом сидел какой-то лопух, которого ничего не стоило почистить. Ивану не хотелось. Он был настроен исключительно торжественно.

В портфеле он вез шоколадный набор, бутылку коньяка и женский календарь. Он мог бы чего и посolidнее подарить, но только не знал, что таким женщинам дарят.

Прежде чем найти ее дом, он зашел в кафе «Молодежное» на главной улице. Зал был полупуст: время не обеденное и не вечернее. Иван бросил пятак в автомат «меломан», выкурил сигарету, попил кофейку, послушал музыку — стало ему грустно и хорошо, все показалось нереальным и оттого как бы не с ним происходящим, и это «не он» сидел, курил и даже думал не как настоящий Ванька Лаврухин. «Не он» имел другие манеры, другую профессию. Какую? Над этим Иван не задумывался. Важно, что не т у. Его уважали официанты, и сосед по поезду, и прохожие вообще за то, что смотрел он на людей внимательно, серьезно, понимающе, чуть снисходительно, из-за того, что на лацкане его пиджака висел ромбовидный новенький университетский значок. «Не он» относился к ним очень дружелюбно, как товарищ и даже немножко как брат.

Ваня купил у общительного южного человека букет цветов и отправился по адресу.

Галя жила на окраине в маленьком, видно, ждущем сноса доме.

Открыла Ивану пожилая женщина, с удивлением посмотревшая на галантного пришельца с цветами и портфелем. Она крикнула куда-то в коридор:

— Галя, к тебе!

Оттуда раздался голос, от которого Иван весь внутренне напрягся:

— Пусть заходят!

Иван пошел по коридору, ткнулся в какую-то дверь и там увидел Галу.

Он даже не понял: удивилась ли она или нет. Только помнит, что она побледнела, но тут же, справившись с собой, заговорила как ни в чем не бывало:

— Ваня, как здорово! Поздравляю тебя!

— С чем? — удивленно спросил Иван, но тут же понял и закивал головой: — Да, да, спасибо.

— Как ты быстро освободился! — говорила Гала. — Досрочно... Какой ты молодец!

Теперь все спуталось, она называла его на «ты», те отношения, что были там, не существовали, и даже странно, что эта почти девочка в халате и босоножках казалась ему раньше строгой, недоступной повелительницей, человеком с другой планеты.

Но все-таки что-то и сейчас удерживало его на дистанции от нее, какие-то меры, ограды, зоны были между ними. Собаки не бегали, не звенели цепочками на металлическом, во всю ширину забора пруте, часовые не дежурили на вышках, но все-таки что-то было, что-то разделяло, чего не перешагнешь так, с ходу, и ответное «ты» как-то не выговаривалось.

— Ах, Ваня, Ваня, — улыбаясь, говорила она. — Как все-таки все в жизни интересно складывается...

— Да, очень интересно, — подтвердил Иван, еще не приспособившийся к обстановке, к этой небольшой комнатке (то ли спальня, то ли кабинетик: тахта, и письменный стол, и маленький трельяжик у стены, и книжные полки), к этой новой, в халатике, обрадовавшейся ему Гале.

— Да, интересно, — кивал он и не знал, то ли ему сидеть, то ли стоять, то ли врать, то ли молчать, то ли открывать портфель и доставать коньяк и женский календарь.

В конце концов, он торопливо поставил на письменный стол все, что привез.

И вот уже она вышла из комнаты и хлопчет, собираясь его угощать, а он в комнате один рассматривает фотографии на стене. Он всегда любил рассматривать чужие фотографии на стенах и неизменно завидовал тем, кто на них был изображен, и тому, кому они принадлежали. Вот курортная фотография: группа отдыхающих,

среди них Гала и надпись белой вязью: «Сочи, 1959». А вот фотография молодого человека в армейской форме (Иван насторожился, но, рассмотрев, успокоился: скорее всего брат, очень похож). А вот пожилой мужчина с маленькой Галой на руках — отец. А вот футболист Пеле, вырезанный из журнала.

А завидовал Иван оттого, что не отдыхал никогда в Сочи-Мацесте на курорте, что о брате своем только лишь слышал, но не видел никогда, так как родился брат в его отсутствие; оттого, что фотографии отца у него не сохранились, да Иван даже толком не знает, где отца убили, а уж где похоронен, и вовсе не известно... Ну, а футболиста Пеле он мог бы, конечно, вырезать из журнала, да только повесить некуда. Нет у него своей стенки, к которой можно прибить фотографию.

Ни одной стенки, к которой можно прислониться.

Только одна есть стенка... Впрочем, он не такой и даже по всем своим статьям т у д а не подходит. Но кто знает, кто знает, какая ситуация может возникнуть завтра и к чему эта ситуация может человека привести.

— Что, я долго? А вы с дороги не отдохнули. Хотите, наверно, спать? Да? — сказала Гала, входя в комнату, и Иван поднял лицо...

Странно, она опять, как и там, в школе, называла его на «вы».

— Да нет... Это я просто так. Размечтался... — сказал Иван.

— О чем же, позвольте узнать?

— О разном... Если так можно выразиться, о хорошем и разном.

Гала переделалась и снова выглядела почти как там, и к ней как бы вернулось старшинство и превосходство.

Иван меж тем откупорил свой коньяк, и они выпили из непривычно маленьких и неудобных рюмочек... Больше всего Иван боялся, что она начнет говорить о новой жизни, давать различные советы на этот счет и спрашивать у Ивана, как он устроился или как собирается устроиться. Но, к счастью, она не спрашивала. Они выпили две рюмки. Он, как положено, — за нее, за ее здоровье; она, в ответ, — за Ивана, за его счастье. Потом еще одну, просто так, — за «что-нибудь», и вот уже Ивану

стало хорошо и почти легко, но о чем с ней говорить, он все-таки не знал. И от этого он вдруг ляпнул:

— Давайте, Гала, куда-нибудь уедем.

— Как то есть?!

— А вот так — сядем на поезд и уедем.

— Куда?

— А какая разница... Туда, где нас нет. В Среднюю Азию, например.

Она задумалась, как бы всерьез обдумывая его предложение, а потом сказала:

— Не надоело, Ваня, вам быть летучим голландцем? Я думала, что сейчас вы наконец перестанете метаться и оседаете на месте.

— Про голландца я, Гала, не знаю... Это мы не проходили. А оседал я уж столько раз, что осадок на всю жизнь остался. — Он улыбнулся, ему понравилась эта неожиданная игра слов. — А теперь хочу в теплые края, что и вам предлагаю.

— Несерьезный вы человек, Лаврухин, — вздохнула Гала и поглядела на Ивана долгим и, ему показалось, добрым, правда, чуть-чуть с горчинкой взглядом.

— Это почему же? Кто со мной по-серьезному, с тем и я так же.

Хорошо было Ивану сидеть в этой комнате с книжными полками, фотографиями на стенках, около своей учительницы, рядышком, коленка в коленку, с той самой, что еще недавно была так далеко от него, как тропическое растение в ботаническом саду, на которое можно глядеть, но даже и потрогать нельзя... А до Галы он мог дотронуться, он мог ее взять за руку, он мог ее даже поцеловать... Хотелось ли ему этого? Конечно! Но он боялся ее обидеть или оскорбить. К тому же ему было и так хорошо, а зачем что-то менять, когда хорошо, зачем? Когда вокруг столько плохого, разрушать хорошее во имя чего-то еще неизвестного? Зачем? Вот так просто сидеть и молчать. Да и к тому же слушать музыку по проигрывателю — «Арабское танго». «За все тебе спасибо, за то, что мир прекрасен, за то, что ты красивый и взгляд твой чист и ясен». Голос такой расслабленный, сладкий, немного блеющий и, очевидно, врущий; да и мир не так уж прекрасен и благодарить некого, но все-таки: за все тебе спасибо.

— Что вы там шепчете? — говорит она и дотрагивается до его волос, гладит его по затылку, как ребенка.

— Да так, ничего, — бормочет Иван, берет ее руку и прижимает к губам, теплую, женскую, чужую, принадлежащую только ему, пусть хоть на эту секунду руку.

«За все тебе спасибо...»

И в этот момент возникающего счастья раздается звонок и крик Галиной матери, точно такой же возглас, как и час назад: «Галя, к тебе пришли!»

Галя отпрянула от Ивана, Иван напрягся, как летчик, готовый катапультироваться, мгновенно вылететь, пробив стекла и стены головой, — на свободу, в простор, в космос...

Вошел рослый молодой человек в шляпе, строгого научного и одновременно спортивного вида, несколько удивленный, но не подающий виду. Вот он снимает шляпу и кладет ее на полку привычным, как отмечает Иван, движением, и голова его вдруг оказывается лысой в середине, как гладкое озеро, обсаженное кустами, и вся спортивность тут же исчезает, уступив место все более возрастающей научности.

— Вот так шел и завернул на огонек, — говорит он. — Думал пригласить вас в кино, но вы, кажется, заняты.

— Садитесь, садитесь, — говорит Галя, — и знакомьтесь: Юрий Григорьевич, а это Иван... — Она замялась, не зная отчества. — Иван Лаврухин.

— Зовите меня просто Степа, — говорит Иван. — Для краткости и удобства.

— То есть? — поднял брови Юрий Григорьевич.

— Это он шутит, не обращайтесь внимания, садитесь, берите рюмку, — говорит Галя.

— Значит, кино отпадает?

— Значит, так...

— А может, пойдем все вместе, и ваш приятель... Степа тоже примет участие? Вы видели... — он обратился к Ивану, — венгерскую комедию «Ангел в отпуске»?

— Нет, я в кино хожу редко, — сказал Иван. — Только в банные дни.

— Понятно, — сказал лысый и сел, как показалось Ивану, прочно и надолго. Хуже всего было то, что он не обижался.

— Юра, Иван, кофе хотите? — сказала Гала радушным и удивительно неприятным Ивану голосом.

Иван не ответил, а Юра (Ивану особенно не понравилось, что она назвала его «Юра») ответил таким же радушным светским тоном:

— Отчего же... можно.

Она ушла, и они остались вдвоем. Иван молчал. Юра — тоже. Ивану легко было молчать: он привык молчать наедине с чужими; Юра же чувствовал себя неловко и взял толстую книгу с полки, чтобы быть при деле. Вошла Гала с подносом и маленькими чашечками с кофе.

— Угощайтесь, угощайтесь... Ваня, чего ж вы не берете?

— Я кофе не пью, — сказал Иван.

— Товарищ, как видно, страдает бессонницей: на ночь не пьет, — сказал Юра.

Иван не удостоил его жалкий юмор ответом. «Этот лысый фрэер будет здесь торчать весь вечер, — думал Иван. — Любовник он ей, что ли?»

Гала была уже далеко от него, чужая, с искусственным голосом гостеприимной хозяйки... Этот парень испортил все...

Конечно, Иван мог пересидеть его. Он таких троих мог пересидеть, но только зачем? Все равно Иван уйдет, а парень останется. К тому же, судя по всему, он здесь с в о й парень. А Иван здесь — тень нуля. Значит, надо сматываться, пока не поздно, пока чего не выкинул на нервной почве... Надо освободить помещение.

Иван, не разбирающийся в этикете, выпил один, сам по себе, рюмку на посошок и встал.

— Вы куда, Ваня? — спросила Гала. Лицо ее чуть побледнело, когда он поднялся.

— Пора. Дела ждут, — сказал Иван и пошел к выходу, слегка кивнув Юре.

— Погодите. Я вас немного провожу. Вы же тут ничего не знаете...

Она оделась и вышла вместе с ним на улицу.

Они молча хлюпали по весенним лужам, подернутым вечерней студенистой коркой.

— Что же вы так, Ваня?.. Вдруг сорвались... Вам что-то не понравилось у меня?

— Все понравилось.

— Конечно, хотелось с вами поговорить... Но я же не знала...

— Откуда ж знать? — сказал Иван.

— А это зашел Юра, он преподает у нас в школе химию... Можно сказать, коллега, — неожиданно принялась объяснять она, и Ивана удивил и даже тронул ее как бы оправдывающийся тон. Но он не показал виду.

— Химичит, значит, — хмуро сказал Иван.

— Что-то мне не нравится ваше настроение, Ваня, — тихо и участливо сказала она.

Участливость ее раздражала Ивана, так же как и радужный, гостеприимный тон там, дома. И он сказал:

— Мало ли что кому не нравится, на всех не угодишь.

— А где сейчас ваш дом? — осторожно спросила Гала.

— У меня их много, сам запутался.

— Ваня, — сказала она, — за что вы так... меня? Разве я в чем-нибудь виновата?

Опять она была такая же, как до прихода этого Юры, у нее был такой же, чуть растерянный голос, и вновь Ивану захотелось прижать ее к себе и ничего не говорить. А потом увести ее с собой. Только куда?

— Гала, какой там дом? Это все детский смех...

Я здесь, можно сказать, проездом. А теперь пора назад.

— Куда? — спросила Гала с тревогой.

Но он не ответил.

Он молча обнял ее, стал целовать лицо, рот, обмирая от ее тепла, от вкуса ее губ и кожи, от ее странной покорности, от какого-то глубокого, горького чувства, никогда еще не испытанного и ранящего, такого, что сердце, казалось, текло из него... Хотелось вот так умереть или лечь на мостовой и застонать, завывать от короткого счастья, от дикости жизни.

— Люблю тебя, Гала... Потому и приехал.

— Да что ты, Ваня... Что с тобой сегодня! Ведь нельзя так. Ведь пора уже мне домой, — говорила она, но не отворачивалась, не уходила.

Он не ответил. Уже почти не владея собой, пьянея, ловил ее ускользящие губы.

— Что ты, что ты, Ваня. Нельзя... Здесь же улица. Здесь все меня знают... Лучше ты снова ко мне приедешь. Уходи, Иван, милый!

— «Милый Иван», — сказал он, трезвея вдруг. — Ты

так в записке написала. Ты бежала, переменяла школу, и все, привет, Шишкин! А милый Иван пусть там загибается один. Эх, Гала, Гала, добрая душа, иди уж домой. Там крепко ожидают.

— Ты зачем все это говоришь, Иван? — прошептала она и посмотрела на него с холодком. — Прости, Иван... Я не привыкла к упрекам. Да и почему ты крученный такой, верченый! Ты же ведь сейчас не там, а на свободе... И никто тебя не гонит... ты сам ушел. А если захочешь поговорить всерьез, найдешь время — приедешь снова.

Тепло, блаженство и боль оставили его. Он протрезвел окончательно и решил, что пора уходить, уходить отсюда навсегда и нечего играть в прятки, все равно у них ничего быть не может и не будет — так, как ему бы хотелось, а значит, и не надо втравливать ее в эту игру.

— Спасибо, как говорится, за приглашение. Но только я не приеду. У меня не будет такой возможности.

— Это почему ж? Что, ты так занят?

— Да, занят, — жестко сказал он. И, помолчав секунду, спокойно добавил: — Я не освободился, Гала. Я ушел. Я в бегах, понимаешь?

— Что? — Она скорее выдохнула это, чем спросила.

— А вот то самое, которое...

Он опять почувствовал волнение и хотел что-то еще добавить, что-то серьезное и важное для них обоих, но не нашел слов и тихо пробормотал:

— Вот и вся, Гала, моя побывочка.

Она стояла, опустив руки, не глядя на него, и он не понимал, плачет она или просто молчит.

Он повернулся и пошел. Пошел, а потом побежал. Ему показалось, что и она бежит за ним, что она окликает его: «Подожди, Иван!» Но он не остановился, не дождался, а мчал, как заведенный, галопом до самого вокзала.

Когда он ехал в ночном поезде, то все старался припомнить, действительно ли она догоняла и окликнула: «Подожди, Иван!» — или это только ему показалось. Он все вспоминал и вспоминал, будто это и впрямь было для него важно, и никак не мог окончательно решить: догоняла или нет. А может, даже и нет. Скорей всего, нет, — и верно, когда он повернулся и побежал, она даже вздохнула с облегчением... «Милый Иван»... Очень может быть, что именно вздохнула с облегчением.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вначале все шло как по маслу и было полно краденого. Потом в их капелле, как это часто бывает, начались трения — каждый хотел урвать себе побольше. Иван мог бы все это пресечь, мог бы и осадить дармовщиков, но ему не хотелось с ними собачиться. Эти люди ему не нравились. Вначале он думал, что с ними можно будет работать, но вскоре убедился, что любят они только ширмачить по мелочам, а интересное, рискованное, со смыслом, дело их не интересует. Ему надоели их бесконечные ссоры, постоянное кусочничество, постоянная привычка пить за чужой счет. Никогда с такой шушерой он еще не ходил, а может, прежде не очень приглядывался.

Нигде так не развит подхалимаж, как у блатных, ни перед одним начальством не лебезят так, как перед вожаком, и нигде так не хотят его свалить (с безопасностью для себя). Иван решил бросить всю эту капеллу и рвануть на юг, в Молдавию... Там у него были хорошие дружки. Но прежде надо было кое-чем набить карманы.

Прежняя легкость, удачливость, уверенность сменились теперь тяжестью и тревогой. Хуже всего было то, что само дело почти не увлекало теперь Ивана. То ли он потерял азарт, то ли почувствовал себя старым. Старым и слишком много повидавшим, чтобы вот так вертеться из-за кучки денег и барахла. Вся эта суетня и операции, разработанные им, стали казаться какой-то привычной и надоевшей детской игрой, из которой он порядочно вырос. Что он умеет? Кто он?

Вопросы, загнанные внутрь колонией, режимом, работой, учебной, вдруг вылезли наружу. Для чего же он надсаживал душу, занимаясь там в школе, — для Галы, что ли?! Нет, не только для нее. Он смутно чувствовал, что наступит час, когда старое ремесло обрыднет до ненависти. И сейчас порой он ругал себя последними словами за то, что ушел в побег, лучше б досидел «до звонка» и вышел бы, как человек. «А впрочем, — говорил он себе, — все равно, как человек я уже никогда не буду. Уже, наверное, и не вылезешь никогда, слишком глубоко залез в болото, теперь только самосвалом вытащишь. А самосвалы сваливают сами на землю без пощады и ломают человека, как сохлое дерево. Уж лучше ни о чем

не думать. Самое сложное — научиться ни о чем не думать».

Однажды девица из их компании по кличке «Машка-татарка», которая все время вертелась на площади трех вокзалов, прибежала к нему и сказала:

— Какой-то чудной командировочный, видно, с башлями, прет на меня буром.

— Так что ты зенки таращишь, веди его в Сокольники, в шашлычную, а мы придем.

Через полчаса все были в Сокольниках и наблюдали, как Машка в стеклянной шашлычной умело спаивала приземистого мужичка. Потом она повела его в зону отдыха, и примерно через час, когда милиционеры прочесали массив, Иван с тремя хлопцами вышли на полянку.

Машка с мужиком сидели на траве в укромном месте, хорошо известном Ивану и его друзьям. Машка кудахтала и хохотала, а мужичок что-то оживленно лепетал ей на ухо.

— Все в елочку! — воскликнул Ликанин, вышел из засады и заорал не своим голосом: — Вставайте, гражданин! Здесь не положено после двенадцати!

— А вы кто такие? — щуря и без того узкие, недоумевающие глаза, ничего не соображая, весь еще в плену ухаживаний, смеха, недосказанных анекдотов, растерянно, стараясь не казаться напуганным и пьяным, сказал человек.

— Мы из обхесэса! — захохотал Ликанин, который никогда не переходил к делу сразу, который обожал тянуть и издеваться.

— Не бери на характер. Давай быстренько, — крикнул на него Иван.

Человек приподнялся, и трое кинулись на него. Двое заломили руки, третий снял пиджак, сразу вытащил и кинул Ивану, стоящему в стороне, бумаги, мелочь — все, что было в нижних и боковых карманах. Потом этот третий полез в брючный карман.

— Что вы делаете, товарищи? Я из области, в командировке, зачем вы это делаете?!

Ивана аж передернуло от этого жалкого, молящего «товарищи», и он сказал:

— Не голоси, молчи в тряпку. Тогда живым уйдешь. Иван знал, что надо обещать жизнь, надо, чтобы у

человека была уверенность хотя бы в этом, и тогда он отдаст все легко, сам и без крика.

Хлопцы сняли с мужика пиджак и рубашку, почти предупредительно, как швейцары, помогающие раздеться. Но Иван видел, заводясь, они стали снимать с него ботинки и брюки.

— Все оставить, — крикнул Иван. — Окно¹ посмотрите получше, лопухи!

Ребята, осмотрев «окно», деловито снимали часы.

— Вроде рыжие, — сказал Ликанин, рассматривая часы.

— Потом разберешься, — сказал Иван.

Мужичок зашевелился и заплакал.

— Сиди не двигайся. — Ликанин ударил его ногой. Ему хотелось, как видно, избить этого сидящего на земле, раздетого, в одной нижней рубашке мужчину. Но Иван зашипел на него:

— Грабки свои убери. Пригодятся еще.

— А ведь он оклемается и поканаает, как миленький, в отделение, — сказал Ликанин.

— Не поканаает... Пока он тут найдет... — Иван подошел поближе. — Ты сиди, мужик, тихо, — наставительно и строго, как ребенку, сказал Иван. — Ты живой, здоровый, брюки я тебе оставил, сиди, не трепыхайся!

Человек кивнул. Он, видно, сейчас плохо соображал, что к чему. Иван заметил, что он сидит в одних носках, поджав под себя ноги.

— Верните ему, крохоборы, корки эти грошовой. Их ни один барыга не возьмет.

Жирный с неохотой кинул ботинки сидящему. Сначала один, затем второй, норовя попасть в него...

Теперь надо было быстро уходить. Они кратчайшим ходом вышли к ограде, перескочили, прошли переулок, зашли в темный подъезд, осмотрели бумажник. Там было двести семьдесят рублей. Иван достал из кармана пиджака удостоверение в синей коленкоровой обложке: «Силкин — начальник цеха молочного завода».

Работа была грязная, противная. Иван не любил иметь дело с людьми. Он предпочитал чистить кассы, грабить магазины. Там было больше денег и меньше слез.

¹ «Окно» — задний брючный карман.

...Дня через три Иван стоял в одном из арбатских переулков, от нечего делать грел на солнышке затылок и читал объявления. «Требуется домработница к ребенку семи лет». «Требуется репетитор для подготовки в вуз технического профиля». «Требуются слесаря-сантехники».

«Хорошая работа, да только не для меня,— думал Иван,— разве что репетитором». Впрочем, внизу на доске Иван заметил: «Требуется слесарь-электромонтажник для работы в СУ-3».

На электромонтаже Иван одно время работал, когда проводили линию в тайге, лазал Иван в этих самых когтях на столбы, один раз чуть даже не свалился.

«А что, это я мог бы, наверное»,— подумал Иван, с одной стороны, не без гордости, с другой — с сознанием полной нереальности всего этого для него... Куда он мог сейчас податься?

И все-таки он стоял, не отходил от витрины.

— Работу ищете? — спросили его сзади.

И он вполоборота скосил глаз на говорившего.

Говоривший был рослый парень в плаще-болонье не по погоде.

«На кого-то он похож... На кого же? На кого же?..» — лихорадочно перебирал Иван, сравнивая это широкое, как бы равнодушное лицо с другими лицами, которые время от времени в том или ином месте выплывали в его жизни.

И прежде чем к этому, как бы равнодушно ждущему ответа человеку подошли еще двое почти таких же рослых, в плащах-болоньях, в серых кепках, Иван узнал и понял, кто это.

Он круто повернулся и побежал, затем нырнул в первый проходной подъезд, но в проходном его встретили еще двое — таких же.

«Да они тут все оцепили. Их тут взвод, не меньше»,— с острой тоской подумал Иван. Он тут же полез в карман, хотя там не было ничего, кроме бумажника этого командированного из области, но полез с таким видом, будто там было кое-что.

— А ну, Лаврухин, не баловать! Руки, Лаврухин, руки!

Не убежать и не уползти, не взлететь на небо, не

провалиться сквозь землю, не выстрелить и не застрелиться, не устроиться на работу по объявлению, не кончить ее и не начать.

— Давайте, Лаврухин, спокойненько, по-хорошему. Это все бесполезно, нас тут много.

И уже в машине, по радию — куда-то, еще одному такому же, своему, в болонье:

— Третий, Третий, говорит Седьмой, Третий свободен. «Лавр» — взят, «Лавр» — взят.

Взят!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Секретарша расписалась за телеграмму и, открыв одну за другой две двери, обитые дерматином под кожу, вошла в кабинет.

— Телеграмма вам, Николай Александрович.

Судья Малин сказал:

— Давайте.

И она почувствовала машинальность в его интонации. Он механически распечатал, механически пробежал глазами.

Текст телеграммы был такой:

Николай Александрович сообщаю что все нормально и я нахожусь дома если сможете приехать как обещали то жду с приветом до свидания Иван.

В первое мгновение Малин даже не понял, в чем дело, какой Иван. Все, что было с этой телеграммой связано, было отодвинуто куда-то вдаль, а точнее сказать, не вдаль, а глубоко внутрь, в тот внутренний полузаглушенный слой переживаний, воспоминаний, что живет в нас как бы в полузабытьи, затаясь... Но и секунды хватило, чтобы Николай Александрович все вспомнил... «Вот и пришел Ванькин час», — подумал он, и нутро его согрелось теплом, будто он тихо и счастливо пригрелся где-нибудь у речки на весеннем солнце. Этот самый Ванькин час был отчасти и его часом, но грянул он как-то больно, неожиданно, как все, чего ждешь долго... И потому Малин еще не был подготовлен к этому и не знал, что дальше делать.

А делать можно было только лишь одно — без промедления ехать к Ивану. Раньше он и сделал бы это сразу же, без колебаний, едва получив телеграмму. Теперь такая поездка представлялась меропрятием не простым, довольно громоздким, которое надо было обдумать, подготовить и решить... Даром, что ли, Николай Александрович неделю назад отметил свою пятьдесят третью годовщину?

И он дал себе небольшую отсрочку на решение, скажем, до конца рабочего дня... А сейчас рабочий день только начинается.

Но уже был разговор — и разговор важный. И не только важный, но и неприятный, трудный для судьи Малина — секретарша за пять лет достаточно изучила своего начальника, председателя нарсуда, и знала, что, когда он сидит вот так пряменько, подобранно, с чуть побледневшими скулами, когда говорит вот так тихо и раздельно, как бы безличным, без всякого нажима, голосом, — значит, разговор нехороший.

Она узнала и того, кто сидел напротив Малина, хотя видела его в первый раз. Он пришел не в приемное время, рано утром, и сидел, видимо, уже долго.

А разговор между тем не начинался. Впрочем, Николай Александрович и его собеседник помаленьку говорили, да только не на ту тему. Говорили они поначалу о летнем отдыхе, об отпусках, кто куда поедет, потом о детях, поговорили немного и о футболе, о любимой своей команде «Динамо», о том, что в этом году она, может быть... наконец... тьфу, тьфу, чтоб не сглазить...

Темы были нейтральные и даже вполне светские, однако чутье секретаршу не обмануло: Николай Александрович весь внутренне подобрался и, говоря ни к чему не обязывающие вещи, думал о другом, о том разговоре, к которому рано или поздно надо было переходить, иначе зачем в его кабинете этот человек?

Человек этот еще с юности был знаком Николаю Александровичу, как и многим другим людям в стране: когда-то Николай Александрович встречал его на Садовом кольце и смотрел в толпе сквозь сотни голов, когда мелькнет в открытой, блестящей лаком машине загорелое, с резким профилем лицо летчика, неоднократно совершавшего сложнейшие испытательные полеты на новых машинах, в том числе и на тех, что сейчас стали музей-

ными, а в тридцатые годы будоражили умы и воображение необычностью и дерзкой новизной.

И лицо это, которое потом встречал он и в газетах и кинохронике, а после войны и на телеэкране, воспринималось как очень знакомое, может быть, даже как лицо родственника или давнего приятеля, как что-то принадлежащее и его собственной биографии и судьбе... Оно вроде бы и не старело и не менялось, а может, изменения бросились бы в глаза тому, кто не так привычно и даже родственно его воспринимал.

Ведь известно, что близкие знакомые или родные меньше замечают перемены у рядом живущих. К тому же этот порядком немолодой уже человек выглядел отлично, и, как это ни странно, с возрастом лицо его стало интереснее, так как раньше оно бросалось в глаза резким очерком профиля, голубыми глазами, постоянным загаром, но, если приглядеться, было простовато, а теперь же, с годами, с различными жизненными перипетиями и переживаниями приобрело новые черты — большей интеллигентности, что ли...

И в последние годы этот человек не раз удивлял многих своей зрелой, спокойной отвагой, заключавшей в себе теперь уже не только порыв и непризнание смерти, но и опыт и профессиональное мастерство... Когда-то он легко и юношески бездумно презирал смерть и опасность. Теперь он относился ко всему этому иначе, с годами больше дорожа жизнью, чем прежде. Это не значит, что он стал трусливее, просто понял немудреную истину: тщательность порой спасает от гибели. Вот эта тщательность и помогла ему обманывать, переигрывать, на одно мгновение опережать смерть.

В последние годы Николай Александрович лично познакомился с летчиком: они регулярно встречались на районных партактивах, на торжественных собраниях в ноябрьские и майские дни, нередко сидели вместе в президиуме, чувствуя обоюдную симпатию и приязнь. Обменивались вполголоса краткими репликами почти всегда с полным пониманием друг друга, с близостью в оценках того или иного выступавшего, а это очень важно, чтобы в официальной и несколько напряженной обстановке президиума сидел человек, с которым можно доверчиво и легко перемолвиться, а то и просто переглянуться.

Николай Александрович тонко чувствовал, как к нему относятся люди, испытанный, профессиональный локатор его редко ошибался, и при встречах с летчиком он неизменно фиксировал, что голубые, холодные глаза летчика теплеют и улыбаются с той особой, искренней доброжелательностью, что бывает у людей, не часто видящихся, друг от друга не зависящих и в чем-то друг на друга (по крайней мере в их представлении) похожих.

Но сегодня странная ситуация столкнула их в этом кабинете, ситуация повседневная для Малина и единственная в своем роде для летчика — бывшая для одного вопросом службы и профессии, а для другого — вопросом жизни и смерти. Ну, может, «смерть» и сильно сказано, но вопросом глубоко личным и необыкновенно важным, от которого многое в будущем зависело, — это уж наверняка.

Надо сказать, что Малин дела такого рода терпеть не мог и не по своей воле он вынужден был объясняться с летчиком. Малин давно пришел к выводу, что эти дела в подавляющем большинстве своем не должны рассматриваться и решаться в суде, что закон здесь в ряде случаев бессилён. Ему казалось, что вторжение посторонних людей в эту сферу, никому до конца не понятную, чаще всего бесполезно, а порой и безнравственно. Конечно, не в тех случаях, когда попирались нормы права или морали.

Бракоразводные дела граждан.

Профессия приучила его «мирить» чужих и даже ненавидящих друг друга людей, задавать им порой самые интимные вопросы. Приучила, но не убедила в необходимости этого. И он делал это, не глядя в глаза людям, настолько бесстрастно, почти механически, что они воспринимали его как особого рода рентген, который просвечивает «для порядка». Не для здоровья, а для справки.

У Николая Александровича была странная и мешающая ему в ряде дел привычка: ставить себя в положение тех, кто пришел к нему. Вот и его просвечивают таким же образом, его интимную жизнь тщательно изучают, ему советуют, как дальше быть и жить, и его передергивало от одной мысли об этом. Он надеялся, что когда-нибудь это изменится, но, видно, не сейчас, потому что все-таки были еще люди, которые сами напрашивались на то, чтоб кто-то третий решал, изменял или устраивал их жизнь. А значит, ему надо было делать то, что положено... И сейчас ему по-

ложено было улаживать или даже в известном смысле решать семейные дела летчика...

История эта была не нова для Малина, да и вообще не нова. Если она и была нова для кого-нибудь, то только лишь для тех, кто принимал в ней непосредственное участие. Летчик ушел из дому, оставив жену и уже взрослых детей, ушел к молодой женщине, впрочем, тоже матери. Жена летчика, однако, не согласилась с таким неожиданным жизненным поворотом и обратилась в ту организацию, где служил муж, с призывом и требованием «призвать его к порядку». С ним действительно поговорили, вежливо и тактично, посоветовали не поддаваться эмоциям и, если возможно, вернуться и сохранить семью. Он отказался, ссылаясь на любовь...

Люди, работавшие с ним, знали его не первый день и не первый год и понимали отчетливо, что если он решил — увещевать и уговаривать его дальше бесполезно. «Ну, что ж, — сказали ему в соответствующем месте и пожалы плечами, — раз так, то оформляйте все законным путем». Он подал на развод. И вот тут жена его не только решительно воспротивилась этому, не только не дала развода, но развила невероятную активность во всех районных организациях... Немало телефонных разговоров с разными людьми имел по этому поводу Малин.

Была она и у Николая Александровича.

Он еще и перед разговором знал, кажется, все возможные ее доводы: как же так... тридцать лет вместе, дом, дети — и вдруг... какая-то...

— Сколько лет вашим детям? — спросил Николай Александрович.

— Мальчику двадцать пять, девочке семнадцать... Самый трудный, переходный возраст.

— Ну, не такой уж и переходный, — сказал Николай Александрович. — Уже взрослые. Да и потом, ведь он, насколько я знаю, не отказывается от родительских обязательств.

Это подлило только масла в огонь.

— Ах, так... Вы что же, все сговорились?! Только я так просто не отступлюсь, черта с два он получит развод! Если надо, я пойду и повыше!

— Куда же? — спросил Малин.

— Найдем, — сказала женщина.

— Если только к самому господу,— усмехнулся Малин.

— Вам смешно,— с тихой яростью сказала женщина.— Но ему не будет смешно. Я надеюсь, он забудет надолго, что такое смех.

Ненависть клокотала в ней, как пар в котле, готовый вырваться и обжечь, ошпарить всё, что находится рядом...

Было странно, что речь идет о человеке, с которым она растила детей и прожила около тридцати лет.

— Вот вы хотите вернуть мужа,— тихо сказал Малин.— Ну, а вы не думаете, что после такого, ну... скажем... давления извне вернуться к прежней жизни будет трудно, если не невозможно?

— Ну и пусть,— тихо сказала женщина...— Что же вы хотите, чтобы я щеки подставляла: ударил справа — на левую... лупи... Нет уж!

— Ну ладно. Вызову, поговорю,— сказал Малин, давая понять, что прием окончен.

Но она не уходила. Она молча сидела, как бы собираясь с мыслями, чтобы высказать главный свой довод.

Но так и не собралась. И, кивнув Малину, поднялась с места.

Выражение ярости, молодившее ее лицо, незаметно ушло, и лицо вдруг потускнело, выражая лишь безмерную усталость.

Видно было, как быстро за последние два-три месяца она проделала тот путь, который женщины всячески стараются удлинить, которому так искусно противятся,— путь от немолодости к старости, от женщины к старухе.

Она взяла граненый стакан, стоящий на столе у Малина, налила из казенного высокого графина воды, попила и вдруг сказала, чуть улыбнувшись:

— А помните, как вы заезжали к нам на Первое мая?.. Да, лет пять назад это было.— Она вдруг подалась вперед и сказала с мольбой: — поговорите с ним... Ведь столько всего... Как же можно?..

Она сделала глотательное движение, Малин взял стакан, поднялся с места, но она справилась с собой и ушла достойным, твердым шагом, чуть поклонившись Малину напоследок.

А теперь перед ним сидел летчик.

Уже обо всем, казалось, поговорили: и о детях, и об

отпуске, и о футболе, бесконечно оттягивая разговор, необходимость которого в разной степени угнетала обоих.

Наконец Малин начал. Ему по должности было положено начинать.

— Так что же будем делать, Виктор Иванович?

— Это в каком смысле? — сказал летчик.

— Ну, в том самом... в смысле возвращения домой, — сказал Малин, сам чувствуя неуклюжую фальшь этих слов.

— Это отчего же я должен возвращаться? — сказал летчик.

— Виктор Иванович, я не хочу ни уговаривать, ни советовать. Но после разговора с вашей женой я понял: развода она не даст ни за что.

— Буду жить так... На черта мне эта бумажка...

— Вам так жить нельзя. У вас должна быть официальная определенность.

— Что вы предлагаете в таком случае?..

— Если бы я мог что-нибудь предложить... Но тут есть только два варианта. Или возвращение, или, если это невозможно, вы сами берете огонь на себя... Уж не знаю как, но находите средства, чтобы убедить ее дать развод.

— Дорогой Николай Александрович, первое неприемлемо. Я не в том возрасте, когда решение принимают после поступков. Я лично это делаю до. Я сначала решил, а потом ушел... Никакого возвращения не будет н и к о г д а. Что же касается второго вашего предложения, то и оно вряд ли возможно. Прожив с человеком тридцать лет, все же не знаешь его до конца. Когда я ушел после долгих и не больно веселых размышлений, ушел, все оставив и сказав ей правду, я ожидал всего: горя, обиды, боли. Я не ожидал только одного: писем в парторганизацию. И поверьте, как это ни странно, стало легче, намного легче, ей-богу. Трагедия обернулась фарсом. Вы понимаете, что это такое?

Малин кивнул. Он понимал. Он видел это ежедневно.

Но рядом с этим, таким убийственным в своей очевидности, существовало как бы отдельно постаревшее женское лицо с застывшим выражением растерянности, именно растерянности, внезапной и непроходящей, почти шоковой... Растерянности, которая требует действия... А какого и зачем, этого растерянность не знает...

— Ваша жена не показалась мне таким зловредным и мелким человеком,— сказал Малин.— Просто она потеряла ориентировку.

Летчик не ответил, но глаза его похолодели, а лицо ожесточилось, напряглось. Видно, немало он натерпелся от этой женщины в последние месяцы...

«Что ж, за все радости приходится платить...— подумал Малин.— Впрочем, какой ценой?»

Малину было знакомо это выражение отчужденности и неприязни. Он видел такие лица каждый день.

И оттого, что у летчика стало вдруг такое лицо, Малину сделалось вдруг тускло и тоскливо. «Да, какой ценой»,— подумал он еще раз, и мысль эта связалась вдруг с возвращением Ивана Лаврухина, с теми годами, что заплатил Иван за недолгую радость своей свободы.

— Развод, конечно, мне нужен,— говорил летчик.— Он нужен моему начальству, дабы я не выглядел в их глазах старым беспутным козлом, и он нужен моей новой жене. Она ни в чем не виновата, кроме того, что любит меня. И ничего не требует. В этой ситуации ей нужна ясность. Но она у меня терпеливая... Так что мы оба с ней подождем.

Он встал и протянул Малину руку. Малину стало вдруг больно, что вот так они вынуждены проститься.

И Малин сказал, неожиданно для самого себя обратившись к летчику на «ты»:

— Виктор Иванович, ты знаешь, чего я хочу?

Летчик не ответил, выжидательно глядя на Малина.

— Я хочу одного: чтобы все уладилось... Но только так ведь не бывает, когда рушится... Тут, как на качелях один вверх взлетает, парит, другой камнем пошел вниз. Что ж тут посоветуешь, Виктор Иванович?

— А я посоветую не вам лично, Николай Александрович, а вообще суду... не лезть в такие вещи, не трогать этого, незачем. Судите воров, мошенников, хулиганов... Мало ли у вас работы? А сюда зачем же?

— Я согласен с вами,— сказал Малин.— Можно сказать, полностью согласен и не раз заявлял, как говорится, во всеуслышание. Но только вот какая хитрость: жена ваша, да и не только она, идет с этим к нам и у нас просит помощи... Выходит, так просто не отмахнешься.

— Очень может быть,— сказал летчик, видно не же-

лая свою частную проблему видеть на общем фоне. — Это уж вам виднее.

Он кивнул и вышел. Человеческой концовки не получилось.

Малин пожевал «беломорину», не закуривая, поморщился. Взял телефонную трубку, набрал номер, чтобы перебить смутное, безрадостное ощущение звонком, делом.

Вошла секретарша, спросила:

— Будем начинать прием?

Малин мотнул головой: мол подожди минутку.

Это все не впервой было. Люди не терпят вмешательства... Даже самого осторожного. Как бы, интересно, заговорил летчик, если бы его вызвал не Малин, а какой-нибудь дуболом... Верно, не стал бы разговаривать. Ну, а не стал бы — вызвали бы еще раз... А если подумать, зачем он от нее ушел? Ведь все, как говорится, в конце концов одно и то же. Пойдет быт, семейная текучка, и все, что было у них вначале, пойдет прахом... А может, и нет? Человек не знает того, что сам не испытал. Многие испытал Малин, но не это. Один раз было уже совсем собрался, что называется, наострил лыжи, уже приготовился сказать жене, уже примерялся к новой жизни, да не смог.

Ближайший его друг, свидетель всех житейских бурь с малолетства по сей день, говорил ему: «Станный ты мужик, Коля, в сложнейших ситуациях держался безукоризненно, бесстрашно... Фронт прошел и окружение. Что же ты, милый, маешься в личной жизни, не можешь один раз решиться?.. Ведь жизнь-то твоя коротенькая — одна, что же ты, все прикидки делаешь?»

Оба они в тот вечер захмелели, приятель — возбужденно, он — мрачно и тяжело. И он кивал головой и соглашался с другом, соглашался с его приговором.

Он был влюблен тогда, но это не делало его счастливым, ему было только хуже. Он отлично знал, что ничего не выйдет, что он не уйдет, хотя дома давно и бесповоротно все сложилось не так. И этого уже не преодолеть, не разрушить, не начать сначала. А чего не преодолеть? Жалости, а может быть, проще... инерции. Друг был вежлив с ним, оберегал: «Нерешительный ты, Коля...» Какое уж нерешительный! Сам себе он мог бы сказать и покрепче...

Только недавно, обдумывая все это уже ушедшее, уже ничем не грозящее прошлое, он понял, что не в том дело, что был он нерешителен. Он был бы и решителен, если бы только решил. Тут был другой диагноз. У него, пожалуй, было слишком развито чувство ответственности. К самому решению относился слишком ответственно, стараясь максимально не задеть всех, кто от него зависел: и жену, и приемного сына, и ту женщину... Слишком тяжело он относился к этому самому единственному, последнему решению. Слишком всерьез, никогда не умея позволить себе шага в никуда, в счастье, в неожиданность, в безответственность, бездумного и, может быть, рокового, а может быть, единственно нужного шага.

Не от хорошей жизни возникали перед ним такие проблемы. Не от самой счастливой, цельной, слаженной, одухотворенной, общей семейной жизни...

Когда летчик сказал: «Возвращения не будет никогда!» — Малин ему позавидовал. Раз уйдя, он сам бы уже, наверно, не вернулся к прежнему, но он не мог бы сказать заранее с такой выверенной, железной легкостью, с такой беспросветной, не знающей сомнения уверенностью: «Н и к о г д а».

Впрочем, может, поэтому тот — летчик, а он — судья.

И он завидовал этой решимости, которая не выясняет, не спрашивает, не мучит себя сознанием тяжелых душевных травм, наносимых другим, непоправимых последствий. Кто знает, может быть, только она и бывает права, ибо, как любят теперь говорить — «по большому счету», так вот по этому самому счету: лучше, чтобы один был счастлив, а другая несчастлива, чем тихо, не признаваясь себе в этом, будут несчастливы оба.

Впрочем, была ли несчастна в прежней своей жизни жена летчика? Наверное, нет... Возможно, она и не задумывалась над тем: любит — не любит; возможно, как хозяйка, как мать, она оставляла подобные проблемы тем, у кого забот мало, и занималась домом, детьми, им. А несчастлива она сейчас.

От разговора все-таки остался нехороший осадок... Летчик был, конечно, отличный мужик, но то ли его в последнее время дразги доконали, то ли все-таки ему чуть-чуть не хватало уже вполне возможной в его весьма зрелом возрасте высоты... Малин стал перебирать личную

почту — ту, что принесла секретарша. Письмо из клуба автомобилистов, членом которого он вот уже пятнадцать лет состоял, запоздавшее письмо с поздравлениями ко дню рождения (ему недавно исполнилось пятьдесят три), приглашение на встречу с журналистами в ЦДЖ. Он снова перечитал телеграмму от Ивана...

Пора было начинать прием.

— Давай следующего, — сказал он секретарше.

Следующим был коренастый мужчина с розовой блестящей головой, с которой он в преувеличенной почти-тельности сдерживал голубую, из синтетической соломки шляпу.

— Почтеньице, почтеньице, Николай Александрович. Как влажность такую переносите? — быстро и приветливо говорил этот человек. — Весной в нашем с вами возрасте в городе тяжело... Весной с нами всякие такие штуки и происходят.

— Вот и решили опять садовничать на воздухе? — прервал его Малин. — И опять сутяжничать с хозяевами?

Лицо вошедшего не изменило приветливого, родственного выражения. Но глаза блеснули стальным непреклонным блеском, который, как давно уже заметил Николай Александрович, был особенно грозен у мелких, трудно выводимых на чистую воду жуликов.

— Это почему ж сутяжничать? Кто вам сказал, что сутяжничать?.. Я свой законный интерес соблюдаю, свою справедливую долю от четырехсот высаженных мною тюльпанов.

— Слушайте, Моксеев, вы в который раз судитесь с хозяевами участка из-за этих самых ваших цветов?

— Что ж, Николай Александрович, — смиренно сказал Моксеев. — Приходится... Сам за себя не постоишь, кто постоит?

— А скажите, Моксеев, зачем вы ходили на работу к Аникиной?

— А затем, чтобы коллектив знал об ее антиобщественных поступках.

— Какие же это поступки?

— А такие! — оживившись, сказал Моксеев. — Мужа своего бывшего бросила, нового из семьи увела — это во-первых, во-вторых, на даче и на садовом участке какие-то египетские ночи устраивают, в-третьих...

— Почему ж египетские? — перебил его Малин. — Вы в суде, выражайтесь поточнее.

— Именно египетские... Но это, конечно, только так говорится, образный оборот, и в том смысле особенно, что весь данный садовый участок не под полезные насаждения занят, а, извините, бутылками загажен.

— Вы что же, по всему участку лазили? — спросил Малин.

— Не лазил, а ходил, — с достоинством сказал Моксеев.

— И после этого написали письмо в организацию, где работает Аникина?

— Написал. Ничего другого не оставалось, чтобы пресечь...

— Так вы ведь не только к ней, но и к мужу в организацию тоже ходили и тоже письмо написали.

— Написал, не отрекаюсь. И точно указал номера машин, которые к ним на дачу фанеру привозили.

— Когда же вы успели записать номера машин?

— А когда только нанялся к ним. Мы сидели, обедали на терраске, ну, немножечко выпивали, как раз те машины и подъехали. Ну, я на салфеточку и записал.

— А для чего вы записывали-то? Что, уже тогда собирались с ними судиться?

— Тогда не собирался... Но на всякий случай материалы иметь надо. Теперь народ такой, ко всему готовым быть приходится.

— А с чего вы решили, что машины «левые»?

— А «правые» по воскресеньям фанеру не возят.

— Логично рассуждаете, Моксеев. Так вот, хотим вас привлекать за клевету.

— Это в каком же смысле клевета?

— В самом обыкновенном. Лезете не в свои дела, копаетесь в чужой личной жизни, слоняетесь по учреждениям и распространяете различные ложные слухи о людях.

— Эти слухи легко проверить. Тогда убедитесь, ложные или не ложные.

— А кто вам дал право проверять? Вы судитесь из-за тюльпанов, бог с вами, судитесь, мы уже вас знаем. Вы не первый раз отнимаете время у суда, но что вы людей-то изводите своими кляузами?

— Я, Николай Александрович, не торопился бы с выводами. У Аникина в парткоме уже работает комиссия по поводу машин.

Малин знал, что комиссия действительно работает по «сигналу» Моксеева. Аникин, фронтовик, подполковник инженерных войск, действительно попросил подвезти ему фанеру на дачу. Шоферы и машины были из его ведомства. Злоупотребление было пустяковое, но было... Ну, нужно было человеку — подвезли ему материал, причем материал, им законно купленный. Но этот Моксеев сумел-таки маленькую искорку раздуть в огонек. Комиссия работала.

Сумел использовать он и личную ситуацию Аникиных, людей немолодых, недавно поженившихся (она ушла от мужа, с которым фактически не жила уже много лет; Моксеев сумел вовлечь в это дело и ее бывшего мужа).

Однако Малин хорошо знал, что прижать по-настоящему Моксеева трудно. Дело о клевете, которое Аникины хотели возбудить, было в достаточной степени щекотливым, так как здесь уже в законном порядке должны были бы перемываться все косточки, чтобы установить ложность моксеевских наветов и наказать проходимца. А такое перемывание вряд ли было нужно двум уже немолодым и достаточно битым жизнью людям. Дела о клевете порой имели свойство бумеранга, обратный удар которого трудно было предусмотреть.

Малин посмотрел личное дело Моксеева. Во время войны по справке об эпилепсии возвращен с фронта в тыл... Эпилепсия фигурирует еще несколько лет в виде справок и медицинских свидетельств, затем эпилепсия исчезает, и по дальнейшим справкам Моксеев здоров и работает «культурником» в доме отдыха. По неизвестным причинам он расстаётся с домом отдыха и устраивается в общество охраны природы. Он становится профессиональным садовником. Нанимается к дачевладельцам. Как правило, нигде не удерживается больше одного сезона. Аграрная деятельность Моксеева сопровождается судами с хозяевами дач... Дела возбуждает Моксеев, неизменно обвиняя хозяев в нарушении трудового договора. Дела копеечные, пустяковые. Судяжничество Моксеева мелкое, рублевое, но не всегда можно отказать ему в иске, кое-где он находит уяз-

вимые места в договоре, умело их использует, высуживает деньги. Закон знает, скользит рядом с законом, отклоняясь минимально, так что простым глазом не разглядишь. Такие, как Моксеев, тягостно распространены в нарсудах. Дает сигналы, ходит по учреждениям с видом обиженного, оскорбленного, обманутого в лучших чувствах человека, трудяги. Очень любит сочетания слов: «моральный облик», «поведение в быту», «нарушение норм», «разложение семьи» и прочее. И всегда он чуть-чуть прав, так как что-то вынюхал из действительной жизни, но раздул и придал другой оттенок всему, и вот уже люди становятся в позицию защищающихся и объясняют, оправдываются. И те, кто слушает их объяснения, думают, верно: все так, конечно, Моксеев — мерзавец, но ведь нет дыма без огня... В суде и в учреждениях, где он бывает, знают, что он тип судебного графомана, то, что журналисты называют «чайник». Но... все-таки... однако... чуть-чуть... нет дыма без этого самого...

Верно, доставалось и Моксееву. Был он однажды и бит, физически бит, набили ему таки морду, но он и это обратил немедленно в свою пользу, тут же подал в суд и пришел на прием к Малину.

Малин, не выдержав, сказал ему тогда: «Да за те помой, что вы на людей льете, я и сам бы вам надавал по физиономии с удовольствием». Моксеев понимающе посмотрел на Малина, деловито достал блокнотик и записал эту фразу.

Через неделю на одном совещании заместитель председателя городского суда, усмехнувшись, мимоходом сказал Малину: «Николай Александрович, ты что же на своем участке граждан терроризируешь?.. К тебе с жалобой, а ты по морде». — «Как это?» — спросил Малин. «А вот так. Пришла на тебя «телега» от одного деятеля».

К счастью, Моксеева успели уже узнать и в горсуде и поэтому ограничились легким замечанием и указанием: знать наперед, с кем дело имеешь, сдерживать душевные порывы.

Малин принял к сведению и стал сдерживать. А сейчас, глядя на Моксеева, Малин ловил себя на ощущении того, что перед ним человек с гигантской нерастраченной энергией зла, на которой могла бы работать чертова мельница или чертова электростанция.

— Так что, Моксеев, готовьтесь, — сказал Малин. — Непременно привлечем вас по обвинению в клевете.

— Будет уж вам, Николай Александрович, ярлычки клеить. Я с неба ничего не беру, у меня фактики, чистые фактики, без вымысла. Так что вряд ли кто решится неприглядные свои дела на божий свет выставлять. Фактиками задавим, Николай Александрович.

— У вас, Моксеев, семья есть? — спросил неожиданно Малин, хотя отлично знал все о семейном положении Моксеева.

— Имеется, — сказал Моксеев, — только при чем тут это?

— А при том, что пришла жалоба от первой жены. Экономите на алиментах, скрываете заработки.

— Никаких документиков у вас по этому вопросу быть не может. То, что прирабатываю, получаю из рук в руки. Так что здесь вам копать нечего.

— Ладно, Моксеев, разговор окончен. И запомните: безнаказанность ваша временная.

— А это мы посмотрим, — сказал Моксеев со значением. — Еще надо поглядеть, чья безнаказанность временная. Некоторые думают, что если они на своем посту, то, значит, можно...

— Ладно, Моксеев, мы уже поговорили.

Моксеев удалился, кивнул, обеими руками надевая на круглую, гладкую голову жесткую, как каска, синтетическую шляпу.

— Следующий, Наташа.

Секретарша сунулась в дверь.

— Нету следующего, Николай Александрович. Смирнягин не явился.

Николай Александрович посидел несколько минут в пустом кабинете, затем запер сейф, проверил бумаги на столе, вышел. Он решил, что пойдет домой пешком. После того, как он пролежал два месяца в больнице с микроинфарктом, он старался как можно больше ходить пешком, а одну неделю даже бегал перед завтраком, прочитав в газете переводную статью о пользе бега...

Он шел сейчас по скверикам Ленинградского проспекта, врезанным островками в теплую и пыльную асфальтовую реку шоссе, где жаркий бензиновый ветер обдавал яркие, туго закатанные на краях клейкие листочки, еще

вчера бывшие почками. От них пахло прохладным, свежим, будоражащим запахом, от которого Малин чувствовал себя молодым, обманчиво молодым, опасно, непрочно, ненадолго молодым, какими становятся по весне пожилые и наделенные воображением люди. Гадкий привкус от разговора с Моксеевым быстро прошел, и сейчас два впечатления владели Малиным: разговор с летчиком и телеграмма от Ивана.

Из разговора с летчиком внезапно ушли все сложные и омрачавшие этот разговор тона: непонимание одного, отчаяние другой, сломанность привычного хода жизни, нежелание и обязанность Малина влезать в эту жизнь.

Сейчас из всего этого осталось только одно — непреклонная воля к обновлению, к изменению того, что казалось неизблемым, возможность любви... Вот это, пожалуй, и было главным — возможность любви.

Пахнет только что распутившейся листвой, весенним дождем — остро, терпко, обманчиво, слышен женский смех, и голоса, и легкий стук каблуков, и чей-то светлый плащ прошелестел, исчез, и что-то в его жизни должно все-таки произойти, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра... Но проходят дни, недели, месяцы, а того, что он ждет, не происходит. Впрочем, знал бы он сам, чего он ждет!

Когда-то это было неосознанное, давнее, детдомовское — бросить учебники, выбежать из детдома, из душной спальни, слоняться по чужим весенним дворам, смотреть по сторонам, курить и ждать, что будет, что вечер принесет: то ли драку, то ли дружбу, то ли что-то еще, чего он и вовсе не знает...

И в молодости и сейчас, а сейчас даже, может быть, больше, чем в молодости, существовала у него, никогда не затихала тоска по любви...

А женился он за месяц до войны. Еще на рабфаке познакомился с тихой татарской девочкой по имени Флора и все годы учебы, как говорится, «ходил с ней». Это была спокойная, ровная, нежная и не по возрасту степенная дружба. Даже и не ругались, кажется, ни разу. И так же поженились, спокойно и тихо, степенно, без сомнений и без праздничности, как бы само собой. «Бесконфликтно», как шутил иногда Малин. После учебы собирались

вместе ехать на Урал, уже назначения были в кармане, билеты на поезд, уже вещи были собраны, да только уехать не успели. Война.

Добровольцем он ушел на фронт и войну прошел счастливо, если не считать легкой контузии. А жена ждала его на Урале, работала на заводе и чаще, чем многие другие, он получал письма, спокойные и подробные. И он знал, что тыл у него крепкий, верный, что за тыл нечего беспокоиться. А ведь как это важно для фронтовика! И когда вышли знаменитые симоновские стихи «Жди меня», он видел, как ребята вырезают их из газеты, а у кого нет газеты, списывают у товарищей. И он тоже хотел списать стихи и послать жене. А потом подумал: зачем? Еще обидится, не так поймет... Ее не надо было просить ждать. Она и так ждала. И ничего не знал он из этих обстоятельно веселых писем о том, что три месяца пролежала она в больнице, избитая до полусмерти за свою неуступчивость малолетней заводской шпаной. Встретились они в Москве осенью сорок пятого, в старой своей довоенной комнате, на улице, носившей когда-то чудное название «Мясная Бульварная», а ныне переименованной в улицу Талалихина. Жена была несколько иной, чем он представлял, больше четырех лет он ее не видел, и в разлуке она была лишь такой, как ему хотелось. Встретились они хорошо, нежно, как говорится, без лишних слов, без вздохов, без слез... Встретились так, будто и не расставались, и пошла послевоенная, голодноватая, трудовая, вполне нормальная жизнь.

Никогда он не тяготился этим браком, этим совместным существованием, настолько привык к жене, что казалось, без нее никогда и не жил... Но почему-то редко в этой нормальной и вполне хорошей жизни он чувствовал себя счастливым и молодым. Вот именно молодым, молодости не было в их отношениях с самого начала. Это были отношения не по возрасту взрослых, погруженных в труд и заботу людей... С годами, приходя домой после работы, он почти полностью отключался, разговаривал с ней как бы механически и чаще всего по бытовым домашним делам; все, что передумано и пережито за день, оставалось только в нем, и не было даже никакого желания поделиться, рассказать. Так и жили годами почти молча, лишь переговаривались: «Деньги оставил?».

«Сеньке портфель купил?», «Буду в одиннадцать», «Котлеты в холодильнике».

Сенька был приемыш. Когда стало ясно, что жена никогда не родит ему ребенка, они взяли мальчика. Сейчас Сеньке было четырнадцать.

Мгновения, когда хотелось все изменить, перевернуть, попробовать начать все сначала, приходили к нему все реже, но были остры, мучительны... Когда он задумывался над всем этим ясно, трезво и спрашивал себя: могу ли я это или нет? — стараясь не притворяться перед самим собой, он честно отвечал: не могу. Нет, не старость, не робость, не компромиссность и даже не привычка были тому виной. Просто, как бы ты ни был недоволен своей рукой или ногой, ты их не отрубишь... И жена и Сенька — плохо ли, хорошо, но были частью его. В последние годы он почти перестал думать о каких-либо переменах в жизни, и только сегодняшний разговор с летчиком всколыхнул и взбудоражил его.

А потом эта телеграмма от Ивана. По его расчетам, Иван должен был освободиться позднее. Они переписывались постоянно, все годы последнего Иванова срока, но перерывы в письмах становились все более долгими. Одно время, когда Малин хлопотал о переводе Ивана на поселение по новому указу, он писал в те края еженедельно, причем в администрацию колонии чаще, чем самому Ивану. Да и Иван писал по настроению. Накатит на него тоска, одиночество — напишет. Или, наоборот, почувствует, что есть надежда, что дела не так уж тягостны, — напишет длинное веселое письмо с описанием своей жизни, местных нравов. Иван писал два вида писем: «под настроение» (чаще всего грустные) и с «описанием нравов». У Малина тоже было два вида писем: «воспитательные» и «просто так».

«Воспитательные» писать было нелегко, и Малин не мог иной раз закончить такое письмо в вечер, растягивая писанину на несколько дней... Впрочем, это он только про себя так называл — «воспитательные». Никаких нотаций и поучений там не было. Там были просьбы.

Малин просил Ивана не срывать, не выказывать характер перед администрацией, к чему, как было известно Малину, Иван имел склонность, в школе не прогуливать, без нарушений дойти до «звонка». Малин писал только об

этом, только о существовании Ивана там, только о том, как Ивану освободиться. Об остальном он молчал, он всячески старался показать Ивану, что остальное — вопрос решенный... «Остальное» — это было будущее Ивана. Это был вопрос о том, как поведет себя Иван, освободившись на этот раз. Это был вопрос о том, начнет Иван по новой или нет.

Это было между ними как бы решено. Как бы.

Ох, Малин не был наивен! Он хорошо знал, что самые толковые люди, способные жить вне уголовщины, вернувшись и вроде бы добившись того, о чем мечтали — свободы, натываясь на первые сложности свободной жизни, на неустройство и на связанные с этим мелкие унижения, при отсутствии друзей, близких, нормальной среды тянулись вновь к старому, проклятому, но хорошо изученному делу, к старым, проклятым, но хорошо изученным друзьям.

Человеку легче повторить свой путь, чем начинать новый. И все-таки подсознательно Малин верил в Ивана... Ваня умный и слишком набедовался, чтобы снова ни за что ни про что споткнуться, думал Малин... Слишком тяжело дался ему последний срок, чтобы возвращаться туда, где был... Но кто знает, как все может обернуться. И еще он подумал: надо бы все-таки съездить к Ивану... Самый момент... Он мысленно прикинул, как ему взять несколько дней за свой счет, как выпрыгнуть из того монотонного поезда, который вез его ежедневно без остановки, в каждом вагоне которого лежали несделанные дела, ненаписанные бумаги, заботы, обещания, обязанности. Придется рвануть стоп-кран.

«Все-таки поеду, — решил Малин. — Пойдем с Иваном на рыбалку. Под Оршей — хорошая рыбалка...»

Странная это была дружба или связь, хотя ни то, ни другое слово здесь не подходило. Но Малина самого считали странным, а потому и тянулся он к странным людям, а значит, и связи у него были странные.

Малин судил Ивана.

Еще готовясь к делу, он заинтересовался Лаврухиным... Биография и впрямь была непростая. Он затребовал давнее, первое, «дурное», как он определил, дело с

продовольственными карточками. Прочитал письма партизан, просивших тогда за Ивана, посмотрел наградные... Все это заинтересовало, но не удивляло. Такие истории в суде тогда случались.

Удивляло полнейшее безразличие Ивана на суде. Малин знал, впрочем, что может означать вот такая вялость, мертвые, как бы сонные глаза, витание в облаках, когда подсудимого приходится все время переспрашивать. Это означало потерю инстинкта самозащиты. Это означало степень полного отчаяния.

И уж потом Малину сообщили, что Лаврухин якобы замышляет побег из суда. За все время, что работал Малин, только два-три очевидных «смертника» пытались бежать из здания суда. И конечно, заваливались. Это было стопроцентно проигрышное мероприятие.

Поначалу, в день открытия суда, Малин ожидал от Ивана гибкости, хватки, смелой, даже наглой защиты, ведь Иван был коренник в упряжке, главный по делу, а значит, он должен крутить и вертеть, замазывать, отказываться от всего, даже от самого себя, брать на себя только последнее дело. Последнее дело было ограбление командированного в Сокольниках.

Только один раз на суде Иван улыбнулся — когда потерпевший, рассказывая о том, как его раздевали, заявил:

— Сняли с меня все, лежу я босой, а вон этот... — Он показал рукой на Ивана и помялся, подбирая слово: — А вон этот товарищ указал им на недопустимость таких действий. Ну, они и вернули мне ботинки.

Иван улыбнулся, а через несколько минут вновь погас, сидел вялый, заторможенный, будто все происходящее для его судьбы не имело уже никакого значения. Малину даже показалось, что он в шоковом состоянии. И когда вечернее заседание кончилось, Малин дал знак охране на секунду задержаться, не выводить Лаврухина.

Это не полагалось... Но ощущение какой-то непоправимо надвигающейся беды владело Малиным.

Зал был пуст. Только Малин, охранники и между ними на скамье Иван.

— Лаврухин, что с тобой? — спросил Малин. — Ты что на неприятность нарываешься?..

— А что? — холодно глянув на него, ничуть не уди-

вившись тому, что судья заговорил с ним, сказал Иван.— Вы моей жизнью дорожите?

— Может, и дорожу,— сказал Малин.— И очень удивляюсь.

— Чему? — улыбнулся Иван.

— Тому, что ведешь себя, как идиот.

— А как прикажете? — спросил Иван.

— Не прикажу, а посоветую. И посоветую вот что: принять срок и сделать его последним. На этот раз последним. Ты уже не мальчик, скоро стариком будешь — и все в сроках... Или пожить неохота?

— А какой срок дадите, гражданин судья?

— Тот, что заслужил. Законный.

— Не смешите, судья... Не видел я еще от вас никогда никакой законности и не увижу до конца дней своих.

Малин будто эту фразу и не расслышал. Он сказал:

— А ты, Лаврухин, как я понимаю, УК знаешь не хуже судьи. Сколько ты сам себе определишь?

Иван даже улыбнулся от неожиданности этого вопроса, от этой странной и мнимой возможности.

— Я бы отпустил себя на свободу.

— Но это ты уж больно расщедрился, Лаврухин. Подумай всерьез: сколько бы ты сам себе положил? Только будь реалистом.

Иван задумался. УК он знал действительно неплохо.

— Шесть лет,— сказал Иван.— От силы.

— Ясно,— сказал Малин.— Теперь хоть я твой приговор знаю.

— Только ведь и так не дадите. Вы же судите не по делу, а по биографии. Три пишем, пять — в уме. Если у человека что и было, так он за это отмаялся. А вам лишь бы накидку сделать.

— Эх ты, Лаврухин, Лаврухин... — сказал Малин.

— Что Лаврухин? Я всю жизнь Лаврухин. Только никто меня за Лаврухина не считает.

— То есть? — удивился Малин.

— А вот так... Лаврухин — это человеческая фамилия. А меня разве за человека считают?

— Когда ты был человеком,— сказал Малин,— с тобой и разговаривали по-человечески. Тебя наградили, тебя уважали. А когда ты перестал им быть, озверел, тебя посадили за решетку.

— Я зверем никогда не был, — сказал Иван. — На мне крови нет. И никогда не было... Да и к чему весь этот разговор?

Разговор действительно не получился. Может быть, Малин был слишком жестковат... Да и какой мог быть разговор в той обстановке? Малин не привык и не умел заигрывать с кем бы то ни было. Разговор он вел твердый, справедливый, по профессии, по привычке. А сейчас ему хотелось сказать этому Лаврухину что-то иное, может быть даже обнадеживающее, но он не имел на то права... Хотелось также спросить Ивана, как попал тот мальчишкой в плен, как жил в Германии, какова была судьба отряда, где воевал Иван... Но Малин не спросил... Подсудимого нельзя было задерживать долго, да и не по делу это все...

— В общем, давай так, Иван, — сказал Малин. — Глупостей не делай. Получишь срок такой, как положено. Так что отсидишь, и еще пожить останется... Понял? Голова у тебя вроде бы не тупая, а вот дураку дана.

— Дай, судья, шесть лет, — сказал Иван. — Тогда еще шанс будет. А так — что... Плыть да плыть, пока не потонешь. Очень уж туманен берег.

— У тебя близкие есть, Лаврухин? — спросил Малин.

— Нет, гражданин судья, у меня близких. Одни далекие.

Малин дал знак уводить. Иван поднялся, пошел, сутулясь и отчего-то прихрамывая, привычно держа руки за спиной.

Двое конвойных в ритм его шагам двинулись за ним.

Иван получил семь лет — по всей строгости закона, но минимально в рамках тех статей, по которым он проходил.

Были у Малина другие дела, другие суды, но почему-то не шел Иван Лаврухин из головы. Перед последним заседанием он велел принести в камеру Ивану старое, но теплое пальто. Было дождливо и сыро, наступала осень, а Иван ходил в тоненьком пиджачке и на суде хлюпал носом. Малин, впрочем, просил не говорить, от кого пальто, так как Иван, по его мнению, и это мог истолковать как хитрую «покупку».

Через месяц Малин сделал запрос в администрацию колонии, как ведет себя Лаврухин, где он работает. Малин ждал ответа от администрации, а получил письмо от

Ивана. Видимо, в колонии Ивана уведомили о малинском запросе.

Письмо было короткое. Лаврухин сообщал, что он на общем режиме, что же касается остального, то «смогу вам сказать одно, гражданин судья: понял и разочаровался я в своей жизни давно. Понять-то понял, а вот как выкарабкаться... ведь сколько нужно сил, чтобы дойти до последнего звонка. А что еще впереди ждет?» Малин ответил ему большим письмом. Когда он его написал, хотел перечитать. Но потом запечатал и отослал.

Он знал, что если перечитает, то ему может не понравиться. А раз не понравится — значит, он станет себя редактировать. А раз он будет редактировать себя, то какой же смысл в таком письме? Это уже будет не письмо, а статья.

А статья не нужна Ивану. У Ивана и своих статей достаточно.

Это случалось не первый раз, он увлекался людьми нередко во вред себе. Он возился с ними, тратил силы, верил — его обманывали. Тогда он говорил себе: ну, что же, и на старуху бывает проруха. Больше уши не стану развешивать.

Развешивал снова.

Он был человек, навидавшийся подлости, грязи на много лет вперед, настолько, чтоб не удивляться ничему, однако иной раз он позволял себе пойти против логики, на поводу чувств. Чувства чувствами, а результат-то какой?

Малин нередко принимал участие в трудоустройстве только что вернувшихся из колонии, звонил на предприятия, просил директора, а через неделю его протеже брали под стражу и спустя несколько месяцев привозили к нему же в суд.

Бился как-то за одного малолетку, хотел перевести его на условно-досрочное. Парнишка ему понравился, какую-то искорку он в парне почувал и вот ходил в управление мест заключения, писал письма, так что его даже заподозрили в скрываемом родстве. Добился он условно-досрочного для этого парня, а тот, освободившись, затеял драку с таксистом, который отказался сажать его в машину, ударил камнем по голове...

Начальство сделало Малину замечание за то, что под-

держивает сомнительные элементы, что недальновиден и близорук...

Кое-кто из коллег считал его слишком доверчивым для юриста, слишком полагающимся на эмоции, на чутье. Иные были уверены, что все это показуха, что Малин разыгрывает из себя «человека», что ему это надо для чего-то... возможно, для большой карьеры... Однако таковая, вопреки их ожиданиям, не предвиделась. Третьи считали, что это все оттого, что Малин не имеет детей, что не израсходованные на приемыша запасы своего «педагогического таланта» он тратит на эксперименты с разными, не стоящими того типами... Четвертые Малина любили.

Впрочем, множество дел было-таки скучнейших, где и разобраться-то было невозможно, кто прав, кто виноват: коммунальные склоки, разделы имущества, брако-разводные. Сам Малин такие дела, как правило, не вел, но посетителей, как председатель суда, принимал он, и приходилось разбираться во всем.

Были люди, прямо-таки созданные для данной статьи, другие не укладывались в статью. Более того, всем своим обликом, казалось, противоречили ей, да и самому факту своего привлечения к суду.

У него были свои, не юридические категории, по которым он разделял подсудимых. Он делил их, например, на убийц и неубийц. Убийцы не обязательно проходили по делу об убийстве. Просто это были люди, способные убить. Те, для которых не существовало человеческого барьера, лишь временный тактический барьер страха, осторожности, неудачного момента.

Неубийцы зачастую были матерыми преступниками, аферистами, изворотливыми типами, но в определенном отношении у них был барьер. Они не могли ударить человека ножом. Он, Малин, защищал собственность граждан, но внутренне он всегда предпочитал тех, кто отнимает собственность, даже самую крупную, — тем, кто отнимает жизнь. Да, он люто ненавидел убийц, но все-таки каждый смертный приговор, «исключительная мера наказания», потрясал и его, вызывал чувство страшной, невыносимой, несовместимой с его правами — нравственными ли, судейскими ли — ответственности. К тому же за долгие годы своего судейства он пришел к выводу, что

ужесточение наказания, даже необходимое, все-таки никогда не ведет к снижению преступности.

Разные люди проходили перед ним, он мог наблюдать ежедневно парад человеческих слабостей — слабостей, ставших на мгновение силой, способной уничтожить, искалечить, унижить человека... И сколько общего было у всех этих странных и одновременно несчастных людей, которые сидели сбоку от него между конвойными! У этих стриженных, как бы безликих, напуганных, как правило, настолько неуверенных и робких, что странным казалось, что еще вчера они грабили, нападали...

Одних он сам, лично, не раздумывая, прибил бы, такие это были мерзавцы, но обязан был выносить приговор, в котором значились весьма умеренные сроки отсидки. Других он жалел, почти сочувствовал им, но обязан был вынести приговор, от которого бледнели и менялись в лице на что-то надеющиеся, избегающие глядеть ему в глаза люди... Был Закон. Срок диктовался реальностью содеянного.

А иной раз все счастливо пересекалось: и субъективное его отношение, и его юридическое отношение к сути вопроса. Так было и с Лаврухиным, тут был срок резиновый, его можно было растянуть, а можно было и сжать... Прокурор требует десять, адвокат просит шесть. А чего подсудимый заслуживает? А заслуживает он и того и другого. Это как посмотреть! Как истолковать данное преступление в совокупности с прошлыми делами. Смотря как истолковать личность подсудимого и его жизнь... Конечно, то, что повоевал мальчишкой и прошел немецкие лагеря и что судьба от этого во многом пошла наперекос, — все это следует учесть, и верно, что на это напирает адвокат... Но ведь это давно было, а что было потом... Подсудимый безразличен, то ли устал, то ли прикидывается... Кажется, устал.

Потерпевший его чуть ли не благодарит — не оставил босым, не позволил снять брюки. Ну что ж, учтем и это как смягчающее (чуть-чуть, самую малость) обстоятельство, но, с другой стороны, опытное жулье никогда не мелочится... Когда другие начали бить потерпевшего, не велел. Ну, что ж, зачтется и это, хотя зачем ему бить, зачем ему брать себе еще и другую статью...

Да и вообще этот парень, набедовавшийся сам, а

сейчас несущий беду другим людям, чем-то задевал и привлекал к себе Малина.

Может, независимостью своей и, как это ни странно в таком положении, чувством собственного достоинства, а может быть, тем, что в глазах его была не тупость, не жалкость, не жестокость — живое, острое, человеческое в них просверкивало.

Был он похож не на матерого хищника, а на усталого, разочарованного, побитого, на все плюнувшего человека со странной и несчастной судьбой.

Человека ли?..

Переписка их шла уже несколько лет. Малин привык к письмам Ивана, где тот описывал свою работу, учебу, местные нравы, учителей в школе, дружков по колонии.

Малин не писал теперь «воспитательных писем», а отвечал односложно и кратко — такая почти семейная, регулярная переписка.

Однажды Малин проводил судейский семинар в тех краях, где сидел Иван. Он попросил начальника областного УМЗ разрешить ему свидание с Иваном.

Когда он стоял в узкой комнате, курил и ждал Ивана, он пытался вспомнить его лицо, то оно появлялось, то дробилось и исчезало. Малин знал Ивана вот уже несколько лет, а видел его, по сути дела, только на суде.

— Видно, лоск наводит после работы сынок ваш, сказал охранник. — Все ж таки не хочется перед своими черт-те кем показываться.

Через минуту Ивана привели.

Он тоже в первое мгновение не узнал Малина. Лицо его выразило отчужденное непонимание, словно ошибка произошла, но тут же он понял, узнал, подался вперед к Малину, улыбнулся во все лицо, изумленно.

— Не ожидал, Иван? — дрогнувшим от волнения голосом сказал Малин. — А я вот нагрянул, поглядеть хочу, как ты тут живешь.

Сидели долго, никто их не ограничивал во времени.

О чем они говорили?

Ну, сначала о работе, как там у Малина, как здесь у Ивана. Потом о родных. Пишет ли Ивану мать, и как себя чувствует жена Малина, и как учится его сын.

Потом о местных порядках и о том, есть ли возмож-

ность выйти на поселение. Затем разговор пошел, как говорится, нестройно...

Тут Иван сказал Малину:

— Я ведь думал сначала, что вы меня ловите... Со мной многие поначалу хорошо разговаривали: мол, на каком ты фронте воевал, а я, дескать, рядом был, значит, мы однополчане... А потом как начнет раскалывать, прижимать, чтобы я на себя взял то, чего не было... Всю жизнь меня, как волка, флажковали, потому и кидался на людей. Сейчас только бы досидеть! Эх, надо было б лет семь назад выдираться, тогда бы я еще кое-что успел!..

— Брось, Иван... Не гневи бога, ты молодой мужик, чего тебе назад глядеть? Выйдешь скоро, осмотришься. Десятилетку постарайся дожать, будешь человек со средним образованием... Устроишься, а там, гляди, и женишься, семью заведешь.

Малину хотелось еще что-то сказать Ивану, необыденное, простое, то, ради чего он, может быть, и приехал к нему; сказать, что Иван испытает то, чего никогда раньше не знал: любовь, покой,—и жизнь еще подарит ему свои большие и малые радости, что он, Малин, все-таки не ошибался, думая о людях: не такие уж они сволочи, какими часто кажутся,—что-то в этом роде хотелось сказать, но одно дело — подумать, другое — высказать. Когда выскажешь, все звучит как-то фальшиво... Не просто ведь выразить то, что думаешь.

И он сказал Ивану, прежде чем уйти:

— Все, Иван, будет у тебя нормально.— Помолчал немного и добавил: — А как освободишься — сразу мне телеграмму. Приеду, если что, помогу на месте... Да и вообще посмотрю, как ты обживаться будешь. Самое трудное — это первые недельки, когда на тебя все косятся.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Иван собирался на свидание... Он старался не слишком об этом думать, чтоб не сглазить, но все-таки думал все время.

Он брился долго и старательно, и ему казалось — электробритва жужжит вхолостую, оставляя кусты на шее

и щеках. Не привык он к электробритвам. Когда он побрился наконец, в комнату вошла мать и положила на стол какой-то пакет.

Иван развернул тугой целлофановый пакет с черно-серебряными ярлыками. В пакете, распяленная на картонке, лежала белая нейлоновая рубашка.

— Спасибо, мать, — сказал Иван. — Но зачем же такая роскошь?

— Это тебе от Вячеслава Павловича, он выбирал, — сказала мать со значением.

Как мало, в сущности, человеку надо! И хотя Иван подсознательно понимал, что так нужнее матери, чтоб от Вячеслава Павловича, он вдруг со стыдом подумал о неприязни к этому человеку, о том, что он, Иван, сам все время выискивает то ту, то эту неприятинку в муже своей матери, а зачем выискивать-то? Ну, не доверяет он Ивану, а на каких основаниях доверять? И кто ему вообще, Ивану, обязан? Встретили как человека, не гонят из дому, на работу устраивают, рубашку вот подарили... Пустячная вещь рубашка, у него миллион было рубашек, но краденых или купленных, а не дареных. Да и к тому же такой — с плечиками, в таких нашивках да медальонах на пакете — у него никогда не было.

Он стал ее разворачивать, посыпались тоненькие булавочки, которыми была она закреплена, стал надевать, влезая в твердые, цвета сахарного рафинада манжеты. Матовая эта материя холодила тело. От шуршания новой рубашки, от шелка галстука, который он медленно завязывал, от тишины в квартире, нарушаемой лишь мягкими шагами матери, тихим скрипом чистых половиц, он ощутил удивительный покой, который знал когда-то очень недолго, в детстве, до войны, но позабыл... Одеваясь, застегивая новую рубашку, собираясь идти, он вдруг представил себя нормальным сыном, который уходит вечером на свидание, а потом вернется. Потому мать и положила перед ним выстиранное или новенькое полотенце и ушла по своим хозяйственным делам.

Он посидел несколько секунд перед зеркалом, посмотрел на себя: галстук был завязан правильно, ровно, по моде прошедшей семилетки — маленьким узелком-удавочкой.

Половицы скрипели, слышался голос Сережи, шипе-

ние, треск — это включили телевизор... Как-никак субботний вечер.

Младший вошел и по-хозяйски оглядел брата... В галстуках, видно, он тоже не разбирался, так как не носил, а остальным остался доволен.

Брат, по невысказанному мнению Сереги, был в большом порядке. Крепкий, плечистый, мужественный, в белой рубашке с галстуком, пахнущий одеколоном «Полет». Такого брата приятно проводить до места его назначения.

— Ну что ж, двинем, — сказал Серега.

— Пошли, — сказал Иван. — Проводишь меня немного.

— Я могу и до конца, — сказал мальчик. — Куда хочешь, могу, мне еще до спанья десять часов.

— Ну, уж десять, — придрался Иван. — Что ж ты, под утро ложишься?

— Ну, не десять, а все равно много.

— Ну, тогда пошли.

Они немного не дошли до горсада, и Иван сказал:

— Ну, давай, братан, назад, дальше я сам дотопаю.

— А ты найдешь? — с сомнением спросил мальчик.

— Найду. Я в любой местности ориентируюсь.

Серега удовлетворенно кивнул. Что он, забыл, кто его брат? Пограничники, они хоть где ориентироваться обязаны. Серега улыбнулся брату и пошел домой.

Иван в одиночестве похаживал у входа в городской сад. У него еще было минут пятнадцать до прихода девушки, и он вошел на территорию сада. Народу было множество, в основном около танцплощадки, огороженной металлической сеткой, но кое-кто стоял у эстрады-раковины, где у микрофона всю старался культурник.

Публика была совсем молодая, а ребята постарше дружно сгруппировались вокруг павильончика «Пиво — воды».

Музыка уже гремела, ломкий и как бы чуть хмельной, приятный мужской голос рвался из динамика, постановывая: «Ай, ай, Дилайла...» Во всей этой суете Иван ощутил вдруг свое одиночество, и свой возраст, и то, что был здесь как бы неким гостем с другой планеты, летевшим много световых лет и вот опустившимся рядом с танцплощадкой, неким пришельцем с той планеты, название которой неизвестно местной молодежи, так же как и не-

известен факт его появления здесь, в инопланетной форме (светлый костюм, белая, в первый раз надеванная рубашка, галстук с искорками). Что он, робел перед этой танцплощадкой? Перед девушкой, которая, возможно, не придет? Перед этими юнцами в широченных, как юбки, брюках с металлическими украшениями по обшлагоу? Видал он таких ффраеров!

Не много погулял он в своей жизни на воле, но танцплощадки видывал, и прошел, и вымерял их вкрадчивыми шагами танго, прыгающими — фокстрота, и даже во времена рок-н-ролла успел повертеть партнерш юлой вокруг себя. Он в этом деле был человек передовых взглядов и уважал новые танцы, и парки культуры, и заводские клубы, и особенно летние рестораны с танцплощадками, куда приходил в различные периоды своей жизни по делам, а часто и просто так, для собственного удовольствия... «Дилайла» так «Дилайла», — думал он. — Сегодня «Дилайла», а вчера было «Арабское танго», а позавчера «Мишка, Мишка, где твоя улыбка». Расклешенные брюки с блестящими инкрустациями тоже можно пережить, вчера были узенькие дудочки, что на ногу не налезали, носили и такие, а сейчас будем носить нормальные, но если кому охота, пусть подметает пыль клешами с бубенцами, пусть звенят однозвучно, ему не жалко, но он лично такой сарафан с музыкой на себя не напялит... Вот мини-юбка — это другое дело, это нам нравится, это пусть носят.

Правда, когда он видел жалконькие, острые коленки, которые совсем не вредно было бы прикрыть бальным платьем со шлейфом, он отводил глаза далеко-далеко с некоторым смущением, но когда появлялись круглые, нагловатые, откровенно себя подававшие колени, как у его продавщицы, то тут приходилось заставлять себя притушить фары, чтобы не ослепнуть от такого блестящего зрелища. Все это было нормально, это и была та жизнь, о которой он думал в последние годы с таким ожиданием и такой надеждой, что казалось, один лишний день срока — и нервы порвутся, лопнут, как пересохшие веревочки.

Ни перед кем он не робел. За свою долгую, так называемую жизнь он приучил себя ни перед кем и никогда не робеть...

И чувство грусти было от другого — от того, как теперь в это войти, не будучи тем, кем он был вчера.

Как войти в эту музыку, в этот шум, в эти танцы, в этот круг беззаботных и веселых людей без друзей, без прошлого, без денег, без ничего?.. Как в это войти, чтобы почувствовать себя на равных с другими, не хуже, не лучше, чтобы незаметно скинуть свой шлем или скафандр человека с другой планеты, скинуть, положить под кустик и посыпать землицей... И пусть никто не узнает, где он лежит.

И, как в юности, как очень давно, он подумал о себе в третьем лице, как о постороннем. Так, много лет назад, попав в первую свою пересылку, он подумал о себе с искренним ужасом и вместе с тем, чуть играя с самим собой, как бы наблюдая себя со стороны и любуясь жуткостью своего положения: «Теперь всю жизнь он будет здесь».

А сейчас он думал с удивлением, иронией, отгоняя боль и неуверенность и стараясь найти силы для радости: «Пришел на танцы».

Это было действительно странно и смешно: он пришел на танцы... Ну что ж, попробуем потанцевать.

Иван посмотрел на часы. Пора ей было уже прийти... Запаздывает. Ладно, подождем. Куда ему торопиться?

Он подошел к ларьку «Пиво — воды», стал в хвосте очереди, все время поглядывая на вход.

Его очередь уже подошла, но вдруг появился малый, узкоплечий, с румяным, будто температурным лицом, в широченных обношенных брюках, и встал впереди Ивана.

— Что-то я тебя здесь не видел, — сказал Иван.

— Пенсне надень! — сказал парень высоким, охрипшим голосом.

Иван промолчал.

Парень сдувал пену с пива, а к нему еще подошли человек шесть, и он стал брать на всю компанию.

Очередь зароптала:

— Шпана бесстыжая!

— Чего оскалились? — сказал румяный. — Мы тут стояли.

Он помахал рукой под носом у Ивана.

Парень был приблатненный. Именно не блатной, а приблатненный.

Таких Иван мог узнать по двум фразам. Подделочник, малолетка, строящий из себя урку. Иногда такие оказы-

вались просто щенками. Но иногда бывают безжалостней взрослых.

Пили они демонстративно долго, шумно и выплескивали остатки на землю так, что брызги летели на ботинки стоящих в очереди.

— Засосали, клопы, — тихо, но отчетливо сказал Иван.

Румяный посмотрел на него и сказал:

— Тебе что, ффраер, банки поставить?

Иван встретил его взгляд и улыбнулся. Он оглядел их всех по очереди, всю стайку. Выпил свою кружку, поставил. И неторопливо пошел к выходу. Связываться с ними не входило в его намерения. Спиной он чувствовал их взгляды.

Он стоял на людной площадке возле входа, искал ее глазами.

«Не придет, — решил он и подумал с обидой: — А зачем тогда согласилась... Сказала б, не могу — и все... То же, артистка».

Он решил прождать еще пять минут и идти домой.

В этот момент появилась продавщица. Она показалась ему другой, чем днем в магазине...

На ней был белый свитер и белая короткая юбка, она не сразу увидела Ивана или не узнала, обвела скольльзящим взглядом полукруг входа и было собралась уже брать билет и идти к танцплощадке одна.

Тут Иван решительно двинулся наперерез.

— Добрый вечер. А я уж двадцать минут прохлаждаюсь.

— Здравствуйте! — Она посмотрела на него, как ему показалось, оценивающе: как, мол, он вечером смотрится.

Так Иван и не понял, одобрила или нет.

— Ну что ж, давайте, так сказать, расколемся на имена, — сказал Иван.

Девушка глядела, не понимая.

Иван пояснил:

— Ну, в смысле представимся друг другу. — И первый протянул руку: — Иван Лаврухин.

— Тамара, — сказала девушка, едва дотронувшись до его руки.

— Куда двинемся? — спросил Иван.

Девушка поглядела на него и сказала:

- Вы знаете, я должна извиниться.
 - То есть?
 - Я пришла сказать, что я не могу.
 - Сегодня или вообще? — в упор спросил Иван.
- Она помешкала, помолчала.
- Сегодня...

Иван вздохнул с облегчением.

— Ну что ж, бывает. Хорошо, что вы пришли... А то, знаете, когда не приходят, стоишь, как дурак, глазами хлопаешь.

— Я это тоже не признаю, — сказала девушка. — Какой смысл договариваться, чтобы не приходиться?

— Вот именно.

— А у меня сегодня непредвиденные обстоятельства, так что уж извините...

— Ну, конечно. Всякое бывает. Можно вас немного проводить?..

Они прошли еще метров сто молча. И говорить вроде было не о чем. Вот если б они зашли в ресторан, посидели бы как следует и он бы, что называется, понял ее, тогда было бы о чем разговаривать. Для того чтобы с человеком разговаривать, надо его понять.

Конечно, эта девушка не похожа на Галу. Гала была постарше и, возможно, поумней. И она сама подсказывала тему разговора. А эта девочка в магазине казалась очень бойкой и шустрой, а здесь что-то застеснялась.

Да и сам он в магазине, как это ни странно, чувствовал себя свободней.

Во-первых, для того чтобы разговаривать, надо решить: кто он? Вернулся с погранки — нет, это только с Серегой проходит. А может, приехал с Дальнего Севера, отработал ряд годков на ударной стройке, привез много косых... А не лучше ли рассказать все, как есть?.. Отбыл срок, а теперь на свободе, о которой мечтал... Ну и что особенного, посидел немножко и вернулся. Она удивится... Бывает и такое?.. Да, бывает иногда... Ну и что? Ну и ничего. Что было, то было — и нет ничего. Можно рассказать много интересного... Какая разница, где он был, откуда вернулся! Важно найти общий язык.

— Ну вот, спасибо, — сказала она. — Здесь мой автобус.

— Так, значит, мероприятие переносится?

— Какое еще мероприятие?

— Ну... встреча... свидание.

Она не ответила.

— Знаете, Тамара, я ведь не случайно подошел к вам в магазине. Я ничего не делаю случайно. Я бы хотел увидеть вас еще раз... Это очень важно.

Автобус подошел. Девушка вскочила на подножку, стояла у незакрывавшейся двери, ища в сумке мелочь.

Иван как бы издали, как бы со стороны вновь увидел ее и понял снова, что она очень хороша. Автобус тихо тронулся, Иван сказал, догоняя автобус:

— Я зайду в магазин... Во вторник.

Она деловито бросила монетку в кассу, взяла билетик, посмотрела номер и, не найдя то, что нужно, досадливо поморщилась. Автобус уже набирал скорость.

Тамара подошла к задней двери, закрывшейся не до конца, и крикнула оставшемуся позади Ивану:

— Не надо в магазине. Здесь, в понедельник, в восемь!

Иван пошел домой пешком. Он миновал горсад, откуда доносились приглушенные, ухающие звуки духового оркестра...

Иван остановился на мгновение у входа, раздумывая, идти туда или нет, но потом, вспомнив чертовых малолеток, решил не идти. У ларька стояло всего два человека, все отвалились туда, где громыхал оркестр.

Иван снова выпил маленькую кружку пива, на этот раз с наслаждением, спокойно, и, крикнув от удовольствия, отправился домой.

Он шел по главной улице, навстречу субботней толпе...

Сейчас он чувствовал себя как бы иностранцем, который когда-то здесь жил, потом уехал, все позабыл и вновь вернулся.

Девушек и молодых женщин было в этом городе много, пожалуй, даже больше, чем он мог предположить... Некоторые походили на Тамару одеждой, прической, выражением лица, были почти как Тамара, почти, но не совсем, большинству из них было далеко до Тамары, все-таки не случайно он первой увидел именно ее. Иван гулял по улице. Не по зоне, не по двору — по улице. Просто гулял... Не уходил, не догонял, просто так шел по улице своего города.

«А все-таки я поздновато выбрался,— подумал

Иван.— Ведь если бы я был поумнее и не убежал тогда, уже давно был бы на свободе».

Он выругал себя за тот побег, как больной человек ругает себя за то, что по-глупому подхватил болезнь...

«Но все это с какой стороны посмотреть,— сказал себе Иван.— Это чудо, что я здесь, с руками, и ногами, и с головой, и даже часть зубов осталась после цинги, и возрастом еще не старик... А значит, не так уж все плохо».

И он решил больше не мучить себя нелепыми сожалениями и вопросами.

Друзья считали его слово и решение непререкаемыми, знали, что, если он что-то сказал, от этого не откажется, и не догадывались, что он мысленно отменял свое решение десятки раз, ставил его под сомнение, ругая себя за якобы неправильный ход, но никогда и никому не признавался в том.

Он шел по улицам, даже не пытаясь их вспомнить, так они изменились. Ведь он не был здесь в общей сложности почти двадцать лет. Один переулок, темный и немощеный, с булочной на углу, показался ему знакомым. С этой булочной было связано и единственное в его жизни воспоминание об отце.

Он шел с отцом из этой булочной зимой и незаметно отковыривал мягкую корочку свежего, только что из печи, батона и не мог оторваться, почти всю корку изгрыз, такой она была вкусной, так хорошо пахла на морозе... Грыз и грыз, а отец шел рядом, задумавшись, и не замечал. Потом к отцу подбежали какие-то люди и что-то сказали, Ваня не расслышал, а только подумал, что это отцу нажаловались на него за хлеб. Люди отошли, а отец кинулся к нему и стал жестко драть ему уши... «За что? Что я такого сделал? За эту несчастную корку?!» — думал Иван, кривил лицо, но не плакал. Уши, однако, почему-то не болели. Иван, испуганный отцом, вдруг услышал, что тот шепчет ему: «Терпи, Ванюш, терпи, сынок».

И это очень удивило Ваню. Сам наказывает и сам жалеет.

Только чуть позже, когда мочки ушей вдруг начали неожиданно болеть и как бы вспухать, он понял, в чем дело: просто он забыл опустить уши трууха и не заметил, как обморозился, а прохожие увидели, что уши белые, и сказали отцу.

Вот именно у этой булочной оно и было. Здесь, по этой улочке, и шли они с отцом, здесь и грыз Ваня ту вкусную теплую корку, запах которой и сейчас не позабыл, здесь и обморозился.

Вот и все, что он про отца помнит.

И еще помнит, только совсем смутно, как отец ушел из дома на фронт. Было это ночью, Иван спал, а когда отец подошел к его кровати, скрипя ремнями портупеи, он проснулся и полуоткрыл глаза.

Но он не показал виду, дурачок, что проснулся, потому что в полусне затаил обиду на отца: уезжает, а не берет его с собой. А ведь говорил ему, что возьмет с собой, что куда угодно возьмет с собой, даже на фронт, и научит стрелять... Говорить-то говорил, а теперь прощается в спешке, в темноте с ним, полусонным, прикладывает губы к его щеке и что-то шепчет. А Ваня и не слышит, лежит, задержав дыхание, ему хочется зареветь, но он крепится из последних сил.

— Спит,— говорит отцу мать.— Не буди. Зачем лишние слезы?

— Я и не собираюсь,— вроде бы говорит отец.— Жалко, что вот так... Что с Ванькой-то и не простился... Все скажешь ему, как надо. Он уже большой, поймет...

Но ничего не хотел понимать Ваня в тот миг, обида, невыплаканные слезы и предчувствие чего-то плохого сдавили ему грудь, и он не ответил на поцелуй отца. Только когда отец и мать вышли из комнаты и он остался один во всем доме, в полумгле, в зябкости рассвета, испугался и зарыдал громко, ни от кого не таясь.

Больше никогда он не видел своего отца и, чем дальше жил, тем больше отвыкал от той простой мысли, что у него был когда-то отец. Теперь отец все чаще становился строчкой в деле, и, когда он говорил следователям об отце, о том, что отец, секретарь райкома партии, погиб на фронте, они всегда укоризненно качали головой, видно мысленно сравнивая жизненный путь Ивана с биографией его отца, того самого человека, который действительно когда-то существовал и тер онемевшие уши Ивана в переулке возле булочной...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Иван легко нашел свой дом, прошел садик, показавшийся вечером более просторным, чем утром, увидел свет в окнах с открытыми ставнями, покойный и теплый, и, казалось, услышал голоса там, в доме. Он неторопливо прошел сенцы, разулся, снял пиджак и вошел в комнату. Первое, что он увидел, было серое, вытянутое, озабоченное и недоброе лицо матери, а уж потом взгляд его буквально вонзился в молодое мужское лицо, в голубые, как бы равнодушные глаза, чей свет был неожиданным и чужим в этой комнате, казенно знакомым. Обычный костюмчик, тупорылые ботинки, рубашка, узенький, как селедка, галстук — все было обыкновенным в этом человеке и все же обожгло неприятной знакомостью, и в соединении с угрюмо-болезненным лицом матери, понурым — Вячеслава Павловича, в соединении с пустотой и тишиной, означавшей отсутствие в комнате младшего брата, — все это не оставляло места для лишних вопросов, кто пришел и зачем.

Животом, чутьем Иван понял — кто, да только еще не знал ответа на второй вопрос — зачем. В нем мгновенно заработала отлаженная годами пружина, сжавшая его тело, приготовившая к броску, к уходу, к побегу, но усилием воли он застопорил, свел на нет это инстинктивное, мощное движение, подумал с холодком: далеко не уйдешь да и незачем ему бегать, нет такой необходимости на сегодняшний день, ибо сейчас, как никогда в жизни, за ним действительно ничего нет.

Он заставил себя пройти по ставшему тесным квадрату комнаты, сказать: «Привет всем присутствующим», — сесть на стул, вытащить, не торопясь, любопытствуя на незнакомого гостя, пачку папирос, ударить пальцем по донышку пачки, выбивая папироску для гостя, протянуть ему ее...

— Спасибо, некурящий, — сухо ответил гость.

Он оглядел Ивана, как бы мысленно сверив его облик с кем-то ему одному знакомым, и сказал:

— Значит, Лаврухин-Серебров Иван Владимирович, если не ошибаюсь.

— Не ошибаетесь несколько... Только еще не все фамилии назвали.

— Ну, основные, по которым вы проходили.

— Еще проходил примерно по пяти, у вас, видно, не полные сведения имеются, только могу сообщить одну небольшую поправочку.

— Какую же? — спокойно, как бы без интереса, спросил гость.

— А вот какую, уважаемый... — Он поискал обращение: «гражданин» — нет уж, хватит, отговорено, этого ты не услышишь; «товарищ» — не нужно Ивану таких товарищей; наконец Иван нашел то, что искал... — Молодой человек! Простая у меня, единственная фамилия — Лаврухин. Так прошу и называть. А все остальные, к вашему сведению, недействительны, так как по ним я проходил по делам, а дела эти на сегодняшний день полностью закрыты. Известно ли это вам?

— Известно, — сказал гость.

— Вам-то, как я погляжу, все известно, но мне лично неизвестно, молодой человек, по какой причине вас это может интересовать.

— Давайте обойдемся без «молодых людей», — наставительно, с легким звоном металла, но без злости сказал гость. — Моя фамилия Шадрин Борис Петрович, участковый инспектор. — Он двумя пальцами взял что-то лежавшее в верхнем кармашке и, приподняв, показал краешек красной книжечки.

— Что вы ко мне имеете, Борис Петрович? — спросил Иван.

— А то, Лаврухин, что надо бы соблюдать некоторые моменты.

«О чем это он? — подумал Иван. И ему показалось, что он действительно что-то уже натворил, нечто такое, что одному этому менту и известно, о чем он сам, Иван, позабыл. — Да что за бред? — подумал Иван. — Кто мне может что предъявить, если ничего я не делал?»

Однако все сигналы тревоги, бедствия вдруг вспыхнули, включились, садняще обжигая все внутри, он почувствовал прямо-таки физическую боль, такую острую, какую он не испытывал и в более тяжкие моменты своей жизни. Мысль о том, что можно потерять все, что за эти два дня было: дом, мать, вчерашнее утро в саду, булыжную улочку, по которой ходил с отцом, музыку в парке, Тамару и больше всего братана, несущего подаренный им

автомат, — мысль об этом показалась нестерпимой, безвыходной, как самый плохой приговор.

— Вам должно быть известно, Лаврухин, что по прибытии вы должны были немедленно явиться в отделение милиции по месту жительства по существующему порядку о лицах с двумя и более судимостями.

Иван почувствовал облегчение.

— К тому же, по нашим данным, вы никогда здесь прописаны официально не были, да и вообще нигде не имели прописки, кроме временной.

— Когда же ему было являться к вам? — вступила в разговор мать. — Когда только с поезда слез... Что ж, прямо с вокзала — прямо к вам бежать?.. Вас-то он частенько видел, а вот с нами долгие годы не виделся... Странно вы рассуждаете, товарищ дорогой.

— Зачем же с поезда?.. Сегодня с утра мог бы зайти. Ведь это поважнее, чем в парке толкаться.

— Сегодня суббота, — сказала мать.

— Мы без выходных работаем, — сказал участковый Шадрин. — Дежурный всегда на месте.

— Нет уж, извините, — сказал Иван. — После долгой отлучки и в парке не вредно потолкаться... В обычном таком парке культуры и отдыха.

— Проводите время где хотите, Лаврухин. Но сперва получите официальное разрешение на проживание в данной местности, а во-вторых, не нарушайте порядка для лиц с двумя и более судимостями, освободившихся после заключения.

— Слушайте, вы, — тихо, сдавленно сказала мать, — вы все-таки потише давайте... Выбирайте выражения... Тут ребенок в соседней комнате, младший брат... Ему это совсем не обязательно.

— Извините, не учел, — сказал участковый.

— И вообще, уважаемый товарищ, я завтра, между прочим, найду к Алексею Гавриловичу и спрошу: что это за порядки? — сказал Вячеслав Павлович, до этого момента молчавший. — Приехал сын, можно сказать, из мест не столь отдаленных... Честно отработал то, что положено. Приехал не к чужим, а к родне, которая тоже, можно сказать, потерпелась из-за данной ситуации. И что же происходит? У нас, можно сказать, праздник, а вы тут являетесь и начинаете... — Вячеслав Павлович со стари-

ковской какой-то укоризной пожал плечами...— И нечего вам беспокоиться за работу и за прописку. Я лично его устрою... И с начальником вашим тоже знакомы. Не первый день в этом городе живем.

Иван удивился и обрадовался таким высказываниям отчима. Главное, чтоб тылы были надежные, чтоб свои не предавали, а что касается этого неожиданного прихода, то Иван начал понимать, что это все, как говорится, для понта, узнать, что к чему, какова обстановка в доме, показать недвусмысленно: ты, мил друг, не хорохорься где не надо, мы тут рядышком, мы не дремлем... Почему не заглянуть на огонек, раз служба такая, почему не посмотреть лично: что это за птица с клювом — Иван Лаврухин? А клюва-то и нет... Был, да отпилили.

— Товарищ начальник, — мирно сказал Иван, — не тратьте на это нервы. У нас все в порядке было, есть и будет... А подсечка у вас поставлена четко.

— Ну, уж было-то не совсем в порядке, — сказал участковый, как бы не услышав последней фразы Ивана.

— Что было, то было, — сказала мать. — Знаете, как в песне поется? Зачем же былье не к месту вспоминать?

— Песня здесь ни при чем. Одно дело — песня, другое — жизнь, — сказал участковый. — А порядок для всех установлен.

— Но согласитесь: существуют же некоторые деликатные моменты, — сказал Вячеслав Павлович. — На такой службе все понимать надо.

Участковый посмотрел на Ивана, усмехнулся, как показалось Ивану, со значением. Иван подумал, что родня малость перебрала и все эти словопрения могут кончиться для него нехорошо, что парень, видно, оскорбился, они ведь не любят, когда качают права, и вот сейчас он заведется и заберет с собой Ивана, и в соответствующем месте отстучат Ивану бумажку на машинке, чтобы в двадцать четыре часа уматывал на все четыре стороны.

Участковый, однако, ничего не сказал, встал, повернулся резко, как по команде, и пошел к выходу. Весь вид его, похоже, не понравился не только Ивану, но и матери, потому что она сорвалась с места и, перегородив путь милиционеру, сказала одновременно и просительно и властно:

— Нет, так у нас не положено. Раз в гости пришли, садитесь к столу.

Участковый бросил коротко:

— Спасибо. Ни к чему это.

— Знаете что, — сказала мать, — простите, забыла, как вас зовут...

— Лейтенант Шадрин Борис Петрович.

— Так вот, Борис Петрович, вы уж нас не обижайте... Праздник у нас большой. Вы уж поймите.

— Не об этом речь ведете, — сказал лейтенант, задержавшись у дверей. — Мы тоже люди и тоже понятие имеем... Но раз ты вернулся кое-откуда, то зайди по-хорошему: так, мол, и так... А то ведь как получается на практике? Сначала дело новое придет, потом уж самого увидишь. А в районе, между прочим, какое положение создалось? На днях очистили магазин райпотребсоюза, обувную мастерскую, кафе «Буратино».

Мать сделала протестующее движение.

Лейтенант кивнул:

— Не о вас речь. Мы уже цепочку взяли. Но представьте себе, человек из определенных краев вернулся. Вокруг него начинают группироваться старые знакомые... И вот на этом фоне в районе что-то случилось. Вот и начинаешь думать, есть тут связь или нет. Вам это нужно? Нет. И нам, кстати, это не нужно.

— Ладно, начальник, — сказал Иван. — Мы вас поняли... Вы нас тоже поймите...

Участковый пошел к двери. Но мать, видно, не собиралась его отпускать.

— Нехорошо так. Все-таки уважать надо людей... Окажите нам честь, а Ивану доверие... Прошу вас к столу.

Вячеслав Павлович уже пододвигал стул.

— Ну ладно, посижу минутку, — согласился лейтенант.

Через минуту появился штофик с водкой, остатки вчерашнего пиршества. Вячеслав Павлович точной рукой, не целясь, разлил беленькую в мелкие рюмочки.

— Ну, вздрогнем! — сказал он.

Все, даже мать, быстренько вскинули рюмки. Только лейтенант не шелохнулся, все осеклись, замерли, чувствуя разницу между собой и им, таким молодым по возрасту и с виду похожим на всех обычных парней, но являю-

щимся в полном смысле слова представителем власти.

Мать начала очень бодро, настолько бодро, что Ивану показалось, будто это наигранно, она улыбалась и говорила громко, а глаза были потухшие, но вдруг голос ее сломался, и все лицо быстро и сильно побледнело, и рот дернулся, будто она поперхнулась костью.

Она замолчала и села на стул.

— Да что ты, Ната? — сказал Вячеслав Павлович.

Иван удивился этому имени: «Ната». Разве у матери есть и такое имя? Никогда он не слышал, чтобы кто-нибудь ее так звал.

А она между тем тяжело сползала со стула. Иван с опозданием, Вячеслав Павлович на мгновение раньше кинулись к ней. Иван поддерживал ее за руки, старался, чтобы она не упала, с ужасом чувствовал безвольную, неуправляемую тяжесть ее тела. Вячеслав Павлович начал метаться по комнате, беспомощно размахивая руками, что-то искал, что-то неразборчиво бормотал.

Иван с усилием подтащил ее к дивану, подложил под голову подушку, увидел, как набухшие веки начали прикрывать глаза, дотронулся до ее лба, и ему показалось, что лоб холодеет. Вячеслав Павлович увидел лицо Ивана и закричал.

Лейтенант быстро и деловито, как врач, подскочил к матери, склонился над ней, взял руку, нащупал пульс, глазами приказал Вячеславу Павловичу, чтобы тот перестал бегать, чтобы замолчал.

В комнате стало тихо, лейтенант сидел, выражение лица у него было колдовское, а Иван и Вячеслав Павлович со страхом и надеждой смотрели на него, как на врача.

— Прощупывается, — сказал лейтенант. — Но слабенький...

Он покопался в пиджаке, нашел цилиндрическую металлическую коробочку, откупорив ее, сунул матери что-то в рот. Зубы ее были сомкнуты, он стал с усилием разжимать челюсти, но она сама неожиданно открыла рот, по-собачьи, языком взяла таблетку, что-то надтреснуто, неразборчиво прошептала.

— Сейчас, сейчас получше будет, — говорил лейтенант. — Это — хорошее средство, проверенное. Валидол.

То ли средство помогло, то ли мать сама справилась, но лицо ее начало окрашиваться слабым румянцем,

она провела рукой по лицу, сказала виновато и тихо:

— Ну вот... напугала всех.

— Вот видите, помогло, — возбужденно говорил лейтенант. — Нелишне иметь при себе. Я иногда в сильную духоту, в жару или как понервничаю сам употребляю, оно кислое, приятное, вроде мятной конфеты...

Он еще раз пощупал пульс у матери и сказал:

— Ну вот, теперь все в порядке... Я уж пойду, пожалуйста.

— Нет, погодите, — слабым голосом сказала мать. — Сейчас Слава чаю поставит.

Вячеслав Павлович, весь еще напуганный, сжавшийся, покорно выскользнул на кухню.

Мать лежала на диване, а Иван с лейтенантом молча сидели у большого обеденного стола. Иван сказал лейтенанту:

— Давай, лейтенант, по маленькой — за мать.

Лейтенант посмотрел на Ивана, подумал:

— За мать... как говорится, символически. Чтобы не было у нее больше с тобой неприятностей. Согласен?

— Согласен, лейтенант. И чтоб ты ее больше не пугал.

Вячеслав Павлович возился на кухне, чашки звенели, круто, громко закипал чайник.

— Ты, лейтенант, за меня не бойся, — сказал Иван. — Я уже старый. Я вот лет на десять тебя старше. А может, и на сто... Я уже устал, да и здоровье не то, так что можешь за меня не волноваться.

— Только потому, что здоровье не позволяет, — сказал лейтенант.

— Не только. Есть еще много, много других причин, да ведь мы еще не сошлись так близко, чтобы рассказывать.

— А близко нам и не надо, — сказал лейтенант.

Вячеслав Павлович уже принес чай, пироги, варенье.

Попили чаю, не торопясь, поговорили о чем-то незначущем, неважном.

— Где живете-то? — спросил неожиданно Вячеслав Павлович.

— Между небом и землей, — усмехнулся лейтенант.

— То есть?

— А вот так. Обещали дать с назначением, но уже год тянучка идет. Холостой, семьи нет, вот и таскаюсь с

квартиры на квартиру по углам. А ведь мог в Средней Азии остаться работать. Я в Ташкенте училище кончал. Бывал кто? — спросил участковый инспектор.

— Я бывал, — сказал Иван. — Приходилось.

— Так вот, как приехал из Ташкента, так и не устроюсь.

— Что же это?.. И вас, выходит, обделяют? — сказал Иван. — Не дело. Власть своих не должна обижать.

— У нее все свои, — сказал лейтенант.

— Выходит, что и я свой?

— А то какой же? Ты, можно сказать, нарыв на теле общества, но свой.

— Спасибо за комплимент, начальник.

— Да нет, я не в настоящем времени имею... Я имею в прошедшем. А то кто ж ты был, как не нарыв... Роза, что ль, чайная?

— Ну, опять пошли не в ту степь, — сказал Вячеслав Павлович. — Конечно, нарыв, а то кто же, только был нарыв, да лопнул. А теперь новая кожа выросла. Не так ли, товарищ лейтенант? А с квартирой безобразие.

— Оставайтесь у нас, — сказала мать. — И места много, и Иван у вас под рукой. Чуть набедокурит — сразу за шкуру.

— А что, — сказал Иван, — идея. По крайней мере, не соскучитесь.

Все улыбнулись, и лейтенант тоже, но как-то невесело. Он поднялся с места, но Ивану показалось, что скорее по необходимости, чем по желанию... Видно, не так уж и хотелось ему уходить из теплого, обжитого дома на квартиру, которую он снимал.

— До свидания, товарищи, — сказал он официальным, таким же, как вначале, тоном. Он постоял, поглядел в раздумье на Ивана и добавил тем же тоном, только понизив голос: — А ты, Иван, на днях зайди куда надо. Ко мне лично.

— Будет сделано.

— И вообще, — сказал лейтенант, — надеюсь...

— Все будет нормально, товарищ лейтенант, чин чинарем.

— Ну, спасибо и будьте, — бросил лейтенант и ушел.

— Про свое не забывает, — сказал Вячеслав Павлович. — Из молодых, да ранний.

— А что, вроде симпатичный, — сказала мать.

Иван промолчал. Может, и симпатичный. А может, и нет; лично для него, Ивана, все они симпатичные.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Правда, был один. Лет двенадцать назад Иван возвращался из колонии с Урала, отбыв свой срок. Возвращался он к старым друзьям и знал уже заранее, что начнется все снова, потому что тогда ни к чему другому интереса не имел. Но в дороге об этом думать не хотелось.

Была весна, он стоял все время у окна вагона и смотрел с нежностью на то, что давно уже не видел, от чего отвык: на мелькавшие домики, на темные голые поля, на проносящиеся станции, где скорый не останавливается, на мальчишек, что-то громко, возбужденно кричащих вслед поезду.

Зябко ему было, и странно, и одиноко, и интересно... Чувствовал он себя и молодым и старым, глупым, как лопоухий щенок, и хитрым, как травленный на охоте волк.

Шел он сквозь вагоны спокойно и медленно, не прыгая на ходу, не свисая с подножек, никуда не торопясь, а просто так, пассажир, идущий в направлении вагона-ресторана. Ему нравилось идти по вагонам, на секунду заглядывая в чужую жизнь: вот эти спят, а те играют в карты, а третьи пьют вино, а вот девушка на нижнем боковом, в некупированном вагоне. Вот что его интересовало сейчас: не деньги, не работа, не будущее, а девушки, стоявшие у окна, сидевшие у столиков, читавшие, лежавшие на сиденьях, спящие и притворяющиеся, что они спят. И не то чтобы он конкретно чего-то хотел от них, хотя, конечно, и это было, но просто ему было хорошо и радостно, что они есть, вот тут рядом, отделенные от него не стеной, не проволокой, а тоненькой вагонной перегородкой, а некоторые ничем не отделенные.

Он разглядывал их и разговаривал с ними, записывал их адреса, все они сходили на разных станциях, махали ему ручкой, делали грустные глазки, но кто-то там их встречал, ждал, а он ехал дальше. За одной он ухлестывал

довольно сильно, она была спортсменка и ехала на сборы. Ее окружали рослые парни с румяными ряшками. Иван таких не уважал: они все казались ему глупыми и занимались не делом. Хоть были они с виду и здоровы, и рослы, и мускулисты, но Иван представлял себе, что если понадобится, если жизнь заставит, то он будет ломать их как захочет и давить, как приземистый, худой волк может задавить любую рослую и мордастую овчарку, даже если у нее на шее болтается несколько золотых медалей. Но заводиться с ними без причины он не собирался, настроен был по-весеннему мирно, да и к чему ему валиться на чепухе?

Но девушка эта, Верка, чемпионка по плаванию, уж больно была хороша. Беловолосая, тоненькая, в синем спортивном костюме, который как бы приравнивал ее к мужчинам, да только не мог приравнять.

Все они, парни и девушки, были в своей спецодежде, в синих штанах и курточках. Эта облегчающая одежда к женщинам была беспощадна: если ноги короткие, или толст живот, или что-то еще не так, как надо, то форма только выпячивала все эти недостатки. Она же, Вера, чемпионка области или района, это Ивана не интересовало, была тоненькая, с узкой, детской талией, с сильными, длинными ногами, и казалось, вот так и родилась в этой синей эластичной коже. Очень подчеркивал спортивный костюм ее хрупкость и силу, девичество и женственность.

Иван так и эдак подходил к Вере, но она улыбалась ему, как всем, приветливо, но ничего не обещая.

В ресторан она идти отказывалась, а различные байки, которые Иван вспоминал к месту и не к месту, слушала вежливо, но рассеянно.

Спортивные парни смотрели на Ивана искоса, пиво, которое он покупал в станционных буфетах, не пили и, казалось, при первом удобном случае готовы были его отколошматить. Тогда Иван, не любивший ходить на любую охоту в одиночку, нашел себе напарника. В купе к нему подсел молодой азербайджанец. С кавказцами было легче знакомиться, и через несколько часов Иван и азербайджанец были если не друзья, то хорошие приятели. Правда, азербайджанец пил только сухое вино, да и то понемногу, и сильно темнил насчет работы, и на прямой

вопрос Ивана: «Где имеешь приварок?» — он отвечал: «Ай, в одном месте».

Разумеется, Иван не раскальвался насчет себя: работал он будто товароведом в одном хорошем месте по распределению после окончания техникума. Было это и культурно и привлекательно для собеседника.

« — А у вас такого-сякого не бывает? У нас этого почем зря не достанешь.

— А чего ж, бывает... иногда в конце квартала...

— Так... может быть, я прямо к вам в случае чего, если...

— Зачем так сложно?.. Я и сам для вас возьму, если будет, и пришлю, потом отдадите...»

Но собеседники не любили неопределенности, они хотели уж все наверняка, зная, что если оставить деньги, то это обяжет товароведа повернуться и достать... Ну, а на всякий случай (хотя как они могли не поверить такому хорошему, отзывчивому человеку?) записывался точный адресок Ивана. Конечно, Иван не преминул показать свое служебное удостоверение, а кто там будет разбираться подробно, что, где и зачем, если синими чернилами на белой картонке написано: «То-варо-вед».

Все чин чинном. А иногда и не брал Иван задатка, просто так — на симпатию, на интерес, в счет будущих поставок. Порой и без умысла, не для корысти и махинации, а просто так представлялся людям на их вопрос: «Кем работаешь?» — «Товароведом».

В конце концов кем он был, если не товароведом?..

Азербайджанец же вообще нравился ему. С ним приятно было заходить в купе к девушкам, очень он был мягкий и обходительный. Что азербайджанец может понравиться девушке больше, чем он сам, этого Иван не мог допустить. Так и появлялись они вдвоем в вагоне, где ехали спортсмены.

Азербайджанцу тоже сразу понравилась беленькая Вера, и он с ходу начал «гулять по буфету», — приносил девушке конфеты, выскакивал на полустанках, притаскивал ведра яблок, теплую, как бы подтаявшую картошку.

Допоздна они сидели в ее купе, бесконечно раздражая спортсменов, остря и стараясь выделиться на общем фоне, а она только тихо посмеивалась, оставляя обоим расплывчатые и весьма неопределенные надежды...

Потом она сошла вместе со своими спортсменами, оставив адрес все-таки азербайджанцу, а не Ивану.

Правда, она сказала Ивану: «Будете в Запорожье, заходите». Но адрес не дала. Просто — Запорожье. Спортивное общество «Буревестник».

Да Иван нашел бы при желании, умел он и без адресов находить, да только зачем?.. Зачем все это, когда нет ответного чувства? Так и сказал ей Иван на прощание: мол, всего вам доброго, новых рекордов на благо советского спорта, прыгайте выше всех, ныряйте глубже всех, но ведь выше себя все равно не прыгнешь...

Девушка не поняла, что именно этим хотел сказать Иван, и он не стал пояснять. И ребенку был ясен смысл: какую сильную промашку сделала девушка, не оценив Ивана... Молодой был тогда Иван, глупый и думал, что все должны его ценить. По заслугам. А получалось, что по заслугам ценили его не женщины, а городские, областные и даже республиканские суды... «Ах, все это блажь: и спортсменки, и любовь, и разные варианты,— думал Иван.— Главное, доехать, не наколоться на пустяке, найти своих, немного отдохнуть, погулять — и снова за дело». Потому как что еще он в жизни любит и умеет?

А Верочка стоит на станции, чемоданчик у ног, стоит среди таких же синих, форменных, спортивных и молодых, машет рукой то ли азербайджанцу, то ли Ивану. А может, и всему вагону. Вот подошел автобус, синяя стайка вкатилась в него, вот мелькнула в последний раз в окошке белая кудрявая голова, и автобус скрылся.

— Ну, что ж, друг,— сказал Иван.— Ни тебе, ни мне, а какому-нибудь атлету с секундомером. Пойдем посидим.

И азербайджанец, почему-то до этого избегавший вагона-ресторана, неожиданно согласился.

Они хорошо, спокойно, долго сидели, обсудив Веру и вообще женщин. Азербайджанец сказал Ивану, что есть у него невеста, что как только устроится на работу, получит квартиру, так и вызовет свою девушку, хотя и не хотелось ему ехать в Россию.

— А что за работа у тебя такая? — спросил Иван уже не в первый раз.

Парень помешкал, поглядел на Ивана, будто впервые его видел, будто соображал, стоит он признания или нет,

и, убедившись, что Иван все-таки этого, несомненно, заслуживает, сказал:

— А работа простая. Училище МВД окончил, получил звание, назначение, еду к месту.

«Ах, вон что, так вот ты из каких слоев общества!» — подумал Иван и сказал:

— Ну что ж. Такие люди нам нужны.

— Кому нам? — удивился азербайджанец.

— Всем нам, — пояснил Иван. — Обществу.

Они посидели еще часок-другой под мирный перестук колес, попивая красное сладкое вино, запивая его горьким пивом, заедая жестким дорожным бифштексом с застывшим оранжевым фонарем яйца на верхушке.

Азербайджанец рассказал Ивану, что работал на заводе слесарем-сборщиком, что был дружинником в заводском отряде, что у них в городе резня сильно распространена и есть повод, нет повода — чуть что, мужчины за железку хватаются. Вот он и боролся с нарушителями, однажды самого порезали, две благодарности получил, а потом вызвали, предложили по комсомольскому набору, и он пошел. Училище окончил, получил назначение, вот и все дела...

— А почему не в форме едешь? — спросил Иван, сделав наивные глаза.

— Приеду на работу, надену. Зачем людей стеснять, себя обременять?

— Ну, а если в дороге что?

— Если да кабы, во рту вырастут грибы...

— А вдруг вырастут?

— Ну, а вырастут — поджарим. И без формы можно свой долг выполнять.

У Ивана вдруг сердце заныло, и он спросил все так же спокойно и дурковато:

— А без пухи можно долг выполнять? Пуха у тебя с собой?

— Какая еще «пуха»? — сказал азербайджанец не то чтобы с подозрением, а с недоумением.

Впрочем, Иван догадывался, что недоумение — это как бы начальная стадия подозрения. И еще он почувствовал, что вопрос его был лишним, что так, «в лоб», не выразишь, а все завалишь, если что и задумал. А он еще ничего и не задумал.

— Ну, какая пуха, — спокойно сказал Иван. — Обыкновенная пушка, пистоль, называй как хочешь. Ты что, в армии не служил, что ль?

— Почему ж, служил. Только у нас там никаких «пух» не было.

— Не знаю, где ты служил, — равнодушно и как бы теряя интерес к теме, сказал Иван.

Однако вскоре прежнее доверие было восстановлено... Иван даже рассказал азербайджанцу о том, как партизанил и как был взят в плен.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Он рассказывал об этом редко и без прикрас. О чем угодно он мог врать. Об этом — никогда. Это было, и он часто удивлялся сам: ведь надо же было такому случиться именно с ним.

Теперь все реже и реже вспоминал он тот лагерь под Эрфуртом и дом, где он впоследствии батрачил у пожилой вдовой немки.

Она любила выпить и, чтобы не пить в одиночку, наливала ему немножко густого, желтого, пахнущего мятой пойла. Она разбавляла это водой и давала ему на закуску пару таких же мятных конфет. А ему хотелось есть: мяса, или кусочек сыру, или хотя бы хлеба. Она пьянела быстро; узкое длинное лицо ее наливалось румянцем, она включала патефон и заставляла его танцевать.

Он танцевал не в склад, не в лад — русского, вприсядку, под картавое цветочное танго. Она не сердилась на него. Муж ее погиб во Франции, а сама она жила когда-то в России, ее мать была остзейская немка, и к русским она относилась довольно терпимо. Главным ее врагом была Франция. Выпив, она начинала разговаривать: «Вот как бывает, мой бог... Никто там не остался, в этой стране шлюх, никто не остался навсегда, никто там и не погиб, может быть, пятьдесят человек, не больше, и среди них, мой Карл Вальтер. Надо же быть таким растяпой, чтобы дать подстрелить себя там. Мой муж не был рожден для войны, у него была лучшая в городе коллекция марок, и он переписывался со множеством филателистов... Что поделаешь, на войну всех забирают, даже чудаков...»

Она не мучила Ивана, не издевалась над ним, как другие хозяйки. Побила раза два-три «для порядку», но не сильно, без злобы... Кормила не досыта, но так, что жить можно было.

Он хотел ее ненавидеть, но не мог.

В своей жизни затем он встречал людей гораздо более несправедливых и страшных, чем она.

Однажды он подрался с двумя немецкими мальчишками с соседнего двора. Они обдали его водой из шланга, а была зима, и довольно крутая для тех мест, и волосы его, облитые водой, стали стынуть, слиплись, казалось, вот-вот покроются ледяной коркой. Братья показывали на него пальцем, хохотали, мотали взад и вперед длинным шлангом, кричали:

— Russischer Schwein! Russischer Schwein!

Они дразнили его и раньше, но Иван сдерживался, молчал, он не считал этих ребят такими уж злыми, однажды они даже дали хлеб с повидлом, но иногда на них находило черт-те что, и тогда они бешено цеплялись к нему.

Раз летом он работал во дворе без рубашки, голый по пояс. Когда он кончил работать и подошел к сараю, взял свою рубашку, увидел, что она мокрая и пахнет мочой. Братья как ни в чем не бывало гоняли мяч на соседнем участке. Иван в то время работал у хозяйки недавно и старался изо всех сил, боялся, что его отправят обратно в лагерь. И он промолчал, хотя всю ночь не спал и все обдумывал, как на рассвете возьмет кухонный нож, перемахнет через забор, дождется их во дворе у сарая и, когда они пойдут в школу, нападет и зарежет, как свиней, которых резал под руководством своей хозяйки. Он думал только об этом.

А в этот раз он стоял перед ними, уклонялся от холодной, твердой струи, и не было у него под рукой ничего, даже камня. Но в нем поднялась и стала разрывать его грудь кашлем и болью такая ярость, что, когда он кинулся на них с белым, перекошенным лицом, с прищуренными, покрасневшими от гнева глазами, с полумерзшими волосами, они рванули от него в дом, хотя были и старше и рослее его.

Одного он догнал, ударил под дых, свалил на землю и стал пинать чеботами. Тогда он почувствовал нечело-

вечески твердый и тяжелый удар по плечам. Он покачнулся, удержался на ногах и продолжал бить ногами лежавшего фрица. Он увернулся от второго удара, такого же чугунного и свистящего, чуть задевшего его руку и прокатившегося мимо. Повернувшись, он увидел второго мальчишку, державшего в руках железный прут из забора... На этом пруте был зеленый полусгнивший кусок геральдического бронзового орла.

Иван бросился под удар, ухватил плечо врага, толкнул его, железка выпала из его рук, и они упали оба. Они валялись в снегу, немец хрипло ругался и стонал, потому что Иван вцепился зубами в его руку и сжимал зубы что было сил, чтобы прокусить не только эту вонючую и толстую кожу, но и кость. Попалось бы горло — Иван прокусил бы и его. Немец орал все громче и бил Ивана по голове свободной рукой, но удары ослабевали, а крик усиливался, потому что боль становилась невыносимой.

Ивана уже тошнило от этой мокрой, окровавленной, как бы резиновой человеческой кожи, и его действительно вырвало, только тогда он отпустил руку немца. Но немец лежал навзничь, Иван видел белую, измазанную ржавчиной от железки руку с нешироким волчьим надкусом ниже локтя и чуть левее вены. Сначала был алый след, зазубрина, потом густо пошла кровь.

«Фашисты, ублюдки!» — сказал Иван, выругался, ударил проклятого немца ногой по ступне и пошел.

Второй, бледный, сидел на карачках, плакал, звал отца и ругался.

Иван ушел со двора, не зная, куда бежать. Он слонялся по городу, по окраинам, зашел в какую-то пивную, там попрошайничал (он знал немало слов по-немецки). Тощий лысый мужчина, одноногий инвалид, узнал в нем русского, подозвал к себе, начал что-то тихо, вкрадчиво говорить, все время показывал, доставал монетку, подраживая Ивана, а потом неожиданно ударил его несколько раз костылем по голове, да так, что Иван потерял сознание. Его доставили в полицию, привели в чувство, стали допрашивать, откуда он, где работает. Он запирался. Тогда его посадили в карцер и сказали, что наутро отправят в пересыльный лагерь. Тут он назвал свою хозяйку. Ей позвонили, и она приехала через полчаса.

Иван не знал, что будет дальше, чего еще можно

ждать. Голова болела, ему хотелось спать. Он знал, что хорошим это все не кончится. Хозяйка сказала, что послала его в магазин, но он, видимо, заблудился. Его отпустили. Она крепко, грубо держала его за руку и молча вела домой. В дом они почему-то вошли с черного хода, как бы тайком. Когда они были уже в комнате, она спросила:

— Что ты сделал с двумя немецкими детьми?

— Я их бил,— сказал Иван,— изо всех сил, только мало. Они сволочи.

Он рассказал ей, как они облили его водой, как в прошлом году мочились в его рубашку. На хозяйку это не произвело впечатления, и она сказала спокойно:

— Сволочь ты! — И прибавила по-немецки: — Dreck! — Она помолчала, хмуро посмотрела на Ивана и добавила: — Меня уже посещал их отец. Он брал с собой ружье.

Иван был страшно голоден и попросил поесть. Она дала ему жидкого кофе, жареного хлеба с кусочком масла, он быстро съел все это и попросил еще хлеба и кофе. Она не отказала и на этот раз, но он видел, что она еще больше рассердилась. Она не любила, когда он что-нибудь просил. Просить в этом доме не полагалось. Надо было брать то, что дают. Хозяйка знает, сколько надо дать и когда, а просить — это хамство, свинство, русская невыдержанность.

Когда он поел, она повела его на второй этаж в маленькую комнатку, напминавшую чулан, и ушла, заперев комнату на ключ. Уходя, она сказала:

— Убежишь — погибнешь.

А он и не собирался убегать. Куда ему убегать? Он сидел в чулане в полной тишине и ждал того момента, когда станут слышны ее шаги на узкой деревянной лестнице. Два раза в день она приносила ему еду. Остальное время он лежал на сундуке, застланном одеялом, и смотрел в чердачное окно... Делать ему было нечего, он спал так много, что опух от сна, а когда просыпался, то начинал вспоминать отряд, и как ему там жилось, и как их неожиданно взяли. Он вспоминал до этого момента, дальше был лагерь, и вспоминать не хотелось. Еще он вспоминал мать и отца, как тот ушел, не попрощавшись, ночью и как он, Ваня, делал вид, что спит. «Зачем так

делал? — корил он себя. — Почему я с ним не простился?.. А где он теперь, батя? Может, в плену, а может, в бою погиб».

Почему-то Ване не верилось, что отец его живой. Он слишком много видел, как умирают, и понял теперь, что это очень легко — сделать из живого человека мертвеца. Ему становилось страшно оттого, что и его может прибить отец этих двух маленьких немцев. Придет с ружьем и запросто пристрелит, как ничью собаку.

Но он не жалел, что связался с ними, он жалел, что мало им дал. Если бы он мог, он бы их убил. Они были фашисты. Он кусал руки от тоски, страха, одиночества, от бессильной злобы и обиды. На кого? Он не знал. На этих двух фашистиков? Не только на них... Вообще на всех немцев и вообще на всех людей.

И вообще на свою жизнь.

Он утыкался носом, лбом в маленькую жесткую цветастую подушку-думку и скулил в голос, без слез... Избитая его душа томилась, стонала, посылала свои сигналы родным людям... Но только где они были, родные?

Однажды хозяйка зашла к нему в такую минуту. Ему было так плохо, что он не услышал даже ее шагов, а когда открылась дверь, он мгновенно вскочил и выругался. Но она, видно, сама испугалась, поглядев на него, что-то прошептала, замешкалась, потом вдруг протянула руку, дотронулась до его головы. Он подумал, что она хочет его ударить. Но он ошибся. Бить его она не собиралась. Это он понял через секунду, когда увидел ее лицо. Лицо было постаревшее, бледное, с удивленными глазами, такое, как после церкви. Когда она приходила из церкви, у нее всегда были такие просветленные, тихие, измученные глаза.

Словно забыв, что она умеет говорить по-русски, она что-то долго, неразборчиво шептала по-немецки, обращаясь к нему и прикладывая руки к груди. Он этого не понял. Он понимал про еду и про работу... Потом она перестала шептать, постояла еще минуту, оглядывая его, это помещение, сундук, узкое чердачное окно, точно она прощалась с этим, точно она прощалась с этим перед долгой, может быть вечной, разлукой. Оглядев все, она ушла.

И все продолжалось, как было. Еще месяц она не

выпускала его из дома, но теперь он жил не на чердаке, а внизу. С едой становилось все хуже, они ели теперь вместе за одним столом и почти поровну. Ваня забыл тот день, когда он видел мясо. И они не выпивали теперь вместе, как раньше. Хозяйка пила одна. Но она не оживлялась, как прежде, была рассеянна, неразговорчива, выключала радио, никогда не заводила патефон. Несколько раз город бомбили, и под прерывистый вой сирен они с хозяйкой шли в подвал. Когда ухали зенитки, хозяйка морщилась, а он считал залпы. Ни он, ни она не боялись...

Наконец она выпустила его погулять. Прошло три месяца его затворничества. На улице было темно, ни один огонек не прорывался сквозь затемненные окна. Изголодавшиеся, одичавшие собаки отрывисто, коротко лаяли, и натужно гудел движок. Ивану почудилось, что он дома, под Оршей, что это те самые улицы, что собаки соседские брешут, а электричество выключили, потому что поздно. И пахло уже не зимой, а весной, и необычный этот запах, легкий и свежий, тянул его бежать за околицу, еще дальше, по мокрой, нетвердой земле, бежать и бежать, пока дыхания хватает, а потом взлететь, как ястребок, и вонзиться в черное близкое небо.

— Не высовывать нос за ворота, — сказала хозяйка. — Далеко не ходить. Только двор.

И он не ходил далеко. Он не знал счет дням и не знал, какой месяц, то ли март, то ли апрель. Днем он почти не выходил на улицу, а когда вышел тайком, то увидел, что улица очень солнечная, снег стаял, правда, темные, мусорные куски неистаявшего снега еще темнели и гнили во дворе около изгороди, на обочинах улиц, что было необычно и странно. Иван встречал здесь уже не первую весну и видел, как немцы тщательно очищают улицы и дворы от снега, так, будто корова все языком слизала. На этот раз все было непривычно, заброшено, грязно, гнило. То ли хозяева забыли про свои обязанности, то ли ушли куда-то. Пригород совершенно опустел, и было много свежих развалин.

Несмотря на запрет хозяйки, Иван стал ходить иногда в город. Никто не обращал на него внимания, да и людей было мало, только школьники на территории стадиона занимались строевой подготовкой, бегали, ползали по грязной земле, протыкали воздух штыками. Некоторые были

одеты в шинели, другие в гимназическую форму. Ване было интересно, настоящее у них оружие или так, игрушки. По виду было настоящее, и Иван стал уже было примериваться, как бы украсть ружье или хотя бы тесак. Но его заметил офицер, махнул рукой, чтобы Иван подошел, но Иван рванул изо всех сил по улице и влетел в первую подворотню, где спрятался за мусорный ящик. Видно, им было не до него, особенно не искали. Прождав полчаса, он дворами вернулся домой и несколько дней не вылезал.

Он смутно понимал, в чем дело, что происходит, но еще боялся в это поверить. Тайком от хозяйки он включал радио, пытался что-то понять, но не мог. Работал только репродуктор, приемники были сданы.

Соседский дом, где жили мальчишки, был тоже пуст, стоял с заколоченными окнами. Но однажды он заметил, что на дворе появился хозяин. Он медленно ходил по двору, толкал впереди себя тележку, собирал и бросал на тележку какое-то барахло. Ваня хотел спрятаться, но хозяин его засек. Хозяин остановился, отставил тележку, сплюнул и стал долго и неподвижно смотреть на Ивана. Затем он достал садовый нож и провел им по своему горлу, пальцем указывая на Ивана. Потом длинно выругался, Иван не расслышал, но ему показалось, что по-русски. Ваня не знал, что делать, то ли бежать в дом, то ли лететь к сараю, хватать хозяйкины вилы.

Но немец не сдвинулся с места, он стоял все так же неподвижно, и злобно глядел на Ивана, ругаясь, затем повернулся к Ивану задом, ударил себя ладонью по заду, показывая Ивану воочию, кто он, Иван, есть на самом деле. И снова поволок свою тачку, снова нагибался, что-то искал, находил и на эту тачку бросал.

Губы его шевелились, видно, он все еще ругался, ругательство было длинное, как стихи.

Через несколько дней в город вошли наши.

Первым делом Иван узнал, где находится комендатура, пришел туда чуть ли не на рассвете и стал уговаривать часовых пропустить его к коменданту. Часовые пропустили, но дневальный к коменданту-полковнику не пускал Ваню, выпрашивая его, по какому он делу и зачем. Иван сказал, что ему нужен именно полковник, что ему он все и расскажет. И его в конце концов пустили. Едва войдя

в комнату, даже не разглядев как следует коменданта, Иван начал рассказывать про отряд, про плен и лагерь, почему-то вставляя в русскую речь и немецкие слова.

Ваня говорил и говорил, не мог остановиться, иногда повторял одно и то же по нескольку раз, а полковник, коренастый, широкий южанин, сидел неподвижно и слушал его очень внимательно. Руки полковника были сложены, лежали на столе, и Иван все время смотрел на эти загорелые, темные, широкие руки, и ему почему-то дико хотелось лизнуть их, будто он был собачкой, щенком.

Он и чувствовал себя от счастья не человеком, а зверьком, собакой и только по привычке говорил языком человеческим, а на самом деле ему хотелось лаять, ходить на четвереньках, лизаться по-щенячьи. Когда он чувствовал чужую власть и силу, то всегда наперекор старался перечить этой власти, а сейчас он сделал бы все, что прикажет ему этот человек... Но полковник вовсе не собирался ничего приказывать.

Он позвонил по телефону и одновременно слушал Ивана. Голос у него был хрипловатый, гортанный. Он позвал другого офицера, маленького и лысого. Маленький и лысый обнял Ивана за плечи и увел его в другую комнату.

Он запер ее на ключ, чтобы не мешали, и стал спрашивать Ваню быстро, вразброс: в какой местности находился отряд и в какое время, как звали командира, когда и как Ваня попал в плен.

Иван отвечал быстро и четко, он все понимал и врать не собирался, а лысый делал кое-какие пометки на бумажке, а через некоторое время он сказал Ване, что тот свободен.

Иван еще раз пошел к полковнику. Дневальный снова его не пускал, но Иван стал голосить, и комендант услышал и велел пустить.

— Ну, в чем дело?

Иван сидел и не знал, что говорить. Просто ему не хотелось уходить из кабинета коменданта.

Но полковник сказал:

— Не бойся, скоро тебя отправят домой, на родину.

— А где мой фатер? — спросил Ваня. — Вы можете проверить, живой он или... — Ваня подумал и сказал за чем-то по-немецки, сделав при этом жест рукой: — tot.

— Конечно, живой. Должен быть живой. И больше не

употребляя немецких слов. Помни, теперь ты снова гражданин Советского Союза.

Он открыл ящик стола, достал две банки американской свиной тушенки и пакет с кофе.

Целый день Ваня гулял, ел и пил с солдатами, они дарили ему гостинцы, и пришел он домой очень поздно.

Хозяйка ходила по комнатам, беспорядочно бросая в чемоданы и в кожаные баулы какие-то платья, простыни, туфли.

— В чем дело? — строго спросил Иван.

Хозяйка не ответила, только махнула рукой. Лицо у нее было очень красное, с белыми пятнами, будто она отморозила щеки. Иван уже знал: такие щеки у нее были, когда она выпивала больше обычного.

— Куда вы драпать собрались? — спросил Иван.

— К сестре, — сказала хозяйка. — В другое место. Видит бог, я хотела остаться здесь, в своем доме. Я не политик, не нацист... Но приходили днем, обыскивали, сказали убираться ко всем чертям.

— Кто приходил? — спросил Иван.

— Ваши солдаты. Будут дом забирать.

— Не будут, — сказал Иван. — Я скажу полковнику... Он здесь главный хозяин.

Она посмотрела на Ваню с недоверчивой усмешкой. А Ваня продолжал:

— Дом не заберут. Я сейчас к нему пойду и доложу. А соседа и двух его гадов мы заберем и отправим.

— Куда? — спросила она.

— Куда следует...

Хозяйка постучала пальцем по лбу.

— Совсем потерял голову, бедный, глупенький русский мальчик... Кому ты нужен? Где твоя мать и где ты будешь жить? Куда ты денешься после вашей победы?

— Не волнуйтесь, — сказал Ваня. — Страна у нас большая.

— Хочешь ликеру на прощание? — сказала хозяйка.

— Давайте, — согласился Ваня.

Его упрашивать долго не надо было... Первый глоток спирта он выпил тайком от всех в партизанском отряде. Горло обожгло, голова пошла кругом, и захотелось плакать, и он стал звать мать... Но ее не было рядом. А может быть, вообще ее не было нигде. Однажды он сильно про-

мерз, простудился, и тогда его стали лечить, принесли в кружке спирт, сказали, чтобы выпил и заел яблоком. Ваня выпил это лекарство, свернулся калачиком, лег на шинель, и снова ему захотелось увидеть отца или мать, но не успел он и подумать о них, как заснул... Наутро все смеялись и кричали: «Ванька, опохмелись!» И протягивали ему кружку крепкого чая. А насморка как не бывало.

В плену, в пересыльном лагере, он заболел крупозным воспалением легких, и взрослые украли где-то спирт и влили ему несколько капель в глотку... То ли от спирта, а скорее всего оттого, что живуч был, как волчонок, уцелел и тогда Ваня. А здесь, в доме хозяйки, когда ее не было дома, он частенько прикладывался к высокой фаянсовой бутылке с рыцарским замком вместо крышки и похлебывал из тонкого горла тягучую, как патока или как мед, желтую жидкость, сладкую, с горечью... Когда же на хозяйку находило и ей хотелось выпить, а выпить было не с кем, она наливала ему наперсточек. Она велела ему лить в чай.

Но он употреблял это в чистом виде. Иногда он незаметно подливал себе сам и тут же хмелел, хотя наперсток был очень мал. Она велела ему плясать, и он врубал русского или гопака два-три коленца — то, что помнил, то, что мать плясала с ним, когда были праздники.

...Хозяйка достала длинную бутылку, налила на этот раз не в наперсток, а в большой бокал, в верхней части которого была нарисована свинья, в нижней — осел. Это означало, что если ты пьешь очень мало, то ты осел, а если наливаешь себе доверху, то ты свинья.

Хозяйка налила ему «до осла». Иван достал банку с тушенкой.

— За победу над фашистской Германией! — сказал Иван громко, повторяя фразу, которую он слышал сегодня днем на митинге.

Он протянул свой бокал, где было налито «до осла», к хозяйскому бокалу, заполненному «до свиньи», и хотел чокнуться с ней, но она отстранилась. Она сказала что-то быстро по-немецки.

— Давайте чокнемся, — упрямо сказал Иван.

Она прикрыла рукой свой бокал.

— Давай чокнемся! — приказал Иван.

Она молча смотрела на него с недоумением и жалостью, будто он заболел и бредит. Будто он лежит на чердаке, уткнувшись в подушку, и скулит.

Она тихо сказала ему:

— Это русский обычай. У нас в Германии не чокаются.

Она подняла бокал, посмотрела сквозь толстое стекло на свет — на желтую жидкость, на маленького осла с опущенными ушами, на поросенка с розовым пятачком — и сказала:

— За мою любимую поверженную родину. — И, чуть отхлебнув, поставила бокал на стол.

Ваня вскочил, в сердцах хлопнул свой бокал об пол. Хозяйка тихо, неслышно ушла на кухню... В этот момент энергично, повелительно позвонили в дверь. На звонок выскочил Иван. Справился со щеколдами, задвижками, отворил. Вошли двое солдат и старшина. Ваня радостно заулыбался: «Свои».

— Кто такой? — отрывисто, сердито спросил старшина.

— Я военнопленный, — сказал Ваня. — У немки здесь работаю.

Старшина усмехнулся.

— Да, да, — сказал Иван. — Я сегодня у коменданта был. Я был связным в партизанском отряде.

— Ну, дает! — восхитился один из солдат. — Артист.

— Да не артист, а правда, — обиженно сказал Иван. — Не веришь — смотри сюда.

Ваня закатал рукав рубашки, показал выколотый на руке лагерный номер.

Старшина поглядел, сказал примирительно:

— Ладно... Не в этом дело, — и спросил прежним, недоверчивым тоном: — Помещение знаешь?

— Знаю.

— Покажи, что тут есть.

Ваня понял, что они кого-то ищут. Иван провел их по дому. Они открывали шкафы, поднялись на чердак, в ту комнату, где прятался Иван от соседа, потом пошли во двор, обыскали сарай.

— Никого не видел в доме? — спросил старшина.

— Никого, — сказал Ваня. — К хозяйке редко кто приходит.

— По нашим сведениям, она жена погибшего офицера.

— Жена, — сказал Ваня. — Только он давно погиб и не у нас.

— Доставалось тебе? — спросил один из солдат.

— Не очень, — сказал Ваня. И добавил, обращаясь к недоверчивому старшине: — Она, как выпьет, все время Гитлера ругает, — этого Иван ни разу не слышал, но почему-то, когда он говорил, ему казалось, что так и было, — она вроде как коммунистка... Ну, не совсем, конечно... В общем, не очень вредная.

Солдаты поискали что-то еще здесь и на соседнем дворе и ушли. Ваня так и не понял, что им было надо. Хозяйка снова сидела за столом. Глаза ее были полузакрыты, казалось, она дремала... Иван увидел, что длинный, узкогорлый штоф с ликером на две трети опустел. Он хотел налить себе еще полрюмочки сладкого ликера, но посмотрел на красное, неподвижное лицо хозяйки, махнул рукой и выскочил на улицу.

На улице можно было ходить с шести часов утра до восьми вечера, до комендантского часа. Можно было ходить, бегать или просто сидеть на солнышке в любом дворе и что-нибудь кричать тихим, напуганным немцам. А можно было подойти к нашим солдатам, попросить папироску, посидеть с ними, поболтать, сжевать плитку трофейного шоколада, а можно было побалакать с американцами, проезжавшими через город. А можно было вообще ни с кем не разговаривать, а просто тихо идти по улицам, и что-то бормотать, и тихо ругаться от счастья... Почему ругаться?

А какими еще словами выразишь то, что на душе? Может, они и есть, какие-то другие слова, да только Ваня их не знал.

Через месяц он стоял перед полковником, перед комендантом, стоял, глядя то на него, то на большой яркий портрет Верховного Главнокомандующего над головой полковника.

— Так вот, Лаврухин, — сказал полковник, — мы запросили соответствующие органы, и почти все факты, приведенные тобой, подтвердились. Ты действительно состоял в партизанском отряде, был взят в плен и содержался в лагере. Возможно, мы будем ходатайствовать о на-

граждении тебя правительственной наградой. А сейчас ты зачисляешься на временное довольствие в одну из частей, получишь обмундирование, паек и все, что положено.

У Вани кружилась голова от счастья.

И чтобы уже все взять от этого замечательного дня, полного новизны, от этого всемогущего человека, Ваня спросил напоследок:

— А еще насчет бати узнать хотели...

Лицо начальника вдруг отвердело, будто он осерчал на Ваню за неуместный вопрос.

— Запрашивали, запрашивали,— тусклой скороговоркой сказал полковник.— Ну, что я могу тебе сказать.— Он взял двумя пальцами круглую крышку медной блестящей пепельницы, точно собираясь ее запустить, как юлу, по зеленому сукну письменного стола.— Твой отец, Лаврухин Владимир Федорович...— продолжал он, неожиданно повысив голос, точно он не разговаривал с Ваней, а читал какой-то приказ. Иван сжался и передернулся, как бы дотронувшись до заградительной сетки с током в лагере, а полковник замолчал, будто ему нечего было сказать Ване, будто никаких других сведений и не поступало. Все так же не подымая глаз, убирая на другой конец стола пепельницу, мешавшую своим нестерпимым блеском, он сказал тихо и как бы удивленно: — Нету твоего отца, Ваня.— И, помешкав, снова повысил голос: — Пал смертью храбрых.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Вагон-ресторан, где Иван сидел с азербайджанцем, уже закрывали, и официантка, убирая столы, покрикивала:

— Молодые люди, пора по вагончикам!

А уходить ни Ивану, ни азербайджанцу не хотелось. Признание азербайджанца и рассказ Ивана сблизили их, и теперь им хотелось долго и молча сидеть за подрагивающим столиком, глядя в окна, слепые, отражающие лишь отблеск настольных ламп.

— Ладно, посчитайте,— сказал Иван официантке.

Она подала счет, и не успел Иван рукой шевельнуть,

как азербайджанец, обнаруживая мгновенную реакцию, уже кинул ей на поднос красную бумажку.

«Быстрый парень,— отметил про себя Иван,— прямо-таки спортсмен».

Иван взял бутылку шампанского, ничего другого не было, и они пошли в купе.

Разговаривать уже не хотелось, все было рассказано, и каждый думал про свое...

Иван про то, как странно бывает в жизни: вот он с милиционером откровенничает и вино пьет, а в другой ситуации азербайджанец, быть может, пускал бы в него пулю. А ведь нет у Ивана сейчас против него зла, а даже наоборот — симпатия, да и азербайджанец к нему ничего не имеет, а стоит только им разойтись по углам и приступить каждому к своему делу, тут же появится друг против друга (опять же, может, не по душе, а лишь по суровой необходимости) лютая, смертная злоба.

О чем азербайджанец думал, Иван не знал... И еще Ивану представилось вдруг, что он очутился в каком-то маленьком азербайджанском селе, в ауле, что ли, как это называется, Иван не знал, очутился в домике вроде сакли, на полу ковры постланы, и люди сидят на них, отдыхают, аккуратно сложив под собой ноги... И вроде получается, что он, Ваня, гость этого азербайджанца. Его поят и кормят, и различные песни поют, и на инструменте народном играют, и если он, скажем, на что посмотрит — ну, например, на кинжал, что висит на стене, или же на транзисторный приемник «Спидола» на тумбочке,— то тут же данные предметы заворачивают (несмотря на все его отговорки) аккуратноенько, как в ЦУМе, а если он невзначай посмотрит на жену, которая сидит в соседней комнате, вся закутанная, ни ног, ни лица не видно, все на догадку,— то еще неизвестно, как все обернется и что из этого получится.

То ли великодушный лейтенант пригласит его в ковровое помещение и по широте душевной, а может, и по обычаю — Иван этого в точности не знает — оставит его с женой (у него их много, жен-то, по закону, чего жаться), или же дело примет совершенно другой оборот, и хозяин сделает Ивану знак, чтобы тот вышел во двор... И вот Иван послушно выходит во двор, а небо такое черное, и звезды такие огромные, и тихо козочки блеют

около сакли, и добродушно лают собачки. (Ох, не любит Иван эту породу животных, этих прихвостней власти, с давних детских времен не любит их Ваня, сильно они его кусали, до сих пор отметины сохранились, но и он, в свою очередь, немало их передушил.) Так вот, выходит Ваня во двор в эту прекрасную погоду, в тишину, в нежный лунный свет, освещающий небогатую растительность. А вслед за ним выходит азербайджанец, крепко прижимая к груди узкий продолговатый предмет. И говорит азербайджанец Ване без всякого акцента: «Всем ты хорош, кунак ты мой ненаглядный, фраер вологодский. Кормил я тебя мясом и кислым молоком поил, ни в чем в другом не отказывал, но ты, свет очей моих, не ценишь человеческих отношений и начинаешь превышать полномочия, к бабе моей приглядываешься. Скажу я тебе, Ваня, от чистого сердца: топай отсюда, да поскорее, а то незамедлительно пристрелю тебя из своего ружья по такой-то статье УК нашей республики в виде высшей меры социальной защиты... Беги, пока цел, нехороший ты мой...»

И Иван, как во сне, рвет когти от тихой сакли, от гостеприимного хозяина, от богатых угощений и добрых подарков, от исключительно молчаливой и замаскированной, как во время бомбежки, супруги... «Тиха украинская ночь».

Вот какие картины виделась Ивану, когда он засыпал на своей полке полужесткого купированного вагона.

Азербайджанец уже спал и по-детски чмокал губами. Ивану вдруг стало жаль его, и себя, и вообще весь мир, все прогрессивное человечество, ему захотелось спокойно и глубоко заснуть и проснуться в тихом доме, может быть, у матери, а может, и у жены, не исключено, что и у посторонней женщины, но важно, что уже заварен чай и что от него ничего не хотят и никуда «на дело» не посылают... Он помечтал немножко и уснул, будто прыгнул в мягкую яму, засыпанную песком.

Он неожиданно проснулся посреди ночи: ему захотелось пить. Он перегнулся с верхней полки, протянул руку, взял пустую, нудно дребезжащую на столике бутылку шампанского, опрокинул, поймал губами несколько теплых и сладких капель со дна... Он поглядел на соседнюю полку, лейтенант спал, легко посапывая.

Ивану, привычному к тяжелому, мучительному храпу

в колонии, со вскриками, с путанными полустонами-полуфразами, это сопение показалось ночным дыханием младенца. Иван встал и пошел в туалет. Он попил противную кипяченую воду из титана и посмотрел расписание. Ближайшая стоянка была короткая — три минуты.

«Три минуты,— подумал Иван.— Как раз». План уже владел им, и если он и сопротивлялся своему Плану, то не очень решительно. Теперь внезапно возникший План вел его, а не Иван распоряжался Планом. Так с ним уже бывало. Возникал План и подчинял себе все. В первую очередь его самого, а затем других людей, его товарищей и помощников. Но сегодня других людей не было. Сегодня он был один. И азербайджанец на соседней полке. И План.

План быстро повел его по сонному коридору, с храпом, насморками, с ночным вагонным шелестением и звяканьем посуды на стыках — туда, куда надо, к своему купе. План заставил его встать очень близко к верхней полке, но так, чтобы, не дай бог, не задеть плечом азербайджанца, заставил его глядеть в лицо спящего человека, определяя и проверяя глубину и крепость сна.

Азербайджанец чуть поерзал на полке, что-то гортанно полузадавленно пробормотал и снова стал мирно, чуть слышно сопеть.

Видно, чуткий сон у него не был отработан. «А ведь полагалось бы их тренировать в училище,— подумал Иван,— явное упущение. А может, чуткий сон у него и отработан, но не скорректирован на местные условия: в поезде, в вагоне, в самолете. Ведь трудно же в условиях училища отбатывать чуткий сон в купе, да еще рядом с таким сверхчутким соседом».

Ивану стало на мгновение жаль азербайджанца. Ему захотелось оставить его в покое, а самому забраться на свою полку и спокойноенько дрыхнуть до утра... А утром придет симпатичная проводница, принесет им чай с очень быстро растворимым рафинадом, и, растворив его, они мирно поведают друг другу о ночных видениях и будут разглядывать девушек, идущих мимо купе.

Желание покоя заныло внутри, заурчало, как несытый желудок на ночь. Но План сидел в голове, все четко рассчитав, владея Иваном, вовлекая в азарт привычно постылой, захватывающей игры. За дело, Ваня.

Иван быстро обшарил пиджачок, брюки, пальто... Чут-

кие, как у часовщика, пальцы буквально угадывали предмет, еле прикасаясь к нему. Вот часы в кармане пиджака — не нужны. Вот какая-то «сопля» (брелок на цепочке) — к чертям! Вот деньги — тут Иван на минуту засомневался, но брать не стал. Того, что надо, не было.

«Может, это он на теле носит, может, к трусам у него привязано», — ругаясь про себя, думал Иван. Он знал многие человеческие хитрости, связанные с хранением личных вещей и денег, но как выпускники соответствующего училища хранят оружие, он не знал. А шарить по майке, по трусам было уж слишком... Азербайджанец еще не так поймет, «зарэжэт».

Иван был разочарован, но остановиться уже не мог. Было еще два чемодана, большой и маленький. Один — вверху за полкой, другой — в ногах. Иван взял вилку, подтянулся и, осторожненько присев на краешек верхней полки и чуть громыхнув чемоданом, мгновенно вилкой сломал и открыл замок большого чемодана. Это он делал довольно четко, не было бы вилки, мог бы открыть зубочисткой.

В чемодане были яблоки, орехи, айва, термос и несколько рубашек. Выругавшись, Иван взял маленький чемоданчик, лежавший у стенки, в ногах азербайджанца. Иван стал открывать, занервничал, и на этот раз проклятый маленький чемоданчик долго не открывался. Наконец, успокоившись, Иван вонзил свою вилку в упрямую сердцевину маленького неподатливого замочка и крутанул его, ломая пружину. Чемодан открылся... Того, что он искал, там не было. Там лежала аккуратно свернутая плотная синяя милицейская форма.

«А что, тоже может сгодиться», — решил Иван. Он посмотрел на спящего, который неожиданно перестал сопеть, начал ворочаться и вздыхать. Сначала Иван испугался, потом успокоился, понял, что парень спит. Поскольку азербайджанец не вез с собой того, что Ивану хотелось, он и спал спокойно. Вряд ли ему могло прийти в голову, что кто-то по пьянке уворует его новенькую форму. «Что же он будет делать утром? — подумал Иван. — Как он будет вертеться, ведь если он расскажет все, то ему наверняка припишут пьянку. И прости-прощай тогда и звание и новое назначение. — Иван помешкал. — А, не по делу все

это... Да как бы и мне не нарваться на крупную неприятность, если он уж очень постарается, то ведь и найти меня сможет». Но Иван был уверен: стараться не будет, себе дороже... Просто купит новую форму. И еще одно немножко мучило Ивана: так хорошо вчера сидели вместе, так душевно. И парень ничего, на других не похож, неиспорченный, тихий. И невеста какая-то у него есть, и вот нате вам, заварится каша, которую не расхлебаешь. Так думал Иван... Но, ожесточая себя, подчиняя себя уже созревшему Плану, он стал вспоминать другое.

«Я его жалею, дурачок,— думал Иван.— А они меня жалели? А он меня пожалеет, если меня возьмут?.. Нет уж, дудки, нашли малахольного». И, быстренько скатав форму и положив ее в свой чемоданчик, Иван вышел в тамбур, быстро прошел в другой вагон, чтобы не встретиться с проводницей, и на подходе к станции спрыгнул с высокой подножки.

Поезд замедлял ход, а Иван быстро побежал по лабиринту тускло поблескивающих путей, мимо ночных огоньков светофоров туда, где стояли низкие, приземистые бараки, все эти однообразные темные и как бы нежилые предстанционные здания. Иван обернулся к поезду, махнул рукой этому сонному временному дому на колесах, своему новому кавказскому другу.

«Прощай, дорогой товарищ, не грусти обо мне... У тебя своя компания, у меня своя».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В понедельник с утра Иван вместе с отчимом отправился в районный трест «Электромонтаж» устраиваться на работу. Вячеслав Павлович, видно, давно уже обрабатывал начальника, и Иван по достоинству оценил его труды. Начальник был в курсе дела, ни о чем Ивана не расспрашивал, хотя было видно, что ему очень хочется... Он спросил только:

— Сколько лет работали с мегомметром и где?

Иван ответил.

Начальник спросил неуверенно:

— Ну, а трудовая книжка или что-то в этом роде имеется?

Иван ответил спокойно:

— Нет. Не положена мне трудовая книжка, только справочка. Могу предъявить.

Начальник кивнул. Иван протянул ему справочку, пеструю от печатей. Начальник взял как бы с некоторым почтением и одновременно с легкой брезгливостью, будто бумажка только-только из дезинфекции, повертел справку, почитал. Вернул Ивану. Он еще спросил, в каких «когтях» работал Иван. Иван назвал номер.

— Теперь у нас новые,— сказал начальник,— облегченного типа. Значит, говорите, благодарности были?

— Я не говорю,— сказал Иван.— Это в характеристике написано.

— За что же?

— Как «за что же»? — притворно удивился Иван.— За то же, что и у всех,— за выполнение плана.

Иван учтиво замолчал. Вячеслав Павлович шуршал газеткой, свертывая ее в трубочку и распрямляя, а начальник задумался. Пришла пора кончать беседу, принимать решение и давать ЦУ.

— Ну, так как? — неожиданно улыбнувшись и сверкнув глазами, сказал начальник.— Не подведешь, работать будешь? — И быстро, как бы зорким, всепроникающим взглядом посмотрел на Ивана.

«Все-то ты хорошо, мужик, разговаривал, по делу, и вдруг на тебе — такой детский сад», — подумал Иван и, не умея себя перебороть, сделал дурашливую детскую и несколько дебильную рожу и сказал:

— Не-а...

И победно посмотрел на начальника и Вячеслава Павловича.

У Вячеслава Павловича физиономия аж вытянулась, а начальник руку к уху приложил, будто он не расслышал.

— Что такое?!

Наступила пауза. Состояние равнодушия и спокойной вялости, какое бывает после сильного лекарства, владевшее Иваном с начала этой беседы, уходило, вытекало из него с журчанием, как вода из раковины, и какое-то новое, опасное волнение и возбуждение начало охватывать его.

— Понимаете,— сказал он глухо, перебарывая себя изо всех сил, стараясь как бы выкачать из себя это волнение в некий боковой насос, чтобы оно не клокотало

в нем, не качало его, не кренило в ту сторону, в какую не надо. — Понимаете, — еще раз повторил Иван. — Я не мальчик... Мне уже порядком за тридцать. Из них я много просидел, некоторые думали, что я там навсегда останусь. Не верили, что я выйду. А я вышел. А для того, чтобы выйти, я что делал? Я работал. Я как зверь работал. И это не для красного словца. Для чего я работал? Чтобы вот здесь сидеть, на воле, и оформляться к вам или к кому еще... Буду ли я работать? Да я буду вниз головой стоять на проводах, только оформите, только дайте постоянное место. Не подведу ли я? Вас бы, может быть, и подвел, да вот себя уже подводить нельзя!

Иван хотел еще что-то добавить, теперь его буквально тащило по скользкой дороге, но он огромным усилием заставил себя остановиться, рванул жесткий, неподатливый тормоз.

Пауза была долгая.

Вячеслав Павлович смотрел на него с явной укоризной, а начальник сказал, не глядя на Ивана:

— На голове стоять не надо. — И добавил: — Идите к кадровику. Будем пока оформлять на временную.

Другого Иван и не ждал. На постоянную его могли зачислить только с пропиской. Через минуту он уже сидел в маленькой комнатке отдела кадров, отделенный от пожилого кадровика предохранительным фанерным барьерчиком. Иван еще подумал: «На черта такая глупость, подумаешь, стена».

Кадровик был, верно, когда-то строг, а сейчас, судя по всему, пребывал в предпенсионном состоянии. Он с живейшим интересом поглядел Иванову справку и сказал:

— Заполняй, дорогой, автобиографию. И давай... это... все, как есть.

— Все-все? — спросил Иван.

— А то как же? Как есть, так и пиши.

— И плен? И награды?

— Чего-чего? Какие еще награды?

— Да вот, в плену мне пришлось побывать. И награды правительственные имею.

Кадровик усмехнулся: «Чудной парень, ну еще бы, из каких широт приехал... Они после этого все такие — с чудинкой, тронутые малость. Нервы, конечно, имеют место».

— Пиши и награды, раз есть,— сказал кадровик.— Кто б другой стал спорить, а я не буду. Все пиши, милый друг.

— А судимости?

— А много их у тебя?

— Маленько есть.

Кадровик еще раз пробежал Иванову справку, характеристику из колонии и сказал тихо, подводя черту разговору:

— Ладно, все не надо. Не обязательно.— И добавил, повысив голос: — И давай без лишних подробностей, чтоб все коротко и ясно: год рождения, место рождения, национальность, адрес, последнее место работы. Напиши, и будь здоров.— И, глянув на Ивана, закончил: — Не в космонавты же тебя зачисляем.

— Это уж точно,— подтвердил Иван.

Все пока шло тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. По крайней мере, если еще не было полного порядка ни с пропиской, ни с работой, то дело, во всяком случае, сдвинулось. А это — самое главное, чтоб в деле было движение. Чтоб не тянулась резина. А то тратишь силы, жмешь, суетишься, а резина тянется и тянется до бесконечности. Так и у Ивана бывало, когда, освободившись в прежние времена, он начинал устраиваться на работу. И нельзя сказать, что ему отказывали, не то чтобы мордой об стол встречали, но тянулось все долго: на работу не устраивали из-за прописки, не прописывали из-за того, что не работает. Это была вечная проблема отбывших срок. Многие, крепче, добивались своего после долгого натиска, просьб, заявлений, объяснений. Другие же быстро теряли терпение, уставали долбить стенку лбом и, едва только пачечка, заработанная в колонии, таяла, снюхивались с кем попало из прежних своих дружков или из новых таких же, и все начиналось сначала... А на этот раз у Ивана дело пошло.

Иван, со своей стороны, прекрасно понимал, что аплодисментами его никто здесь не встретит. Чего ради? Ведь не впервой приходили на различные предприятия такие, как он, и всякий раз с возмущением отвергали чьи-то сомнения: «Да чтоб я по новой?! Да никогда!» А через две недели их ловили на преступлении. Поэтому

Иван нисколько не обиделся на начальника, а просто нервы у него съехали, да и знал он, что даже если школьника спросить: «Хорошо себя будешь вести или нет?» — школьник всегда ответит: «Конечно, хорошо». Разве что словами определишь?

Домой Иван вернулся в хорошем настроении. Он повозился на кухне, помогая матери, с удовольствием поколот дрова во дворе, потом появился Серега, прибежал из школы. Серега сел за уроки и с ходу попросил Ивана решить задачу. Иван, хоть и недавно закончил десятилетку в колонии, о чем и имел соответствующее свидетельство, вспотел и измучился, прежде чем по всем правилам смог записать условия, расовать, куда следует, все иксы. Очень научно эти задачки решались. После того как Иван с Серегой с грехом пополам осилили уроки, они долго гонялись друг за другом по саду, и младший палил из новенького автомата длинными трескучими очередями, а Иван старательно отстреливался из пластмассового пистоля с обломанным дулом.

— А какая дальность боя у автомата Калашникова? — между очередями спрашивал брат.

«А фиг его знает», — думал Иван. И отвечал со знанием дела:

— Большая.

— Ну, а если враг движется по ту сторону реки, — вот я, например, сейчас по ту сторону реки, — то пограничник его достанет?

— Достанет. Обязательно.

— А гранатометы пограничники применяют?

— Применяют.

— А какой радиус боя у гранат?

— Огромный, — не растерялся Иван.

— А служебная собака в дозоре сколько может не есть?

— Три дня.

— А на четвертый что?

— А на четвертый она начинает жрать пограничников.

Братан, однако, не улыбался. Напротив, рожица у него обиженно вытянулась. Он таких шуточек не принимал. С человеком по-серьезному, а он черт-те что городит. Правда, через минуту брат забывал обиду, и снова начиналось:

— А с какого возраста собак принимают на службу?

— С молодого, — отвечал Иван. И добавлял для конкретности, для уточнения: — Полгодика ей стукнуло, ее сразу на службу.

В собачьих вопросах он чувствовал себя более уверенно.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

А свидание было назначено на восемь часов. Иван успел уже с утра простирнуть парадную нейлоновую рубашку, материн и отчима подарок, а сейчас наскоро погладил ее, нацепил галстук и в сопровождении брата отправился в парк. Шел дождь, густой и по-весеннему шумный, и через минуту Иван вымок и из пижона превратился в мокрую курицу. Брат же был в полном порядке — в резиновых сапогах и в маленьком плаще-блонье он чувствовал себя амфибией, водоплавающим, прыгал по лужам и кричал от восторга. Иван хотел было вернуться, переодеться, надеть резиновые сапоги, но, поскольку был человек суеверный, не вернулся и, махнув рукой на внешность, потопал к парку.

Когда они подошли к парку, у Сереги настроение упало. Он уже чувствовал, что сейчас старший даст ему знак топать назад, а ему еще хотелось побыть с Иваном, сходить куда-нибудь, может, в кино, а лучше всего в тир, а если и туда нельзя, то просто походить с братом, разговаривать на различные интересные темы, и вернуться домой вместе, и вместе лечь, и вместе уснуть, и вместе проснуться, и завтра тоже кое-как проглотить школу, и, чуть только раздастся звонок, бежать домой, задыхаясь и предвкушая новую встречу с братом. Насколько интереснее стала жизнь с приездом старшего! Да, уходить Сереге не хотелось. Но Серега не любил быть приставучим, как липкая бумага, он знал тот момент, когда взрослые перестают разговаривать с тобой от души и начинают отвечать механически, а сами думают о своем и косятся по сторонам. Вот тогда и надо от них тикать по своим делам, чтобы их не раздражать и не портить себе настроение.

Однако, несмотря на эти рассуждения, уходил он от

брата с некоторой грустью и непониманием. Ну что он, мешает, что ли, брату? Если надо, может и помолчать и не задавать вопросы про пограничников, а просто ходить рядом, не говоря ни единого слова. Он может даже приносить пользу Ивану — сбегать за сигаретами, или показать, как пройти на ту или иную улицу, или постоять для Ивана в очереди за пивом, или что еще...

Разве он, Серега, станет лезть в чужие разговоры, если Иван, например, будет разговаривать с каким-нибудь дядей или даже тетей?.. Какое дело Сереге, с кем разговаривает и гуляет брат? Ему лишь бы быть рядом, а не идти домой одному, чтобы опять, как в те вечера, что были до брата, сидеть в темноте у телека и смотреть, что покажут, и слушать с отвращением надоевшую песенку из дошкольных, бесправных времен: «Спят усталые игрушки», одеяла и подушки, и лягушки, и квакушки, и черт-те еще кто.

Серега чувствовал, что сейчас наступит этот момент, когда брат снисходительно и жалеючи посмотрит на него и скажет деловито: «Не пора ли домой, брат?» И чтобы предотвратить этот момент, Серега сказал тихо и как бы равнодушно:

— Ну, значит... Мне пора домой.

Он еще надеялся, что брат улыбнется и скажет: «Куда ты, Серега?.. А как же я без тебя?»

— Да, брат, пора тебе, — сказал Иван. — Отдохни малость.

— А я не устал, — сказал Серега и быстро повернулся, чтобы скрыть обиду, и пошел, выпрямив плечи, нарочито бодро: мол, мне что, мне ничего, у меня свои дела есть. Он высоко вскидывал ноги в резиновых сапогах, как прусский солдат на марше, и со страшной силой бил ногами по широким, неглубоким лужицам, подвижным, как ртуть. Он решил не оборачиваться и не думать о брате, может быть, даже забыть о нем. Забыть на время, не навсегда, может быть до следующего утра. И он обернулся только один раз, уже дойдя до самого угла.

Он увидел тогда, что сквозь мерцающие на излете прерывистые струйки дождя, из темноты на свет фонаря у входа выпорхнуло что-то похожее на серебристую рыбу, а может, и на ракету, длинненькое, тоненькое, сверкающее — то ли плавниками, то ли хвостовым оперением. Но

если взглядеться как следует, то окажется, конечно, что это не ракета и не рыба. Да, да, не ракета и не рыба. А человек. Женщина. И если уж совсем присмотреться, то обыкновенная продавщица из универмага... та самая. Только в серебристом плаще. И в таких же серебристых сапогах. И Сереге сразу же стало неинтересно, и он захлюпал дальше.

— Ерунда все это! — шепотом сказал он и громко, чтобы перекрыть дождь, запел, давясь от непонятной горечи: — «И снег, и ветер, и звезд ночной полет...»

Иван и девушка шли по парку, шли исключительно целеустремленно, будто у них были билеты в кино и они запаздывали. Рыжая галька, которой были посыпаны дорожки, казалось, вскипала от дождя.

— Вы промокнете совсем, — сказала девушка, достала из сумочки коротенький складной зонтик. Щелчок — и зонтик, такой же серебристый, как и ее плащ и сапоги, раскрылся над головой Ивана. Иван перехватил из ее рук зонтик, поднял его повыше, она невольно придвинулась к нему, и они пошли, почти прижавшись друг к другу. «Однако дождь объединяет», — подумал Иван.

— А что, если пошлепать босиком? — предложил он.

— Нет уж, — строго сказала девушка. — Я лично в воспалении легких не нуждаюсь.

— Какие вы нежные! — сказал Иван.

— А вы грубый? — спросила девушка.

— Иногда... На всякий случай, — сказал Иван.

Девушка не ответила ему, как видно приняв его шутки, и разговор снова повис, как дождевая капля на спице зонта.

Они сделали круг по парку, дошли до танцплощадки, пустой, темной, зарешеченной сеткой от любителей бесплатных удовольствий, миновали старого дискобола с отломанным диском, купальщицу и физкультурника, смиренно стоящего с зажатым под мышкой мячом, с круглыми мускулистыми ягодицами, сплошь испещренными короткими выразительными надписями.

«Надо срочно сматываться из этого половодья. Вопрос — куда? В кино билетов не достанешь. В ресторан она не пойдет... И вообще все как-то не так, как ожидал. Когда слишком ждешь, всегда так бывает».

— Куда пойти, куда податься? — сказал Иван. — Я здесь человек новый, давайте, Тамара, командуйте парадом.

— Я не знаю, — вяло сказала девушка. — Скорее всего по домам.

— Нет, так не пойдет, — решительно сказал Иван. — Выходит, за что боролись, на то и напоролись. Пошли в ресторан?

— Ресторан у нас паршивый, — сказала девушка. — Да и публика... А оркестр там только раз в неделю.

— А что нам оркестр? Мы сами спляшем и споем.

— Какой вы бойкий, однако, — сказала девушка, оглядела вымокшего Ивана и усмехнулась.

Иван отчетливо понял, что вот сейчас он ей явно не нравится. Он увидел себя ее глазами: не такой уж молодой гражданин и все шебуршитесь: танцы, шманцы, а у самого брюки круглые, и короткие, и без складки. Но Иван давно уже выработал в себе силу сопротивления чужому неодобрительному глазу, он знал, что только поддайся — и сам почувствуешь себя таким, каким тебя видят со стороны. И надо перебить этот взгляд, надо стать таким, каким ты сам ощущаешь себя, а если ты никак себя не ощущаешь, а тоже, к примеру, чувствуешь себя жалкой, мокрой курицей, то придумай что-нибудь про себя и заставь другого человека поверить этой выдумке.

— Ну что ж, Тамара, — сказал Иван. — Если тут негде культурно отдохнуть двум хорошим людям, то сейчас возьмем такси и поедем в республиканский город Минск.

— Ну да, разбежались, — все с той же иронией сказала девушка.

— Я не шучу, — сказал Иван, вышел на мостовую и поднял руку.

— А я не поеду, — поняв вдруг, что он действительно не шутит, сказала девушка.

— Тогда пошли в ресторан. Я семь лет не был в ресторане.

— Это почему же?.. Времени не хватало?

— Времени навалом было. Только вот ресторана там, где я находился, не было.

— На Луне, что ли, находились? — спросила девушка.

— Почти что... В предлунной области.

— Это что же, служба? — со слабым проблеском интереса спросила девушка.

«Все-таки падки они на погоны», — подумал Иван.

— Служба в некотором роде.

— Таинственно звучит. Может, вы наш агент на Луне или что-нибудь в этом роде?.. Сейчас таких каждый день по телевизору показывают.

— Может, и агент, — сказал Иван. — А может, и контрагент. А может, просто агент по снабжению. В тепле поговорим.

— В ресторан я не пойду, — решительно сказала девушка. — А вот в кафе «Молодежное» зайти можно.

Какими-то дворами она вывела Ивана к новому дому, где соседствовали две стеклянные витрины: Дворец бракосочетания и кафе «Молодежное».

Стены кафе почему-то выложены кафелем. Иван удивился и спросил девушку:

— А что, здесь баня была раньше?

— Нет, кафе «Мороженое», — сказала девушка. — Знаете, такой ледяной терем. А теперь ассортимент расширили, стало кафе общего типа, некоторые сюда со своим запасом приходят. Магазин тут рядом.

— Это ценно, — сказал Иван. — Жаль, мы своего не прихватили. Свое-то, оно греет.

Надо сказать, что соседство магазина больше сказывалось на облике кафе, чем соседство Дворца бракосочетания. Примерно половину посетителей составляли шоферы, которые перед заходом в «Молодежное» отоваривались в магазине водкой, которой в нежном ассортименте молодежного кафе, естественно, не числилось. Они отдыхали, громко разговаривали и разливали свою беленькую втихую (больше для порядка, чем из опасения). Старушка уборщица проходила между столиков, нагибалась, артистически ловко прихватывала бутылки и кидала их в какую-то торбу. Иван обратил внимание, что в другой части зала сидела в основном молодежь, те пили мало, медленно, важно, но зато дымили вовсю. И оценивающе цепко оглядывали каждую и каждого вновь входящего, девушке давали мгновенную молчаливую оценку по всем статьям, а на мужчину глядели с таким видом, будто ждали, что он сейчас же покажет фокус, по крайней мере достанет из ушей трешник и тут же положит им на стол.

Иван бывал в краткие паузы светской своей жизни в таких вот кафе и, признаться, их не любил. По опыту своему он знал, что надо идти в хороший ресторан, где за те же примерно деньги тебя напоят и накормят да еще салфеточку на стол положат.

В ресторане можно было отдохнуть, да и музыка там живая, человеческая, не то что эти чудеса техники, когда бросаешь пятак в щель, и он беззвучно летит куда-то, в тартарары, и только автоматические зубы щелкнут, а в ответ — ни музыки, ни пятака.

Когда-то в Москве Ваня приходил в ресторан «Узбекистан». На весь квартал пахло шашлыками. Стесненные люди с дамами мерзли в ожидании чарки и куска жаренного на угляках мяса. Иван же проходил к стеклянной двери, расталкивал почтенную публику плечами, стучал по стеклышку, и через пару минут к стеклу прилипло круглое, безносое лицо симпатичного швейцара Пети. Хоть Иван и был в то время мальчишкой по возрасту, но Петя уже хорошо знал его, и лабухи знали... Знали, что этот мальчик даст на чай как следует и не зажмурится, а, выпив, будет заказывать, чтобы сыграли вот это модное:

Мы с тобой пойдем
сквозь ресторана зал,
нальем вина
в искрящийся бокал...

— Слышали такую мелодию? — сказал Иван и напел... Слух у него был хороший.

— Слышала, — сказала девушка без уверенности.

— А «Сан-Луи блюз»? — спросил Иван.

— Нет, такого мы не проходили.

Подошла официантка, принесла меню, сказала:

— Из горячего — только гуляш со сложным гарниром.

— А попроще? — спросил Иван.

— А попроще — рядом в магазине, — сказала официантка. — На троих без бутерброда. А у нас здесь молодежное кафе.

— Ладно выступать, — сказал Иван. — Принесите гуляш со сложным, вина и апельсинов.

— Сегодня яблоки пойдут.

— Давайте.

— А вино какое, портвейн или шампанское?

Иван посмотрел на девушку. Она сделала безразличные глаза, мол, все равно.

— По обычаю по-цыганскому,— сказал Иван.

— Ваш намек поняла,— подобрела официантка.— Бутылочку или в фужеры?

— Бутылочку, и чтоб с салютом,— сказал Иван.

Теперь Иван действовал уверенно, здесь он был в своей стихии, и, как ему показалось, его уверенность поправилась девушке. Они ведь не любят кавалеров, которые мнутя, ежесекундно спрашивают: «Вы это будете, а это будете...», — которые вынуждают их отвечать: «Нет, не хочу ни того, ни этого». Девушки любят, когда им выкладывают готовое решение.

Появилось шампанское, официантка выстрелила, приятно запахло свежим газовым, винным запахом. Сработал наконец чей-то пятак, и зазвучала мяукающая, но приятная польская песенка, где отдельные слова угадывались по-русски.

— Ну что ж, вздрогнем? — сказал Иван.— За что?

— Давайте без тостов,— сказала девушка.— Я не люблю эти чоканья и прочее.

— А я люблю,— сказал Иван.— И давно ни с кем не чокался. А сегодня мне очень хочется чокнуться с вами... У старых людей, знаете, свои привычки.

— Да, да,— передразнила его девушка, протянула руку с бокалом.

Они звонко чокнулись.

А пластинка все крутилась, и все всныхивали эти слова, которые легко можно было перевести на русский, а можно было и вовсе не переводить: «То ля доля, то ль пядоля...»

Девушка раздумянулась в тепле и стала красивее, чем там, на улице, и чем в магазине. Снова щелкнул пятак, и снова техника сработала, и завертелось что-то быстренькое и заводное.

— Ну что ж, попляшем? — сказал Иван.

— А никто еще не танцует,— сказала девушка, видно не очень-то уверенная в Иване.

— Кто-то ж должен начать,— сказал Иван.— Я лично вас приглашаю.

Девушка поднялась. Иван чуть-чуть оробел, замер внутренне. «Сейчас опозорюсь, сойду с круга, и все пропа-

ло. В таком возрасте они глухие, пустяков не прощают».

Однако Иван знал, что в танце, как и во многом другом, главное не умение, а смелость.

Сплясали разок — и ничего, все в порядке. Иван держался так, будто только и делал в дальней своей отлучке, что изучал мелодии новых танцев. Конечно, твист Иван не танцевал никогда. Когда его забрали, еще царствовал рок, а твист почти не танцевали в общественных местах, а только критиковали. Впрочем, Иван осмелел и, глядя на других, тоже стал шаркать ножкой, извиваться туловищем, точно был мокрый и вытирал спину насухо полотенцем. Уже вся молодежь, бывшая в кафе, вышла на пятючок, стало душно и тесно, но танцевать на многолюдье было уютней. Меньше думаешь, кто как посмотрит и что скажет, и больше близости со своей партнершей. А партнерша его могла плясать что угодно и как угодно, ее чуткие шелковые ноги в серебристых сапогах мгновенно откликнулись на первый же такт любой мелодии и повторяли эти мелодии на свой лад, красиво, легко и четко. И всякий раз перед началом танца, когда ее тонкая маленькая ладошка ложилась на его плечи, он вздрагивал и, сам того не осознавая, отчетливо испытывал что-то похожее на благодарность.

За все тебе спасибо,
За то, что мир прекрасен,
За то, что ты красивый
И взор твой чист и ясен.

Это он уже слышал когда-то... Кажется, у Галы это «спасибо» уже было. Только что из этого вышло? Да, да, то самое «Арабское танго»... Смотри, никак не выйдет из моды. Батыр Захиров, или Захир Батыров, он не помнит. Музыка сладкая, как растаявшее мороженое. И все-таки растревляет душу. Особенно если она уже удобрена для этого и если ее чуть-чуть подгазовать шампанским.

Ах, как хорошо и тепло ты держишь свои руки на моих плечах! За все тебе спасибо. Как ладно и хорошо покачиваться в такт, не сходя с места, а только с пятки на носок, с носка на пятку, с земли на воду, с воды на небо. Не сходишь с места и вместе с тем движешься, плывешь по теплой реке, по общему течению. Все танцуют, и ты. Ты, как все, такой же... Во всем. В общем

танго, в общем фокстроте, в общем твисте, в общем счастливом сумасшествии, как в том анекдоте: «Идея. Идея нахожуся?» В кафе я нахожусь... Неужели и вправду? Не в колонии. Не на перекличке. В кафе «Молодежное» на танцах. За все тебе спасибо, за то, что мир прекрасен...

— Тома, мир прекрасен?

Она молча кивает, занятая танцем.

— Тома, ответь мне, почему так прекрасен этот лучший из миров?

Она морщится. «Но откуда я знаю», — говорят ее лоб и нос. Ей не нравится философствовать во время танца, обсуждать многообразные проблемы жизни, выпадать из ритмичного, всепоглощающего движения. Ей нравится это сахарное арабское танго, и не надо ей задавать непонятных вопросов... И вообще, что тебе надо от нее? Того же, что и от всех других? Ну, ответь, гражданин Ваня Лаврухин, на совесть. Да, и этого, если уж на то пошло. Все мы люди, все мы человеки, уж так устроен свет, хвала тебе, аллах. Но... не так-то все просто. Ему это надо, но не на час, не на день, не для того, чтобы забыться и снова куда-то бежать... Так, значит, навсегда... Ах, навсегда ли, Ваня? Да, именно так. Навсегда. Ушел на рассвете, в холод, на работу. Встал — холодно, зябко. И ты не один в доме, она тут, ты слышишь ее голос. Вернулся домой, она ждет... Навсегда. Ты уехал ненадолго к кому-то, к чужим, а вернулся к своей, в свой дом, навсегда.

«Я буду тебя любить, — твердил про себя Иван. — Да, да, любить, не удивляйся этому слову. Я его где-то вычитал, запомнил... И надо же это испытать на себе... Я буду обращаться с тобой осторожно, как это называется, лелеять. Очень осторожно. Не кантовать, не бросать на пол... Я буду ходить босиком на цыпочках, летать по саду, махать самодельными крыльями. Я буду носить тебя на руках... Шутки шутками, но я всерьез. Навсегда».

— Что вы там такое бормочете? — спросила Тамара.

— Репетирую.

— Роль?

— Нет, объяснение.

— Так вы артист?

— Есть маленько в крови.

— С вами надо осторожно.

— Вот именно. Главное, не бросать.

— А вас много бросали?

— Всю дорогу. Только не в том смысле, в каком вы думаете. Об пол, о подоконник, о стенку.

— Значит, бока у вас крепкие.

— Были крепкие. Да штукатурка пообилась.

— Ну вот, мы проболтали, а танец кончился.

— Навсегда?

— Да нет... До новой монеты.

Они сидели за столиком, аппарат гудел и не заводился. Лампочка вспыхивала и бессильно гасла.

— Курить хочется, — сказала девушка.

Иван не выказал удивления, достал пачку «Беломора», протянул ей.

— Нет, такие я не курю. Иван, стрельните у соседей сигареточку, пожалуйста.

Первый раз она обратилась к нему по имени. Иван поднялся и подошел к соседнему столу, который был буквально облеплен парнями. Они сидели, пригнувшись к столу, шушукались над единственной бутылкой, как заговорщики. Один из них, не глядя, не обернувшись, протянул Ивану пачку, Иван взял, передал Тамаре.

Ему казалось, что курит она больше для форса, чем для удовольствия, или по привычке. Но Иван не осудил ее, хотя в принципе и не одобрял тех, кто пьет и курит для видимости, чтобы быть как все. К тому же все женщины из прежней его жизни курили. Курили, что попадалось: махру, папиросы, трубку, — и было странно, что и эта тоже делает, как они. Впрочем, оглянувшись, он увидел, что все девушки в кафе курят, и, поняв, что так теперь полагается, Иван успокоился. Тоненькая сигаретка торчала в таких же тоненьких, детских каких-то пальцах, и Ивану очень захотелось погладить эти пальцы, эту узкую, белую, с лакированными коготками руку. Он зубами, как фокусник, вытащил из ее пальцев сигарету, сделал вид, что обжегся, бросил сигарету и накрыл своей ладонью ее руку. Он почти физически ощутил под своей ладонью тепло и дрогнувшего птенца, пойманного случайно и на мгновение. Вот сейчас выпорхнет сквозь пальцы, и бегай лови. Она ничего не сказала, но посмотрела с удивлением. Мол, к чему все это? Но он не отпуская.

— Что, руки озябли? — спросила Тамара.

— Да. Очень,— сказал Иван.

— Что же вы такой мерзляк? А еще военный.

Иван не ответил. Птенец еще жил и теплился в ладонях, еще не улетел, и это было сейчас важнее всего. Он взял ее вторую руку, прижал к своей щеке, потом поцеловал.

— Это что, галантность или нахальство? — спросила девушка.

— Ни то, ни другое,— ответил Иван.— Первый раз в жизни целую руку. Ей-богу.

Она отвернулась и закурила, взяв папиросу из его пачки, лежащей на столе. Затем, искоса глянув на него, спросила:

— Что ж, и жене никогда не целовали руку?

— Жены не было.

— Это отчего ж так сурово?

— Такие вот суровые обстоятельства.

Молчащий ящик вдруг прорвало, и они снова пошли на пятачок для танцев. Теперь ящик взывал нараспев, стена и моля: «Ай, ай, Дилайла»,— и двигаться теперь надо было быстро, крепенькая рука на плече приказывала ему: «Ныряй быстрее в общее движение, догоняй эту Дилайлу, и я с тобой». И он нырял в общий поток и вертелся в этом потоке, на кого-то наталкиваясь, а сам думал при этом: «Не удержалась все-таки, спросила... про жену. Как ни верти, а это — главное для них, даже для такой, как она».

— Сколько тебе лет? — спросил Иван, перекрикивая «Дилайлу».

— Достаточно.

— А точнее?

— Двадцать два. А вам?

— Столько, сколько Иисусу... Примерно...

— Какому?

— Боженьке.

— А я не знаю, сколько ему. Его юбилей мы пока еще не отмечали.

— Иисусу было тридцать три. Что, многовато? А мне еще больше...

— Не в этом дело.

— А в чем?

Она не ответила, а музыка кончилась.

Когда они шли к столику, Иван мысленно проговорил: «Ты будешь моей женой». Он хотел повторить это вслух, но раздумал. По опыту своей жизни он знал, что в важных делах никогда не следует торопиться.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

До вечера судья Малин так и не знал, поедет он к Ване или нет. На следующие два дня были отложены давно тянущиеся хвосты ненаписанных писем, непрочитанных бумаг, следовало давно произвести «мусорный аврал» — по-выбрасывать все ненужное, разобрать всю корреспонденцию, надо было позвонить в Клуб пиццевиков, который терпеливо вот уже два месяца приглашал его выступить на тему о правосознании граждан, а он регулярно переносил это до более свободных времен... Следовало в эти свободные дни почитать кое-какую специальную литературу, да были и немаловажные хозяйственные дела, как, например, громоздкое мероприятие (одна мысль о котором приводила в ужас) с установкой новой газовой плиты... Все это и должно было привычно составить его выходные дни... И вдруг выпрыгнуть из упряжки!

Конечно, если он не приедет, Иван расстроится, но не обидится. Иван знает, что судья Малин — человек, обремененный заботами, занятой. Да и к тому же можно послать Ивану теплую телеграмму, поздравить его от души и сказать в тексте, что сейчас он приехать не может, что приедет летом... Все это можно, конечно, только этого ли ждет Иван? И еще он подумал: в одном Иване ли тут дело? Если он сейчас не поедет, то все, значит, он никогда уже не поедет ни куда, кроме командировки, санатория, ближней рыбалки, никогда ни куда не поедет просто так — потому что захотелось, — никогда не будет свободным, ни на секунду, от существующих и придуманных работ, обязательств.

Все это прокрутилось в его голове, как лента в магнитофоне, и сознание полной своей связанности, зависимости от чего-то тошнотворно наполнило его, и, как в детстве, он ужаснулся вдруг от сонного и беспомощного ощущения: на тебя едет поезд, а ты лежишь, не в силах ни двинуться, ни крикнуть... «С подушки съехал, одеяло

сбросил, вот и орет», — ворчала дежурная детдомовская нянечка, поправляя ему одеяло.

«А в чем, собственно, дело? — спросил сам себя Николай Александрович. — Возьму и поеду. Гори оно все огнем синим».

Позвонил в клуб и еще раз окончательно и бесповоротно назначил день выступления, отложил бумажки и письма, написал жене записку, поехал на вокзал.

Взял билет в мягкий вагон, к тому же повезло: в купе он был один. Постоял у окна в момент отхода поезда, посмотрел на полупустой перрон, испытал почти рефлекторную отходную вокзальную грусть, скорее связанную с какими-то давними отъездами и проводами. Сегодня его никто не провожал, да и встречать Иван не будет, так как, по обыкновению своему, он не стал давать предупреждающую телеграмму.

На мгновение стало хорошо. Бросил на верхнюю полку портфель, переоделся в спортивный костюм, достал еженедельник «Футбол-хоккей». Однако не читалось...

Вышел в тамбур, покурил там, поглядывая на уже спешащую в вагон-ресторан публику. Хотелось ощутить себя неприкаянным, праздным, ничейным и молодым.

В тамбуре было холодно и пыльно, он вернулся в чистенький вагон, стал у окошка на весеннем ветерке, высматривая ночные огни.

Когда-то в давние поездки они гипнотизировали его отдельной своей жизнью, ощущением далекого, неведомого жилья, в которое и его, может быть, занесет когда-нибудь случай или судьба. Огни эти волновали не столько затерянностью своей в ночи и одинокостью, сколько вызвали образ собственной его физической крошечности в мире, собственного, почти муравьиного, не приметного людям движения — в черно-белом пространстве, одновременно отталкивающим своей бесконечностью и влекущем.

Сейчас все воспринималось, пожалуй, проще и грустнее: стук колес, размеренное движение и огни за окном отсылали не к туманному будущему, а ко всему, что уже было с ним, не к предвкушению, а к воспоминанию. То неясно зреющее в душе ожидание крутого, странно счастливого поворота в жизни, которое всегда обжигало его в минуты псбудничные, нерабочие: в лесу, на рыбалке, на

пароходе, в тамбуре ночного вагона, — теперь переродилось в нечто другое, в не остро бередящий душу тягостный комок.

В одном справочнике он прочитал недавно, что все подобные эмоции в пожилом возрасте, смены настроения и прочее являются лишь признаками постепенно развивающегося склероза — не более того. И совершенно незачем им поддаваться, а для того, чтобы свести их к минимуму, нужно регулярно употреблять витамины.

Ему захотелось остаться одному, без назойливых дорожных компаньонов, и он зашел в вагон-ресторан, где ему налили в толстый граненый стакан с подстаканником немного желтого, как некрепкий чай, арабского коньяку. Он вернулся в купе, знал, что не заснет скоро, стал настраивать себя на встречу с Иваном, вспоминать Ивана, его голос, лицо... Ведь знал он его уже несколько лет, а видел всего дважды.

Многие люди в его жизни, столь богатой встречами, как бы повторялись многократно, точно были различными вариантами одного и того же образа. Они и говорили похоже, и схожими были их поступки, и проступки, и объяснения, и оправдания. Но были другие, не похожие, уникальные, не в деяниях своих (подчас так же стандартно укладывающихся в кодекс), а в чем-то ином, скорее всего в той внутренней жизни, которая существовала в них, неподвластная наказанию и посулу, подчиненная не обстоятельствам, а нутру, характеру, как бы некоему предначертанию судьбы. Такие люди были интересны ему, у него было к ним свое отношение: одних жалел, другими восхищался, третьих побаивался, некоторых ненавидел, но уважал... Так и Иван был когда-то интересен ему.

А потом интересность ушла, и осталась тревога и родственная жалость, как-то незаметно Иван стал своим человеком, которого забываешь надолго, но все-таки он есть, существует и, неизвестно почему, нужен тебе и заботит тебя. Чудной он был, этот Иван!

Николай Александрович почитал газетку; полежал полчаса с закрытыми глазами, изо всех сил стараясь заснуть без снотворного, потом понял, что ничего не выйдет, достал предусмотрительно взятый им с собой димедрол, заглотнул горькую таблетку, и через минут двадцать

голова его стала тяжелеть и тускнуть, как перекаленная лампочка... Все меньше, слабее накал, и наконец темнота.

Едва он заснул, раздался шум открываемой двери, грохот, щелканье чемоданов, зажгли свет, он проснулся, увидел каких-то людей: мужчину и женщину, которых поселили именно к нему, несмотря на множество других незанятых купе, — видимо, по извечному и многократно проверенному «закону перевернутого бутерброда», всегда падающего маслом вниз.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Под конец, под закрытие, Иван расплясался... Теперь ему и сидеть не хотелось, только танцевать. Особенно ему твист нравился. Здесь музыка как бы входила в тебя, вливалась в твое существо и оживала в тебе движением, подчиняла твои мускулы, заполняла каждый миллиметр твоего тела. Здесь и руки и ноги танцевали, а все тело — и спина, и плечи, и сердце — буквально плавилось от ритма, от музыки, от счастья.

— Давненько не плясал я подобных танцев, — сказал Иван.

— А что у вас, другие танцуют?

— У нас немножко другая мода, — ответил Иван. — Обожаю бальные танцы. Знаете, падеспань, падгармонь, падконвой.

— Это еще что? Такого не слышала.

— Это старинный бальный танец. Молодежь его мало знает.

Она улыбнулась, не поняв. Да и к чему было понимать? Ну, шутит человек, как умеет, настроение у него хорошее.

А Иван с радостью подумал о том, что все пока хорошо закрутилось. Вот он чем теперь занимается — танцует в молодежном кафе с такой девушкой и не позорится, не хуже других, и не заводится ни с кем, не глотничает, ни от кого ничего не хочет, и никто ничего не хочет от него. То, что вчера казалось совершенно недоступным, постепенно становилось явью. Он только мечтал с ней познакомиться, только мечтал заговорить, встретиться, а вот уже они вместе, будто так и надо, будто так и положено.

Нет, есть бог или там кто еще. Все-таки он есть, аллах, прими поясной поклон.

Когда она оставила его и ушла на минутку, он проводил ее взглядом и еще раз удивился тому, как хорошо она сложена, как здорово она смотрится издали, как свободно и хорошо она ходит. «Такой в моей жизни еще не было,— подумал Иван.— А Галя?» Он подумал о Гале с грустью, но без прежней обиды и боли. Ранка долго ныла, теперь зажила, не найдешь и след ее. Галя была хороша, но уж больно умна и все, верно, знала наперед, что ей нужно, а что нет, привыкла учить людей, а ведь это трудно — думать все время об отметке, и чувствовать себя благодарным, и смотреть на женщину снизу, с парты, все время как бы с четверенек.

А эта мало что знает в жизни, не побита, не издергана, не оскорблена, поэтому не станет оскорблять других. Все у нее есть, что надо, бог дал ей юность, походку, уверенность, а значит, и доверчивость... А что еще? Некоторое бесчувствие, что ли... Но это, наверное, от возраста... Скрытая ласковость (когда они танцевали, он это почувствовал), желание выйти замуж. И прекрасно. И он будет охранять ее, будет ласковый, как собачка, и будет гавкать на других, если кто приблизится на расстояние трех шагов.

А вдруг она ушла и не придет? Отвалит — вот с таким бородатым, тонкогорлым, который еще на свете ничего не видел, но кое в чем, может, опытнее и ловчее его. Что тогда? Ну, он отлупит пару таких... Ну и что дальше? Что он докажет этим? Он и впрямь вдруг поверил, что она не придет. «Это будет мне наказание за то, что слишком расслабился»,— подумал он. Никогда не следует раньше времени радоваться, а он рассусолился, как теленок... А может, и впрямь он годится лишь для какой-нибудь вдовой Маруськи, любящей выпить перед сном. Через минуту она пришла. Села, выпила глоток вина.

— Что вы такой хмурый?

— Я думал, ты сбежала.

— Зачем?

— А вот так просто. Сбежала с молодым продавцом, со студентом техникума, с кондуктором, кто еще у вас в городе есть?

— С вагоном без кондуктора,— поправила она. И до-

бавила: — У нас тут много кто есть, но я такой привычки не имею.

— Все равно бы догнал.

— Ну и что?

— А вот посмотришь что.

— Значит, вы опасный человек?

Он проговорил быстро, как говорят некоторые кавказцы, когда кого-нибудь хвалят, в знак наивысшего восхищения:

— Звэр-а! («Машина — звэр-а! Костюм — звэр-а! Игрок футбольной команды — звэр-а!»)

Тамара рассмеялась. Уже ходила уборщица, подбравшая бутылки, просила покинуть помещение. Ребята пытались спорить с ней, дескать, еще рано, уходили медленно, нехотя, некоторые еще пританцовывали, надевая пальто, хотя в нарядном ящике уже давно погас свет и пятаки не звенели, не зажигали рубиновый глазок аппарата, они богатым медным кладом лежали на дне кассы.

На улице подсохло, но земля блестела, и одновременно пахло пылью и чем-то острым, терпким, будто эфир расплескали. Цветение угадывалось сквозь тьму — клейкостью, влажностью весеннего ветерка.

Выйдя на улицу, Иван замолчал, разглядывая ребят и девушек, расходящихся по домам, танцующих без музыки, весело переговаривающихся.

Там, в кафе, Иван чувствовал себя несколько не хуже их, а сейчас ему представился завтрашний день, поход к участковому и все остальное, что еще предстояло, и на смену возбуждению пришли тревога и усталость. Никогда еще в жизни не доводилось ему радоваться до конца, без оглядки, а всегда с тайной опаской и заботой. Так и сейчас. И разговаривать с Тамарой вроде бы стало не о чем, и идти некуда.

— Ну так как домой, на автобусе или пешком?

— Можно и пешком.

Если, уйдя из кафе, он как бы оторвался от нее, мысленно отдалился, то она еще была вместе с ним, и ее рука тепло и покойно лежала на сгибе его локтя. Иван устыдился своей дурости, тому состоянию, что последние годы стало привычным для него и которое он называл «психом». («Псих на меня напал».)

Он покрепче прижал ее руку и сказал:

— Лучше, конечно, пешком. Такой вечер один раз в жизни бывает.

— Почему?

Он не ответил. Они пошли быстро, сначала улицей, потом пустырем, переулками. Минут через пятнадцать пришли к ее дому.

Дом в отличие от Иванова жилья был новенький, блочный, а вокруг него, отгороженные палисадничком, росли кусты.

И собаки так же брехали по-деревенски, как и в том районе, где жил Иван, а из деревянного сарайчика натужно, пароходным гудком голосила растревоженная свинья.

— Вот моя деревня, вот мой дом родной, — сказала Тамара. — Спасибо и до свидания.

— Вот так сразу? — сказал Иван.

— А что? Пора уже, поздно.

— Покурим? — предложил Иван.

— Ну, по одной на посошок, — согласилась она.

Они сели на не просохшие еще дрова, сваленные посреди двора, и закурили... Было хорошо, тихо, прохладно.

— А кто тебя ждет дома? — спросил Иван.

— Сестренка и мать. Да они не ждут, а уже улеглись.

— А пахан?

— Кто? — переспросила она.

— Отец.

— Тот по другому адресу с другой сестренкой.

— Бывает, — сказал Иван.

Ему захотелось узнать о ней побольше, увидеть комнату, в которой она живет. Она сидела задумавшись, пожевывая папироску, так и не раскурившуюся, склонив голову чуть набок, как скворец, и в лунном свете был явственно виден чистенький школьный пробор в расчесанных набок, распущенных волосах; тон на щеках, подсиненные глаза взрослили ее, делали независимее, загадочнее, а сейчас всего этого не было видно в темноте, только пробор светлел на склоненной голове, и она казалась уставшей девчонкой, присевшей передохнуть то ли после учебы, то ли после игры... Он дотронулся до ее волос, провел ладонью по теплому и твердому затылку, все его нутро вдруг содрогнулось от нежности, тепла

и жалости, той, какую испытал он однажды к снящему Сереге. Он вытащил из ее губ папиросу, бросил на землю, прижал ее голову к себе и сидел так, чуть покачиваясь, будто собираясь ее убаюкать, уснуть. Верно, ей было неудобно, но она не шелохнулась. Потом он поцеловал ее в шею, в щеку, в глаза, чувствуя сладкое, нежное тепло кожи, горечь краски на глазах. Она не сопротивлялась и не отвечала ему, была рядом и вроде бы не существовала совсем.

— Слушай,— хрипло сказал он, не зная, как объяснить все получше, боясь напугать ее и стесняясь своих мыслей.— Я тебя люблю, хочешь верь, хочешь нет. Вот знаю тебя вроде мало, а разве в этом дело... И если кто тебя обидит...

«При чем тут обидит,— подумал он,— кто ее обижать-то собирается? Нет, не то ты тянешь, Ваня».

— Вот такое дело, Тамара,— сказал он и замолчал. Хотелось все не так сказать... Не так сейчас он чувствовал. Будто забежал куда-то слишком далеко и стоишь, как пенек, не знаешь, что делать, вроде и возвращаться нельзя и вперед идти сил нет.— Думаешь, выпил, болтает задаром. Ты уж меня, как говорится, извини... Только я словами не бросаюсь... Вот так, значит... Хочешь верь, хочешь нет.

Она не ответила, посмотрела на него искоса, чуть снисходительно и с интересом, как бы вновь увидев, и провела рукой по его волосам.

— А ты седой,— сказала она.

— Это ты сейчас, в темноте, разглядела?

— Нет... Еще там, в кафе.

— Есть маленько. Для солидности.

— Мне нравится... Лицо молодое, а сам седой.

— Какое ж у меня молодое?

— А вообще сначала ты мне показался старым и очень противным.

— А сейчас?

Она не ответила, уткнулась лицом в его плечо, а он гладил ее волосы, что-то быстро, громко говорил, но про себя, не вслух, потому что боялся голосом и словами все испортить. Вроде он качался на качелях и, когда молча гладил ее, то взлетал вверх, и в животе что-то приятно замирало, обрывалось от высоты и тишины, а потом он

летел вниз, и надо было что-то говорить, объяснять, а язык был неповоротливый, тяжелый, тянул его не туда, слова были жесткие и не те, что надо. И все-таки хорошо ему было, и он поверил, что и дальше будет хорошо... А волосы у нее были электрические, ладонь его чувствовала острые частые зарядики... Качели быстро и круто подымали его душу вверх — в нежность и в покой.

Но другая мысль наперекор всему этому, беспокоя и ожесточая его, лезла со дна и тянула качели вниз, в голую деревянную землю.

— Том, ты извини, не думай, что я халява такой, нахальный, только один вопрос у меня есть к тебе. Скажи, у тебя, наверное, сейчас кто есть?

Она не ответила, он отстранился от нее, закурил, руки у него дрожали. Ее молчание все и подтверждало...

Не надо было заводиться, конечно, на эту тему, но остановиться уже не мог.

— Ты не темни, Томк. Говори, как есть...

Она встала с сырого штабеля, одернула свой серебристый плащ. Он металлически, как жестяной, зашуршал.

— Ты же седой, значит, должен быть умнее.

— Не обязательно,— сказал Иван.— А что?

— А то,— сказала она.— Стала я б с тобой сидеть, если б кто был. Я так не умею.

Качели вновь рванулись вверх, будто их из страшной рогатки выпульнули... «Все нормально, капитан, все нормально»,— сказал Иван мысленно свою любимую фразу.

Она встала, Иван продолжал сидеть. Край ее плаща холодно и жестко касался его щеки. Шелковые точеные ноги были в сантиметре от его лица, казалось, они источали нежное тепло, от которого сердце останавливалось.

Не вставая с места, сильным движением Иван притянул ее к себе. Прикосновение буквально обожгло его, и он ткнулся головой, лицом в ее колени. Ноги ее напряглись, сопротивляясь, пытаясь вырваться из этого обруча, уйти, убежать, она что-то говорила, он не слышал. Куда делась прежняя острая и жалостная нежность?.. Он терял голову, желание душило его, и только краешком сознания, еще трезвым, еще не одурманенным близостью женщины, он соображал, что сейчас все кончится скверно, что она уйдет от него, и все, больше он ее не увидит, что он испортил все, что было вначале, и уже не будет

никаких качелей, ничего не будет. Он разжал руки, она рванулась от него в сторону, к дому, он крикнул ей почти с мольбой:

— погоди минутку, останься, ну не бойся, прошу тебя!

Она остановилась на полпути между бревнами и подъездом. Он подошел к ней, сказал, успокаиваясь:

— Не сердись, ты потом поймешь... Я уже забыл, какие женщины бывают. Озверел малость. Будет так, как ты захочешь, и все, я тебя больше ничем не обижу... Не в этом дело.

— А в чем? — спросила она.

— А в том, что я тебя люблю, вот и все, и не смейся... У меня, может, ничего, кроме тебя, нет.

— Как же ты, интересно, жил до сегодняшнего дня?

— А я и не жил, я только и ждал тебя.

— Чудной ты, — сказала она. — Чуть-чуть с приветом. — Она стукнула пальцем по виску. — То такой хороший, покорный, то будто с цепи сорвался.

— Ну, сорвался раз, — согласился он.

— Ладно, — сказала она. — На первый раз прощаю. Он взял ее руки, холодные, будто был мороз, и провел ее узкой ладонью по своему лбу, щеке, по губам.

— Ну, когда теперь? — спросил он с надеждой.

— Когда-нибудь, — ответила она, улыбнувшись.

— Завтра, — твердо сказал Иван.

— Какой ты настырный. Ну ладно.

Она повернулась и пошла, вот она уже дошла до подъезда, открыла дверь.

— Слушай, ты в бога веришь? — крикнул он.

— Никогда, — ответила она.

— А в судьбу?

— Верю.

— И я тоже.

— Только в счастливую, а ты?

Он не ответил, молча махнул ей рукой. Хлопнула дверь подъезда.

Он подумал, что не сказал ей что-то важное, существенное, да, в общем-то, ничего не сказал, и он решил догнать ее, вбежал в подъезд, в эту гулкость, пустоту, полутьму, терпко пахнущую кошками.

Где-то наверху он услышал уже слабый, нечеткий стук

каблуков, затем дверь захлопнулась, в подъезде стало безжизненно и тихо. Он сел на подоконник, достал свой «Беломор» и, когда, закуривая, поднес руки к лицу, отчетливо услышал запах ее духов, волос.

Он прижал ноги к теплой батарее и, словно собака, обнюхал свои руки, пахнувшие ею. Так он сидел еще долго, чувствуя тепло, которое от ног шло вверх, наполняя все его внутренности блаженным, усыпляющим покоем.

Такое было чувство, будто падал с самолета, камнем в землю, с большой высоты, и вдруг парашютик неожиданно раскрылся над ним, и он повис недвижно меж облаков и мягкого неба.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Он легко ориентировался в чужой, незнакомой местности и сейчас пошел не тем путем, как шли они вместе сюда, а кратчайшим, как ему казалось, — дворами. Крупная капля — то ли ветром ее сорвало, то ли так, шальная — шлепнулась на лоб, приятно похолодив лицо. Он подошел к дереву, разглядел в темноте набрякшие почки. Казалось, еще минута, и они разорвутся.

«А ведь я как раз к лету попал», — подумал он с тайной радостью и удивлением. Из дворов он вышел на пустырь, бывший когда-то стадионом, судя по еле очерченному квадрату поля, перепаханного кое-где бульдозером, по сваленным в кучу остаткам трибун. На колышках висели большие фанерные щиты, видимо стенды. В одном месте стенды были сняты, и сердцевина щитов не белела, а гасла в общей тьме. Около одного из щитов он заметил какое-то движение. Подойдя чуть ближе, увидел группу людей. Они стояли плотно, Ивану даже почудилось, в кружок. Голосов не было слышно, в темноте казалось, что они колдуют над чем-то или же роют землю, встав в круг. Неожиданно круг разжался, и из него пулей выскочил человек и побежал.

Он пробежал метрах в десяти от Ивана. Только белое пятно лица мелькнуло, очень белое, белее стендов на колышках. Иван скорее угадал, чем увидел, что это был молодой парень, хотя бежал он тяжело, то ли пьян был, то ли подбит... И тут же цепочка рванулась за ним,

и по той сосредоточенности, с какой они молча бежали, Иван понял, что эти четверо травят пятого не на шутку... И что при таком ходе он от них не уйдет.

Действительно, они быстро догнали его и остановились, и бежавший и догонявшие его стояли на сей раз вроде бы мирно, что-то выясняя. Ивану были слышны их голоса, но что они говорили, он не различал. Незаметно как-то бежавший переместился в центр группы и стал размахивать руками, будто объяснять что-то. А через секунду он упал, будто поскользнулся, будто не на земле стоял, а на льду. Тут же он исчез из поля зрения, потому что те четверо окружили его. Они покачивались, размахивая руками, будто играли в футбол, пасовали в кружок, тут же Иван понял, что и на самом деле они работали ногами. Он подошел на несколько метров ближе к ним и явственно услышал ругань, сдавленный крик; кольцо на мгновение разорвалось, и тот, что был внутри, по-лягушечьи, на четвереньках, выпрыгнул из кольца и снова тяжело, подбито бежал, время от времени нагибаясь к земле и хватаясь одной рукой за бок... И снова те четверо погнались за ним, и Ивану было хорошо видно, как он растерянно нагнулся, схватил что-то с земли, видно камень, и бросил в них, но не попал, потому что они не замедлили свой бег и уже почти настигли его.

Иван не мог разглядеть их как следует, но сейчас по их бегу, по суетливой ярости, с которой они все на него снова кинулись, Иван почуял: это не мужики, это малолетки.

Иван вложил оба пальца в рот и свистнул. Он хотел их взять на испуг, остановить. Действительно, они остановились, но не все: один, самый маленький, махал руками около подбитого. Остальные стояли не двигаясь, издали разглядывали Ивана. Убедившись, что он один, они сделали шаг ему навстречу.

— Эй, подойди! — крикнул один из них высоким, ломким голосом.

Иван не ответил. Он снова сунул пальцы в рот и зашвистел, будто подзывая кого-то к себе. Свист его прозвучал на этот раз резко, пугающе. Они остановились, замерли... Иван повернулся и ровным шагом пошел назад к щитам. Однако, пройдя десяток метров, он вновь услышал резкий, тонкий, будто бы знакомый окрик:

Стой! Вертай назад!

Иван продолжал идти, не замедляя, не убыстряя шаг, вскоре он услышал нарастающий топот. Теперь бежали за ним.

«Может, рвануть? — соображал Иван. — Да ни к чему от мелюзги бегать... Пугну, отобьюсь. А вообще зачем я влез?»

Он прошел еще несколько шагов, чувствуя затылком, спиной близость бежавших людей, и круто повернулся им навстречу. Он сунул руки в карманы, будто там было что-то такое, чего не достают попусту. Он молчал, выжидал. Двое почти вплотную подошли к нему.

— Ты чего свистел? — спросил тот, кто окликал его.

Теперь Иван понял, что он не ошибся, им было лет по шестнадцать, не больше, и тот, кто спрашивал, был будто бы знаком, где-то Иван уже видел его.

— Ты чего, дешевка, свистел? — повышал голос парень. — Фары тебе пописать?

— Не тарaxти, сопляк локшовый, — спокойно сказал Иван. — Дыхало закрой, когда со старшим говоришь.

Тот аж опешил на мгновение.

— Так вот я вам говорю, — продолжал Иван. — Валите отсюда, пока вас тут не тормознули. И человека оставьте, не смейте трогать.

— А тебе что, больше всех надо? — сказал парень, и Иван окончательно признал его. Это их шайка-лейка прицеплялась к Ивану в парке у пивного ларька. Сейчас, сбитые с толку изощренным блатом Ивана, его уверенностью, угрожающим видом, они пялили глаза, одновременно робея и взвинчивая себя, остервенясь и с опаской косясь на неподвижные руки Ивана, тяжело лежавшие в оттопыренных карманах, в которых, кто знает, какая штучка лежит.

— Да, мне надо, — сказал Иван. — Я вам повторяю: валите хором отсюда без несчастья.

Иван повернулся и пошел. Они стояли сзади, еще не решив, что делать, но нападать пока боялись. Теперь нужно было уходить... Все, что мог, он сделал, а теперь уходить, быстро и толково, но без суеты. Не дай бог показать этой шушере, что ты боишься. Им только подставься, только покажи слабинку, такие мальки беспощаднее взрослых, когда чувствуют слабость или безнака-

занность. И все-таки Иван таких не боялся. Сколько таких бегало у него на побегушках ложкобойниками!

Он пошел достаточно быстро, твердо, одну руку по-прежнему держа в кармане, будто там что-то было, другой помахивая для быстроты хода, шел так, будто сзади никого нет... «Разговор окончен... Пора по домам. Я вас предупредил, а вы меня не троньте, только зачем о ни встретились в такой вечер?» Он не жалел, что ввязался... таких не пугнуть — себя не уважать. На них не крикни — загрызут человека насмерть. Но было досадно, что такой вечер испортила эта шпана.

Тихо — ни голоса, ни ветерка. Тихо, прохладно, свежо. «Надо б дойти до остановки, — подумал Иван. — Метров через сто вроде б остановка. Может, еще автобусы ходят. Кто его знает, какие тут порядки?»

Задумавшись, он не расслышал, как двое стоявших впереди рванулись с места, а двое других побежали за ними. Он прозевал их рывок на секунду, нет, на полсекунды, чуть запоздал ринуться вперед, а теперь они уже догоняли его. Он мгновенно решил, как будет действовать. Сначала он побежал не сильно, потом резко остановился, и, когда первый на скорости поравнялся с ним, Иван прыгнул на него и всей тяжестью своего тела свалил на землю. Второй кинулся на него сзади, но промахнулся, проскочив вперед, и Иван успел ударить его, аж пальцы хрустнули обо что-то твердое, должно быть затылок. Балась, тот заплел ноги Ивану, и Иван потерял равновесие, но все-таки устоял. И тут же он увидел, что около него прыгает и петляет, как заяц, то удаляясь, то приближаясь, бежавший сзади всех, маленький, верткий, без шапки.

— Прочь, гнида! — крикнул Иван и побежал вперед.

Но те двое уже встали и пошли вдогонку за Иваном. Через несколько секунд он уже слышал рядом их бешеное дыхание, прерывистую ругань. Одного Иван ударил сбоку, в печенку, удар получился скользящий, не очень сильный, а второй подсек Ивану ногу, и Иван, таща его за собой, вместе с ним упал на землю. Первый прыгал над ним, целясь ногой в голову. Иван уклонялся, вертелся на земле, как рыба, одной рукой прижимая того, кто упал с ним вместе, ногами отбиваясь от нападавших сверху. Наконец, ему удалось опрокинуть на себя первого, и теперь они все трое бились на земле пыльным, шипящим,

кровавым клубком, и главное сейчас было первым выскочить, первым встать на землю. Иван метелил их влежку, руками и ногами, не чувствуя, не замечая ответных ударов. Как бы в полусне, он видел маленького, который нагибался над ним, но у Ивана руки были заняты, и он не мог его отпихнуть, и он не знал, чего этот маленький, эта крыска хочет. Ему удалось на мгновение высвободиться, встать, и он рванулся вперед, но тут маленький, как мышь, метнулся наперерез, обжег Ивана кругом и подскочил, оставив назад одну руку. Иван почувствовал не тяжесть удара, а тычок, горячий, в спину, раз, и снова такой же, колющий и более глубокий в поясницу... Боль почему-то отдавалась в живот, а спина стала мокрой и горячей.

Он еще не понял: как это? Чем? Только почувствовал, что ноги держат плохо, что бежать не может. Что-то липкое, скользкое склеило ноги, тянуло вниз, к земле. Да и бежать уже было ни к чему: пространство вокруг него было пустым, и три спины удалялись от него, постепенно сливаясь с землей, с темнотой, последним бежал маленький человек без шапки.

Иван попробовал все-таки встать, идти, прошел несколько шагов, потом его затошнило, свело живот. Теперь впервые он почувствовал глубокую, нестерпимую боль, он встал на колени, потом лег на землю, сжавшись, бочком. Он вдруг стал плохо видеть и не знал, куда ползти и кого позвать. Он пополз к щитам, белевшим невдалеке, но доползти до них не сумел, потому что ему показалось, будто голыми внутренностями, кишками он царапается о землю, о грязный, острый, нарастающий снег.

Надо было все-таки кого-то позвать, чтобы помогли, может быть, девушку, которая жила здесь рядом. Но он вдруг забыл ее имя. Силился вспомнить несколько секунд, но не мог. Тогда он окликнул Серегу, своего младшего брата, чтобы тот пришел поскорее, взял его и довел домой. На земле становилось все холодней, и тепло из спины уходило...

Николай Александрович так и не заснул, всю короткую ночь он провел в тревожной полудреме. Поезд приходил рано утром, стоянка была трехминутная, и он

боялся проспать. Как назло забыл завести часы и все вглядывался в окошко, где развиднелось тускло, не по-весеннему. Наконец он встал, побрился в коридорчике электробритвой, зудящей уныло, вполнакала.

— Зря беспокоитесь, — сказала ему проводница. — Спали бы себе. Еще час до вашей станции. У меня же отмечено в книжечке, седьмое купе — разбудить в шесть.

«Все-таки хорошо, что вырвался. Иван обрадуется... Надо будет зайти в райотдел милиции — не помешает. И насчет работы обмозгуем...»

Николай Александрович решил не возвращаться в сонное, тяжело надышанное купе и простоял в коридоре у окошка, глядя, как лес, еще не стаявший снег и редкие домики из бесформенных и грязно-серых становятся розовыми и теплыми. Перед остановкой он испытал то легкое и приятное возбуждение, что известно каждому, кто подъезжает к месту, к своему конечному пункту, особенно когда едешь не по нудной обязанности, а просто так, в силу своих личных интересов...

Мать Ивана несколько раз в ночь вставала, подходила к дверям, прислушивалась... Ивана все не было. Она дважды пила сердечные капли, будила мужа, один раз даже всплакнула и внезапно заснула на рассвете, измаявшись и устав за ночь. Ее и мужа разбудил звонок в дверь, долгий, сплошной, без перерыва, резко прервавший ее слабый, болезненный сон. Она, побледнев, вскочила, пошлепала босыми ногами в сени, непослушными руками дергала задвижку, никак не могла открыть.

— Кто? Кто?.. Это ты, Ваня?!

— Открой, Михайловна, — сказал громко женский голос.

На пороге стояла соседка, из домика напротив.

— Подымайся, Михайловна! С Ваней неприятность.

— Что, что такое?! Слава, иди сюда скорее. Ой, нехорошо мне!..

Она, держась за сердце, стояла, прислонясь к косяку с неживым, побелевшим лицом.

— Что ты знаешь, говори! Ну, говори же скорей... Куда мне бежать-то? Где он, Ваня? Ну, говори же.

— В больницу беги. В больницу его отвезли... Говорят, дрался с кем-то... Он в больнице лежит порезанный.

Туфли не застегивались, платье не надевалось, и Вячеслав Павлович молча помогал ей. Задыхаясь, с таблеткой валидола во рту она выскочила из дома и бежала к больнице, а муж сзади, не поспевая за ней.

— Я же говорил, — тихо, чтобы она не слышала, бормотал он. — Я же говорил, я же заранее знал, что так будет...

Она не слышала ничего и молчала. Лицо ее казалось застывшим, в мертвенности своей — неприступным. И только внутри себя она кричала криком, и внутренности ее рвались и набухали кровью: «Ведь так все хорошо было... Ведь хорошо же было... Что же ты делаешь со мной, Ванечка-а-а?.. Что же ты с нами делаешь?»

В больнице кто-то накинул на нее халат, объяснял, какой этаж, какая палата, она не слышала и не понимала, и бежала вперед, сдернув с себя мешавший халат, держа его в руках, как полотенце, и безошибочно поднялась на третий этаж, и, не спрашивая, нашла палату, где он лежал. У палаты она остановилась. Не могла переступить порог и открыть дверь. Муж догнал ее, и она сказала:

— Ты иди...

Он вошел, а она стояла у дверей, ждала. Через минуту муж вышел.

— Живой он? — спросила она мужа.

Муж замешкался, секунду не отвечал, ее стало знобить, и она накрыла голову халатом. Наконец до нее дошел его далекий, приглушенный голос.

— Живой он... Без сознания сейчас... Ты бы пока не входила.

Сережку никто не разбудил, как обычно, и он хотел было проснуться сам и вылезти из теплой постели в утренний холод, но раздумал и снова накрылся с головой. Поспав еще немного, он разлепил глаза, посмотрел на часы, было уже больше девяти... Первый урок подходил к концу. Он вскочил, в доме никого не было. Раскладушка брата, сложенная, стояла у стены. «Как же это я не услышал, что он встал?» — подумал мальчик. Он походил немного по квартире, вышел во двор, посмотрел там... «Может, брат здесь, делает зарядку?» Но брата не было... Отец и мать, видно, ушли на работу, а в доме почему-то все было раскидано.

Он собрал учебники и, не поев, пошел в школу. Он не знал, как он объяснит учительнице свое опоздание. Не мог ничего придумать. Около школы тоже было пусто и тихо. Только один парень из седьмого «Б» курил не стесняясь и что-то чертил на земле прутиком.

— Ты чего? — спросил он Серегу.

— Опоздал на урок... Проспал. А ты?

— Выгнали.

— За что?

— Да так... Было дело.

Сережа сел на корточках и стал бить палочкой по комку снега.

— Говорят, к тебе брат приехал? — спросил парень.

— Ага, — с гордостью сказал Сережка. — Давно уже. Четвертый день. Он у меня на погранке служил.

— На погранке? — ухмыляясь, сказал парень. — А мне говорили, он в тюрьме сидел.

У Сережи аж лицо вспухло. Он приставил палец к своему виску и сказал:

— Ты что... Совсем, что ли, того?

— Я-то ничего... Ты-то чего дурочку ломаешь? В тюрьме он сидел, все говорят.

Сережка встал, бросил на землю портфель и пошел на парня... Ему хотелось плакать, но он сдерживался изо всех сил. Парень был на голову выше его, но это не остановило Серегу.

— А ну-ка еще скажи... Я тебе сейчас дам в лоб. Мой брат пограничник. Он со службы вернулся. Все знают... Попробуй, скажи еще про моего брата.

Семиклассник сплюнул, повернулся к Сереге спиной и, пощелкивая пальцами, пошел в школу.

А Сереге хотелось драться и плакать. Плакать и драться. И еще есть, потому что так никогда не бывало в его жизни, чтобы его не будили, не оставляли ему еды, не провожали его в школу, чтобы он опоздал на целый урок и не знал, что говорить учительнице.

Апрель 1970 — февраль 1972

Очерки



Воспоминание о революционере



Портреты революционеров, участников гражданской войны висели в Музее Революции... А по большим праздникам к нам в школу приходили пожилые, больные люди из Дома политкаторжан в Машковом переулке.

Они подымались по лестнице, устланной ковром, сопровождаемые пионерами; шли сосредоточенно, ни на кого не глядя, с осторожностью, ступенька за ступенькой, как по заминированному пространству. И начинали говорить они тихо, так, что задние ничего не слышали, тихо и, казалось, бесстрастно, и нам становилось скучно. Но вот незаметно их мерная и тихая речь овладевала нашим сознанием. Не старческий голос слышали мы, а далекий гул времени. Возраст, усталость, превратности судьбы, болезни забывались и исчезали; старость выходила за дверь подремать, а юность впархивала в комнату, видимая только им, недолгая и горестно счастливая.

И теперь мы видели не дедушек, не стариков, не пенсионеров, а революционеров.

Вежливые дежурные провожали их обратно, поддерживая за локти; они тщательно и осторожно спускались по лестнице и уже у раздевалки оборачивались, махали нам шляпой или рукой, а иногда и палкой и улыбались, еще не остывшие, румяные. А внизу их уже ждали

заботливые и строгие старушки, которые говорили вполголоса: «Ну сколько можно... Тебе надо было в восемь принять, а сейчас уже...»

Мы, недавно завидовавшие им, теперь жалели их, втайне уверенные в том, что сами-то никогда не будем стариками.

Но однажды, будучи учеником, кажется, седьмого класса, я познакомился с революционером, вовсе не старым по возрасту, только что бежавшим из тюрьмы, в которой ему полагалось быть по приговору ни много ни мало пятьдесят пять лет.

Что знали мы об этом человеке?

Что в юности он учился в офицерском военно-морском училище и был изгнан оттуда за организацию революционного митинга моряков; что в 1921 году он приехал в Москву и учился в КУТВе (Коммунистическом университете трудящихся Востока); что он писал стихи; что встречался с Маяковским; что в страшную стужу незабываемого январского дня он, южанин, в растянувшейся на многие километры очереди в Колонный зал стоял, плакал молча и не мерз... Стужа этого дня навсегда закалила его.

В том же году он вернулся в Турцию, вступил в коммунистическую партию и в том же году получил свой первый тюремный срок. Но он убежал, ушел от охранки...

На родине, в Турции, он издал восемь стихотворных сборников, и после каждого издания он получал особую награду, особый гонорар, явственно говоривший о том, какое значение придавалось его стихам. Этот гонорар исчислялся годами новых тюремных сроков.

В последний раз он был осужден на двадцать восемь лет и четыре месяца. Он боролся и в тюрьме, как умел: объявлял голодовку, ободрял приговоренных, издевался над палачами. Незнакомая болезнь с пугающим названием «грудная жаба» ежедневно и еженощно терзала и опустошала его. Ему не было и пятидесяти, а на фотографиях он выглядел стариком.

Он терял голос от физической слабости, от одиночества, от того, что фактически никогда не видел своего сына. Но еле слышным голосом он шептал стихи, которые (как уж это происходило, не знаю) завтра или послезавтра гремели на весь мир.

Его революционная борьба, казалось, дала ему краткий отпуск — на встречу с единомышленниками, а может, и на тайную явку, чтобы он мог изменить свой облик и вновь вернуться в родной край, где еще правят тюремщики и палачи.

Он был настоящим революционер, борец, друг бедняков и неимущих, но, кроме всего, он был еще поэт.

Совершается путешествие на барже, груженной углем.
Разве есть такой порт, где бы не дрались,
есть такая печаль, чьи бы песни не пели?
Разве утром увиденный горизонт
не был вечером нами оставлен где-то там, позади?..
Разве есть остановка в пути, остановка в пути?

Как выясняется, остановки не было. Борьба, как и поэзия, не имеет ни конца ни начала. Человек мог остановиться лишь для того, чтобы обдумать новый рывок вперед.

Имя и стихи этого поэта мое поколение узнавало не из учебников, а из газет и выучило наизусть не как задание на дом... Имя это было легендой.

Назым Хикмет звали этого человека...

На митингах протеста в школе мы все, отличники и двоечники, в справедливом негодовании и в гневе требовали: «Свободу Назыму Хикмету!»

И вот Назым Хикмет на свободе. Говорят, он тайно приехал в нашу страну, несмотря на происки местной реакции, несмотря на то, что полицейские ищейки хотели помешать ему пересечь Черное море. Так или иначе, но он здесь, в Советском Союзе. И все это очень занимает и волнует меня, не имея, однако, пока никакого прямого отношения к моей личной судьбе.

Впрочем, до определенного момента.

Однажды меня вызвали к директору школы. Директор вручил мне нечто вроде повестки с предложением явиться к секретарю Куйбышевского райкома ВЛКСМ. Я был крайне удивлен: за какие такие заслуги или прегрешения меня вызывают к комсомольскому руководителю всего района? Директор не дает никаких разъяснений:

— Там, на месте, узнаешь.

Иду туда. В приемной очередь; неуверенно называю

фамилию, секретарша тотчас же приветливо откликается:

— Входи. Тебя ждут.

Вхожу. Здравуюсь. Секретарь кивком показывает: садись. Оглядывает меня, как мне кажется, с недоверием, спрашивает:

— Это ты пишешь стихи?

— Нет. Только прозу.

Я писал прозу, занимался в литературной студии городского Дома пионеров, написал рассказ «Наследники миссис Пайк», обличавший американских империалистов и расистов. Рассказ передали как-то по радио. Факт, оставивший в моей душе глубокий след.

Секретаря, очевидно, моя проза не заинтересовала.

— А мне сказали, что ты пишешь стихи. И притом хорошие.

Я покачал головой и собрался уже покинуть кабинет. Но он меня не отпускал.

— Ты не спеши, Володя,— обратился он ко мне по имени, что меня очень удивило — откуда он знает мое имя? — и, с другой стороны, как-то сблизило меня с ним.— Ты знаешь, что такое социальный заказ?

Я не знал, но догадывался. И потому утвердительно кивнул головой.

— Так вот, дружок, надо,— сказал он мягко и оттого еще более непреклонно.— Времени уже нет на поиски поэта. Через два дня он будет здесь.

— Кто он? — воскликнул я.

— Назым Хикмет, турецкий революционер. Ты слышал это имя?

— Еще бы!

— Так вот, товарищ Хикмет будет гостем нашего района, гостем комсомольцев, общественников, старых большевиков. И ты должен написать приветствие и зачитать его от имени юных.

— В прозе? — спросил я с надеждой.

В этот момент вспыхнула какая-то кнопка, и секретарь положил руку на аппарат, почему-то не издававший привычного телефонного звонка. Он снял трубку, но, прежде чем ответить, повернулся ко мне и сказал, как мне показалось, с некоторым оттенком раздражения:

— Ну я же тебе объяснил — стихами. Он сам поэт, и его надо приветствовать в стихотворной форме. Мы

могли бы взрослого поэта попросить помочь, но решили, чтоб все было самодеятельно.

Затем он стал говорить по телефону. Говорил долго и обстоятельно, но на этот раз не о стихах, не о прозе, а о картошке: о том, какой транспорт будет предоставлен студентам, едущим на картошку, и как их разместят в том поселке, куда прибудут, и как они будут обеспечены питанием.

Договорившись по всем этим вопросам, он сделал какую-то пометку в настольном блокнотике, еле слышно вздохнул и посмотрел на меня:

— Ты ведь слышал, наверное: товарищ Назым только что из тюрьмы. После краткого отдыха на юге он приехал к нам, в Москву. Он болен, но, несмотря на это, хочет встретиться с нашей молодежью. Куйбышевскому району оказана большая честь... Товарищ Назым, сам понимаешь, сколько испытал... Какой ценой ему эти встречи дались!

— Да я все понимаю...

— Ну вот. Я попрошу директора освободить тебя на два дня от занятий. Иди работай. Главное, чтоб от души было. Ну, а если что и нескладно — поправим. Товарищ Назым больше будет на содержание смотреть, чем на форму.

— А он русский знает?

— Знает. Он у нас в Москве учился, в Коммунистическом университете трудящихся Востока.

Я пришел домой и погрузился в работу. Домашние никак не могли поверить, что это не уловка, что я действительно освобожден от занятий, и поглядывали из-за плеча в мою тетрадь, стараясь угадать истинную цель моих занятий. Но все было честно. Я писал стихи...

И вот наконец день встречи.

Клуб Министерства финансов. Помню зал, забитый людьми, возбужденный, наэлектризованный, пришедший не на официальную встречу, а на свидание со своим героем. Были плакаты, транспаранты: «Привет товарищу по классовой борьбе!», «Здравствуй, Назым Хикмет!» Было много стариков, ветеранов революционного движения. Полно было школьников, и я узнавал со сцены своих одноклассников. Им хорошо было там, в зале.

Я сжимаю в потных от волнения пальцах листочек со стихами...

Но вот я вижу, что зал затихает, а затихнув, вдруг волнами, сначала первые ряды, потом задние, встает, а с другой стороны, из темного просцениума, на ярко освещенный квадрат идет красивый человек, со светлыми усами, голубоглазый, худощавый, не похожий ни на турка, ни на узника, ни на мое представление о нем.

Зал скандирует:

— Хикмет, Хикмет!

Фамилия так легко и складно скандируется: «Хикмет! Хикмет!»

А я стою, замер, не зная, что делать, пока чья-то рука не подталкивает меня вперед, кто-то тихо в спину мне говорит: «Ну пошел». И я иду. Я иду к светлому квадрату, где уже стоит он, щурясь и улыбаясь. По дороге рука разжимается, бумажка с текстом падает, я хочу нагнуться и не могу, а на меня уже глядят голубые глаза и ждут, что я что-нибудь скажу или сделаю. Иначе зачем я здесь? Я поворачиваюсь к ним, на их влекущий и притягивающий меня свет, мысленно прощаясь с бумажкой и со всем посторонним, уже второстепенным, и тихо говорю:

— Здравствуйте, товарищ Назым...

А из зала кричат:

— Громче! Звук! Звук!

И, проваливаясь в ватную бездну, я с трудом вынырываю из нее и громко, почти крича, произношу:

— Песня Хикмета над миром несется, песня поэта — в ней горечь и сила, хочу, чтобы песня как знамя шумела, чтоб песня тюремные двери сверлила.

И что-то мальчишечье, звонкое, неумелое, наивное, искреннее, хотя бы по-человечески, если не поэтически.

Конечно же, искренне, потому что Хикмет обнимает и целует меня, целует мой пионерский галстук и плачет... Да, плачет, без стеснения и стыдливости — то ли от минутного счастья, то ли от общего тепла, то ли от того, что я в этот момент дорог ему своим дрожащим громким голосом, галстуком, своим возрастом, то ли от того, что в зале действительно витает дух человеческого братства.

А может, он подумал и о своем маленьком сыне Мемеде, оставленном там, на родине.

Кто знает, отчего плачут герои и революционеры!

Теплое прикосновение Назыма чувствовал я на своей

щеке, и мне не хотелось, чтобы, похолодев, оно навсегда покинуло меня.

— Как тебя зовут, мой милый человек? — спросил он меня.

Возможно, он хотел сказать «мальчик», но сказал по ошибке «человек», хотя и хорошо знал русский язык.

— Владимир, — шепотом ответил я.

— Волёдя, — округлил и перевел в уменьшительное мое имя, глядя мою голову длинными пальцами и шепча так, что я один только слышал: — Какой ты маленький... О, как я завидую тебе!..

Я собрался было ответить, что мечтал бы быть хоть немного таким же, как он, что он сам еще не старый, а выглядит совсем хорошо, не как узник зловещей тюрьмы Бурса. Но в этот момент он отошел от меня, протянул руки к залу и вдруг стал чем-то похож на Маяковского, а может, просто на поэта. Он начал читать стихи, гортанно и нараспев, и в этих непонятных звучаниях звонко выделялось и как бы вспыхивало и удивляло своей знакомостью, своей одинаковостью на любом языке слово «Ленин».

В тот вечер он читал такие строки:

Читайте!

Читайте громко и четко!

Читайте, друзья, во весь голос!

Читайте так, чтоб решетка

Дрогнула и раскололась!

Читайте Ленина строки!..

Через несколько лет на Киевском вокзале я увидел вновь этого человека, уезжавшего в Варшаву на конференцию сторонников мира. Я был в группе провожавших, и мне все время мучительно хотелось напомнить ему, что я тот самый мальчик. Да, тот самый мальчик в галстук, со стихами на тетрадном листе.

«Помните мальчика со стихами, которого вы поцеловали?..»

«Ах, — слышал я, — сколько их было, мальчиков в галстуках и просто в белых рубашках, со стихами и без стихов, с приветствиями, с песнями, с танцами, с рисунками, с народными вышивками. Сколько их было, разве всех упомнишь!..»

Поезд уходит в Варшаву; близкие, друзья жмут руку, доктор серьезно и доверительно что-то говорит ему на ухо; он улыбается всем и пожимает руки, всем и мне, не мальчику со стихами, а представителю комсомольской газеты, вполне деловому молодому человеку, пришедшему сюда по заданию редакции и частично по собственной инициативе.

«Да это я... Это я... Ну помните еще Министерство финансов, большой зал?..»

— Будьте все здоровы... счастливы,— говорит он нам всем.— До встречи...

Поезд уходит в Варшаву.

Еще через несколько лет один общий друг передал мне, что Хикмет прочитал мою первую книгу и даже сказал несколько добрых слов. А еще через год на открытом пленуме Союза писателей нас одновременно приняли в Союз писателей СССР, нас, молодых, и его, всемирно известного поэта, недавно принявшего советское гражданство и вот теперь ставшего членом советской писательской организации. Помню, что он говорил тогда о своей радости быть с молодыми. Он говорил, что поэт обязан быть молодым, так как молодость — это не физическое состояние, а особое свойство восприятия мира, это талант вечной любви, свежести, удивления, непокорности, сопротивления несправедливости. Молодость — это революция... И поэт, если он хочет остаться поэтом, должен быть вне возраста — в состоянии вечной молодости.

В тот год я уезжал в Таджикистан, на Памир. Меня должны были оформить в геологическую партию коллектором. И, полный ожиданий, я мысленно видел Среднюю Азию, в которой уже был однажды, ждал этого ощущения встречи с полупозабытой землей, с синими горами в венчике взбитых облаков... Я слышал гортанный крик старика, продающего лепешки; видел песочный минарет мечети и острые, внимательно-плутовские глаза девочки в цветастом халате, бегущей мимо тебя и глядящей как бы мимо тебя; я видел алого попугая в золоченой узорчатой клетке в чайхане,— таинственность обыденного и обыденность таинственного.

За день до отъезда ко мне зашел товарищ и сказал:

— Там внизу машина Хикмета. Хочешь его увидеть? Хикмет, очевидно, приезжал к своему переводчику, жившему в нашем доме.

Я заторопился, стал одеваться. Мне так хотелось хоть на мгновение увидеть Назыма, может быть, сказать ему то самое первое, прежнее, детское, что вытолкнуло меня на ярко освещенную сцену со стихами в горячих ладонях, то самое, что мучило на вокзале: «Я тот мальчик, который...»

Что это было? Детское тщеславие? Нет. К тому времени я уже знал нескольких крупных писателей, да и вообще никогда не испытываю желания прикоснуться к чужой славе. Это было другое — и отнюдь не тщеславие. Это было ни с чем не сравнимое ощущение того, что реальность твоего повседневного бытия вдруг соприкасается с легендой, с той правдивой и с детства запомнившейся сказкой о человеке, заступившемся за бедняков, о поэте, бросившем вызов тирану, о революционере, заточенном в крепость: «В наручниках, удвоен караул...»

И он сидит в этой одиночке не год, не два — десятки лет, в немоте, в непрерывном ожидании, в мире разорванной любви, подчиненный чужой воле, насилию, сам немой и все-таки посылающий миру свои сигналы.

А сегодня исполнится десять лет
всем детям, что родились на свет
в тот далекий-далекий день,
когда впервые решетки тень
легла полосой на мой листок
с первым десятком тюремных строк.

Вот что означал для меня этот человек.

Бегу по маршевым пролетам, выскакиваю во двор, вижу машину. Только она уже уходит. Мелькнул на мгновение загорелый медальный профиль, высокий лоб, седые усы... Я опоздал. И вдруг я ощутил некую странную тревогу, как бы предвестие разлуки. Но я услышал спокойный, рассудительный голос моего друга: «Ну, ничего, еще увидишь своего Назыма. Ты ведь уезжаешь на лето, не на всю жизнь».

После долгой, довольно изнурительной экспедиции я прилетел из Хорога в Душанбе; поселился в гостинице, с наслаждением принял душ, позвонил душанбинским

друзьям, вновь ощутил себя цивилизованным человеком на цивилизованной земле; спустился в холл гостиницы, купил все газеты, от «Правды» до «Лесной промышленности». Ах, как славно пахнут свеженькие газеты! Устраиваюсь в кресле, поглядываю на приезжую публику, читаю...

Мелькают столбцы газет, фотографии, спортивные таблицы... Вот мелькнула внизу черная рамка некролога... Останавливаюсь. Взгляд утыкается в знакомое сочетание букв. Как? Почему в этом замкнутом черном пространстве? Черный квадратик затмил вдруг и ликующий солнечный день, и ощущение счастья, покоя, и эту большую, просторную комнату, и голубые горы за окном. И я ударился грудью о что-то металлическое, беспощадно окончательное... Машина огибает круг двора, красный глазок загорается, гаснет... Как же так?.. Куда же вы? Это ведь я, тот мальчик в красном галстуке, который читал вам стихи!

И голос в ответ, гортанный, чужой и очень знакомый, с нежностью, со спокойствием, с печалью:

Все ближе прощание,
для всех непременно,
прощай же, земля моя,
и здравствуй, вселенная!

Дело Красовского



Красовский и Мезис

Ночью прихожу в таксомоторный парк Риги.

Таксисты стоят стайкой, возбужденно переговариваются. Возбуждение их сумрачное, лица обострены в тусклом свете и кажутся ожесточенными: здесь явно что-то случилось, и недавно.

— Кто отвезет на взморье? — спрашиваю я.

На меня не обращают внимания.

В их разговоре то и дело возникает одна и та же фамилия: Красовский.

— Кто отвезет на взморье? — повторяю я.

— Один отвез, да не вернулся, — не оборачиваясь, говорит высокий худой парень в кожаной куртке.

После долгих уговоров меня везут. Едем молча мимо мачтовых сосен, мертво вытянувшихся в лунном свете; остро, ледяно тянет с моря.

— Что у вас там случилось в парке? — спрашиваю я. Таксист отвечает, не поворачиваясь:

— Человека убили. — И после долгой паузы: — Товарища моего Инара Карпова.

— Кто? — спрашиваю.

— Двое. Один недавно у нас работал.

— Поймали?

— Поймали быстро... Эти свое получают, только Инару-то какая радость...

Мы замолкаем и снова едем, теперь уже мимо домов с высветленной снегом черепицей.

— Слушайте,— неожиданно говорит таксист,— мне уже тридцать два, я всякое видел, но с такой подлостью еще не встречался. А между прочим, я и сам когда-то согрешил.— Посмотрев на мое удивленное лицо, он поясняет: — Ну, было разок, сидел по дурусти, по малолетству... Завелись с одним на танцульках. Он мне, я ему. Еще кое-кто вмешался... Три годика. Как один день. Дурачье я тогда был, жизни не понимал. До армии это было. Но и тогда я знал: нельзя убивать человека.

— Из-за чего они вашего товарища?

Он говорит, жестко усмехнувшись:

— Из-за этого самого... Хотели взять миллион, а у Инара было восемь рублей. На сдачу.

Затем он сбивчиво, волнуясь, рассказывает эту историю, которую я услышу потом от людей, так или иначе причастных к трагедии, услышу в подробностях, во множестве деталей, столь понятных криминалистам, столь чуждых человеческому существу, зимнему лесу, ветру, идущему с моря...

Инар Карпов и Красовский работали в одном таксопарке. Карпов когда-то вез Красовского с молодой женой из загса домой на свадебной машине, украшенной цветами. Красные тюльпаны на черной «Волге».

Кто-то из друзей заметил:

— Будто похоронная.

На него цыкнули:

— Скажешь тоже!

Красовский, только что ставший мужем, единственный из всей компании был трезв и важно сидел, чуть отстранившись от жены. Он вовсе не производил впечатления счастливого человека.

Мезиса, будущего его соучастника, еще не было... Он появится позднее. На свадьбе гулял его старший брат.

Красовский и Карпов не были ни друзьями, ни товарищами. Просто Красовскому в профкоме перед свадьбой сказали:

— Карпов тебя отвезет.

Знали, что он охотно соглашается участвовать в подобных мероприятиях.

Ему нравилось зрелище человеческого счастья.

На суде я видел жену Карпова. Она сидела с его матерью. Мать плакала, а жена казалась спокойной, почти отсутствующей, только в воспаленных сухих глазах застыло как бы навсегда страшное изумление. Она смотрела вперед, где в широком венецианском окне старого особняка виднелась верхушка тополя. Она ни разу не повернулась в сторону скамьи подсудимых...

Красовский и Мезис были там — за барьером. Красовский сидел сильно согнувшись, его не было видно, только волосы да лоб... Он сидел так часами, не меняя позы, как бы во сне или в ступоре. В перерывах молодая женщина-адвокат давала ему успокоительные таблетки.

Хотелось его разглядеть, но он не показывался, не поднимал головы... Бывает, в зоопарке хищник забьется в вольер, и его не видно, только лапа торчит или клок гривы. Ждешь, чтобы показался, а он сидит так часами... Здесь же человек сидел, не хищник, не зверюга, человек неглупый и сообразительный. Не лишенный даже обаяния, как говорили знавшие его.

Тем более оскорбительно это сравнение для опасного и безобидного зверя, отгороженного клеткой.

Дни суда были почти такими же тяжелыми для жены и матери Инара Карпова, как мгновения, когда они узнали о случившемся.

Снова и снова, как в замедленной съемке, воспроизводился момент, когда близкий им человек перестал существовать. Когда насильственной волей этих двух, сидящих за барьером, он был навсегда оторван от детей, от дома.

В зале сидел чудом уцелевший инкассатор — второй потерпевший по этому делу.

Маленькая старушка с широким крестьянским лицом, в колушке, колхозница из Моздока, мать Красовского... Муж ее, отец Николая Красовского, не вернулся с войны.

В перерывах она в одиночестве сидит в коридоре и все время что-то шепчет, будто молится. И нельзя

понять, о чем она. И слышится мне ее крик: «Как же это, Коля?»

Для судьбы и прокурора он подсудимый, для Мезиса он соучастник. Для всех остальных в этом зале он убийца.

Для нее — сын. И теперь он обречен.

Николаю Красовскому тридцать два года. Кончил среднюю школу в Моздоке. В восемнадцать лет украл мопед и радиоприемник, получил небольшой срок.

— Хотел себя ублажить, а вышло в убыток. Навсегда отбило охоту к чужому, — вспоминал он на следствии.

Служил в армии, выучился там на шофера, после службы ехать в Моздок не захотелось... Город детства казался далеким и тусклым. И он остался здесь, в Риге. Работал в разных местах, потом поступил в таксопарк.

Как он сам говорит, он многого ждал от жизни и многое мог. Но однажды он решил, что ничто не состоится и что он несчастный человек.

У него есть жена, ребенок, но он никогда не ощущал их как свою семью... Жене девятнадцать лет. Еще когда они просто встречались друг с другом, Красовский частенько избивал ее. Однажды она пригрозила, что пойдет в суд. Однако в суд она не пошла, а оба они пошли в загс. Расстояние от драки до поцелуев они проходили с легкостью. Единственно прочным в том браке было обоюдное недоверие.

Любил ли он ее? Трудно сказать. Бить из-за ревности (ревности ли?) еще не значит любить. Да и какая могла быть любовь в такой жизни: в ссорах, в будничных, кратких связях, в пустых вечерах.

Когда-то очень давно, еще до армии, любил он одну, да только вспоминать об этом неохота... Как говорится, осталась в сердце обида. Как поется в песне, что он услышал еще в первой своей тюремной побывке: «Не рви цветы — они завянут, не верь бабью — они обманут». При чем тут любовь?

Конечно, он слышал, что такая существует. По первой программе радиостанции «Юность». «Едешь, бывало, включаешь приемник, слушаешь: «Трали-вали, жил-был один мальчик и одна девочка. И все под музыку «Времена года» или что-нибудь в этом роде».

А тут пассажир требует, чтобы ты его вез за сорок копеек. И десять положит тебе на чай. И все дела. Значит,

ты вроде лакея. А чуть подал голос, твой номерок записывают. Нет, такая жизнь не для него. Он так и говорил: «Это не для белого человека».

А некоторые, с позволения сказать, коллеги получают удовольствие от такой жизни, от всего этого ежедневного цирка, от этой трехгрошовой оперы. И в выходные дни еще выезжают на эти самые автомобильные ралли. По его мнению, лучше сделать небольшой калым, отвезти хорошего клиента за рыбкой, к примеру, в рыбацкий поселок, самому взять немного рыбки и получить лишнюю красненькую. Да и то сказать, разве это деньги?

Он очень словоохотлив. Даже людям, которых вот-вот собирался уничтожить, он охотно рассказывал свою жизнь со всеми необязательными для постороннего человека подробностями.

Он знал, по его словам, пол-Риги, только друзей у него никогда не было.

Он любил рассказывать, не любил слушать. Только когда сам рассказываешь, тоже не очень-то слушают. Никому вроде бы и не интересно выслушивать другого человека. Вместо общения было другое — то, что обозначено словом «п о с и д е т ь».

У таксистов свободный день. Они с семьями или с друзьями. А он и в выходные дни пропадает где-то.

Дома его нет. Да у него и нет дома.

Последнее время чаще всего он проводил вечера у Мезисов. Там он и познакомился с младшим братом — Владимиром. Красовский этого парня слегка презирал и слегка завидовал ему.

Презирал за тупость, за то, что рот раскроет — и не поймешь, что и хочет сказать. Завидовал тому, что Мезис неженатый, необожженный, не брошенный никем и никого не бросивший, с железными нервами, с широкими плечами, с толстой шеей, с одной скромной судимостью за драку и рядом приводов.

И если уж Мезис бьет, то валит человека. И ничего не боится. И не заводится с пол-оборота, когда кто-нибудь не так что сказал. И может заснуть после бурно проведенного вечера и просыпается с легкой, бездумной головой.

Но особенно Красовский завидовал тому, что Мезис никогда не задумывается, куда катит жизнь.

И еще тому, что Мезису нет даже двадцати четырех

лет. Двадцать четыре года Мезису исполнилось в день начала суда.

Новый год они встречали вместе. В этот день на Красовского как бы нашло вдохновение. Он, что называется, «выступал». Как всегда, он был душой компании. И уже на рассвете отозвал Мезиса и сказал ему примерно следующее:

— Если ты так будешь жить, Мезис, то прокоптишь свою жизнь некрасиво и скучно. В жизни, Мезис, надо гореть и рисковать, гибнуть и возрождаться. Хватать большую копейку и не жалеть ее. Вот возьмем мы с тобой большой кусок, уедем далеко-далеко, где нас никто не видел. И начнем новую жизнь.

— Зачем? Мне и старая нравится, — возразил Мезис.

— Дурак ты, Мезис, без воображения. Слушай меня внимательно и запоминай. Разговор будет серьезный.

И он изложил Мезису план, над которым думал уже давно.

...План этот был довольно четкий, довольно хитроумный. С множеством точно обдуманых деталей, с использованием водительской профессии Красовского.

Суть плана заключалась в овладении машиной таксопарка, обслуживающей инкассаторов, а значит, в ликвидации водителя этой машины, замене его им, Красовским. Затем в ликвидации инкассаторов. В начальной части операции Мезис должен был скрываться в багажнике и выйти в решающий момент, чтобы напасть врасплох на инкассаторов. После этого машина с телами убитых должна была быть потоплена в Даугаве, для этого надо было изготовить специальные мостки.

Главное в первой части плана было выманить далеко за город таксиста, который должен был в этот день обслуживать инкассаторов.

...Вопросов у Мезиса было два.

Первый: чем их? У них же пистолеты?

Второй: сколько?

На первый вопрос Красовский ответил, что это пусть его не заботит. Все, что требуется для такого мероприятия, найдем. На второй он легко и без тени колебания ответил:

— Много. И — пополам.

Мезис смотрел чуть ошарашенно. Ругнулся, про-
бормотал:

— А не завалимся? — Потом махнул рукой и засме-
ялся. И Красовский опять позавидовал Мезису. Тому, как
тот легко и без удивления согласился.

Красовский придумал этот план, разработал его, но он
еще не был уверен, что решится. Весь этот разговор был,
как говорится, разминкой. Дело-то рисковое, жуткое. И он
до конца еще не знал, с т о и т л и?

А Мезис уже решил. Лишенный воображения, он был
лишен и страха. Теперь у Красовского был сообщник.

Приходили письма от матери. Только почерки были
разные: то аккуратный, полудетский, то еле разборчивый,
торопливый, — мать была неграмотной. За нее писали
другие.

*Возвращался бы ты на родину, сынок, — писала она. —
Здесь люди спокойные, и жизнь сейчас неплохая, а работу
ты найдешь. Душа моя сильно болит в непрестанной
разлуке.*

Он никогда не отвечал. О матери думал редко. Вспо-
минал ее чаще всего хмелея, чувствуя непонятный страх.

Когда он задумал это, то подумал о матери сначала с
легкой, как бы колющей болью, от которой хотелось
поскорее освободиться. А потом подумал по-другому: тре-
зво, деловито. У матери в Моздоке домишко. Ясно, что
мать его никогда не продаст. Зачем ей сюда переезжать?
Ему от этого домишки пользы как от козла молока. Но
домишко этот может пригодиться... Так сказать, для ле-
генды. Откуда у него те деньги, которые он возьмет?
А он надеялся на тысяч сто. Так вот, эти деньги, если его
спросят, — выручка от продажи домика. Кто проверять
станет? Дом продал, вот и все. А почему так много?
А это уж не ваше дело, товарищи дорогие. Больно дом
хороший, такие по дешевке не продаются.

А к кому он пойдет после этого? Нет, не к
собутыльникам.

Он пойдет к знакомым женщинам...

Женщины — они и есть наши лучшие друзья в труд-
ную минуту.

А что будет делать Мезис, его напарник? Придется и о нем подумать. Придется и ему найти местечко, где передохнуть.

И еще одна деталь его заботила. Когда он будет везти инкассаторов и наступит момент кончать с ними, ему придется выйти из машины и открыть багажник, чтобы выпустить Мезиса. Значит, надо выходить все время, чтобы не навести на ненужные мысли. «Все в порядке, шеф, только надо посмотреть заднее колесо...» И болтать, болтать без умолку, чтобы они сидели тихонечко и слушали.

...«Орудия убийства: тяжелый металлический стержень и вилы (рог от вил, укороченный, остро заточенный, перевязан изоляционной лентой)». (Из протокола.)

Деньги

На рассвете того утра Красовский пришел в меховой шапке, надвинутой на глаза, в темных очках, необычно молчаливый и злой. Надо было договориться с таксистом, имеющим направление в диспетчерскую банка и заступающим во вторую смену. Предварительный разговор с ним уже был. Теперь надо было довести дело до конца. Красовский послал Мезиса. Сам он не хотел появляться в парке.

Мезис пошел договариваться. Красовский с портфелем и хозяйственной сумкой, в которой лежали предметы, ждал неподалеку от таксопарка.

Мезис вернулся ни с чем. Красовский так и знал. Мезис недотепа. Он уломать никого не сможет. Таксист, с которым была предварительная договоренность, по непонятным причинам отказался. (Какая интуиция подсказала ему? Или просто случайность?)

Как быть? Ведь уже настроились. Красовский знал, что если не сделают сегодня, то, возможно, не сделают никогда. Тем более что девятое у него счастливое число. И тогда он подумал о Карпове. Карпов тоже с пяти часов вечера должен был возить инкассаторов. Красовский не хотел, чтобы это произошло с Карповым, но теперь уже выбора не было.

— С вами хочет поговорить один человек. Ваш хоро-

ший знакомый. Он тут, рядышком,— сказал Мезис Карпову.

Мезис и Карпов пошли навстречу Красовскому. Карпов вначале не соглашался. Тогда Красовский напомнил:

— Что же ты мне-то отказываешь? Мы ж с тобой как крестники. Ты ж у меня на свадьбе работал. Быстро ты, друг, хорошее забываешь. Поедем, рыбки возьмем, детям привезешь. Заработаешь немного, тебе не повредит, и нам тоже.

И Карпов подумал, что, может быть, неплохо привезти ребятам бельдюги, а если повезет, то и угорька.

Ребят было двое — одному шесть лет, другому три. Согласился.

Только ехать туда ему не хотелось. Но отказаться не мог. Парень свой, из таксопарка. И действительно, в загс его возил. Еще заметил, что девчонка у него молодая. Еле-еле восемнадцать дашь.

Карпов считался в парке безотказным.

Первый таксист, который не поехал, сидел в суде. В один момент ему стало чуть ли не дурно. Ему даже дали нашатырь. Он представил себе, что это он их везет. Что это он — Карпов.

Посехали. В ногах у Красовского стояла большая хозяйственная сумка. Мезис держал здоровенный портфель. Карпову до того не было дела. Мало ли что люди везут. Карпов вообще о плохом никогда не думал. Он с плохим редко встречался.

Ехали спокойно, с разговорами, мимо безлюдных поселков с заколоченными окнами... Летние дачки, озябшие, забытые. Только иногда теплый реденький дымок стелется над крышей, уходит в тусклое небо.

Места эти Карпову были знакомы. Сюда он приезжал летом к рыбакам. Здесь он купался, и ему даже больше нравилась эта сторона, чем цивилизованная курортная Юрмала. И он мечтал о том, чтобы скорее пришло лето, и, может быть, он отвезет сюда своих сыновей, жену, снимет здесь недорого комнату и в свободные от смен дни будет сюда приезжать, и все вместе они будут купаться в холодной, бодрящей воде. Купаться каждый день, с середины июня, а может, с праздника Лиго и до конца августа...

Он не понял: что это?! Неужели напоролся? Откуда этот нечеловеческий хруст...

Да ведь это его голова хрустнула.

Но он еще живой, он видит дорогу. Боже, что же это?

Второй удар, острый, как укол, уже в плечо.

Ах, вот что... Да за что же?..

Он почувствовал, что задний поднялся и как бы навис над ним, а второй что-то кричит, только голоса он не слышит.

(По признанию Мезиса, Красовский кричал: «Кончай его быстрее, не дай выскочить!»)

Рог отвил, который держал Мезис, все шел куда-то мимо, протыкал обивку. Трудно было замахнуться как следует. И они стали душить Карпова. Карпов, хрипя, вырывался, царапал их, кусал им руки.

Ему все же удалось вывалиться из машины в снег, на землю.

Они поочередно, один за другим, всей тяжестью, ногами прыгнули на него, лежащего.

(По признанию Красовского, Карпов кричал: «Только не убивайте, ребята. Я же вам ничего не сделал!»)

Стало на секунду тихо... Но вот что-то жгуче-глубоко вонзилось ему в спину.

Тогда он стал зарываться в снег, хватать снег ртом, и в какой-то момент ему стало не больно, только очень холодно. И показалось, что все это бред, сон, просто на секунду отключился и задремал за баранкой, но вовремя спохватился, и огромный бетонный столб, что надвигался на него, прогремев, остался в стороне...

В пиджаке Карпова было восемь рублей — рублями, на сдачу. Взяли.

Теперь им надо было спешить. По графику Карпову полагалось вскоре заступать.

Возвращались молча. Вдруг Красовскому послышалось, что Карпов стонет. Они открыли багажник, и Мезис еще несколько раз воткнул вилы в тело Карпова.

На самом деле Карпов был уже мертв. Просто воздух выходил из легких, и это походило на долгий и жалобный стон.

У ближайшей аптеки они остановились. Красовский

купил вату и бинт. Он перевязал руку и бросил в рот таблетку валидола.

— Дай и мне, — попросил Мезис.

Он не знал, что это такое, и у него ничего не болело. Просто он любил подражать Красовскому. Лекарство было кисло-сладкое и понравилось Мезису.

Потом они купили пол-литра водки.

Мезис выпил, а Красовский протер себе руки и лицо. Ему все время было холодно. Поехали дальше.

Затем они бросили тело в траншею, накрыли сучьями, забросали снегом и отправились в город.

Там, на бульваре Кронвальда, они остановились у киоска и купили по плитке шоколада.

На следствии Красовский сказал:

— Если бы мне оставили жизнь, я бы уехал в глушь, работал конюхом, писал книжки.

Они очистили багажник, замыли кровь. На пустыре Красовский остановил машину, Мезис лег в багажник.

На нем была нейлоновая зимняя куртка, и он по указанию Красовского снял ее, чтобы не шуршала.

Он лежал теперь там, где еще двадцать минут назад было тело Карпова.

Начиналось самое главное для них.

Красовский сломал кнопочное устройство задней двери, чтобы инкассаторы не могли ее запереть.

Затем, предъявив путевой лист Карпова, он проехал на территорию банка (вопреки правилам, запрещающим въезд машин. Теперь эти правила и проверка шоферов, обслуживающих инкассаторов, стали гораздо строже). Расписался за Карпова в документе, к нему сели два человека, два инкассатора. Он возил их от пункта к пункту, рассказывал им различные истории, анекдоты, выходил на всех остановках, проверяя заднее колесо.

На улице Лубанас, сравнительно пустой в этот час, последнем пункте инкассации перед банком, в тот момент, когда один из инкассаторов скрывается за дверьми, Красовский выходит и открывает багажник. Пора!

Тут и происходит нечто поразительное, не учтенное ни Красовским, ни Мезисом.

Вместо того чтобы мгновенно выскочить, открыть заднюю дверцу, проникнуть в машину, Мезис медленно, теряя темп, скрючившись, крадется к задней дверце.

Красовский безразлично глядит вперед. Не оборачиваясь, стараясь даже не скосить глаз в сторону Мезиса.

«Чего тянешь, кретин?» — мысленно кричит он.

Вот Мезис уже у дверцы. Он не рвет ее на себя стремительно, а как бы скребется около дверей, и пальцы его скользят по ручке, не в силах нажать на нее.

Инкассатор с удивлением оглядывается на тихого, скрюченного человека, по виду инвалида, пытающегося сесть в такси. Жалко инвалида, но сажать нельзя.

Инкассатор отвернулся и потер озябшие руки. Вот тут Мезис и обрел дар движения. Он отскочил от машины. Ему почудилось, что инкассатор потянулся за пистолетом. А в этот момент выходил уже второй инкассатор.

«Все накрылось, все, все», — думал Красовский, машинально давая газ, не глядя ни на первого инкассатора, сидевшего рядом, ни на второго, занявшего место сзади, ни на скрюченного Мезиса, оставшегося позади, отплывавшего все дальше и дальше.

«Все, все зря! Конец!» — с отчаянием думал Красовский и силился понять, что же с Мезисом, почему он так полз и скребся.

И уже в диспетчерской банка, подписывая путевой лист за Карпова, почти шепотом отвечая на какие-то вопросы, еле ворочая свинцовым языком, он вдруг понял причину провала: Мезис замерз в багажнике.

Сволочь, идиот этот Мезис! Все загубил!

По наряду Карпов должен был везти еще двух инкассаторов.

Красовскому не хотелось ни ехать, ни вообще двигаться.

Глядя больными глазами на диспетчера, он просил, чтобы его сняли с маршрута.

Ему отказали. Сели инкассаторы, один — рядом, совсем молоденький, Чернышев, студент-заочник Ленинградского политехнического института, другой, Бейнарович, — сзади.

Теперь ему даже хотелось разбиться, разбить себя и их вместе с их проклятыми деньгами. Сейчас он всех ненавидел.

Себя даже больше, чем других, — за глупость. Все продумал, а этого не предусмотрел. Ведь сейчас зима, и было ясно, что Мезис замерзнет в багажнике.

Он даже и не думал, как уходить, как замкнуть след. Вроде бы теперь и уходить не было смысла... Был смысл уходить с деньгами. А так что?

Он как бы забыл о Мезисе. Какая разница, где этот дурак? Зря только понадеялся на него.

Его начало тут поташнивать от страха. Он не слышал, о чем они разговаривают, только время от времени перед его глазами мелькал большой, защитного цвета мешок, который то выносил, то вносил один из инкассаторов.

Остановились у кафе забрать дневную выручку. Здесь Красовский неоднократно бывал. Завешенные красной драпировкой окна рубиново светились. Слышались гулкие, как бы толчками, удары: ударник вел партию. Это работал меломан.

— А у меня здесь девочка есть, официантка, — зачем-то сказал Красовский Чернышеву.

— Хорошо вам, — то ли безучастно, то ли с оттенком иронии сказал Чернышев.

Он сидел задумавшись и тоже глядел на эти красные, как угольки, окна.

Через минуту должен был выйти второй инкассатор.

Красовский выхватил лом, ударил Чернышева по голове. Чернышев соскользнул вниз.

Красовский взял мешок, открыл дверцу.

Потом, на следствии, он будет говорить, что действовал в состоянии аффекта, что не собирался нападать на Чернышева, поскольку на девяносто процентов это было обречено на гибель: ведь в любую секунду мог выйти второй. По его словам, в тот момент ему было все равно.

Бежал мимо трамвайных путей, мимо стоянки такси, мимо редких прохожих. Стало жарко, сбросил пальто. Бежал как в тумане, но вместе с тем неуклонно придерживаясь определенного маршрута. Теперь то, что он задумал, исполнилось, и ему было легко. Только мешок был очень тяжелый. Никогда он не предполагал, что деньги могут столько весить.

Килограммов сорок они весили.

Во время следствия, особенно в первые его дни, Красовский все время позировал. Его снимали для документального фильма. И он стоял перед камерой почти с

удовольствием. Он острил, что эта камера ему нравится больше, чем т а.

Одному из кинематографистов он сунул свою карточку с надписью: «От гангстера Красовского».

Потом он сломался.

Уже не хотелось ни удивлять, ни кривляться, ни разглагольствовать, ни притворяться отчаявшимся неудачником, ни разыгрывать хладнокровного гангстера.

Хотелось жить.

Когда впервые прозвучали эти слова: «К высшей мере наказания» — их произнес прокурор в заключение своей речи, — Красовский простонал, и охрана это отчетливо слышала.

— За что же это... мамочка?

Мать его сидела в зале. В тот момент, когда она услышала слова прокурора, она не упала в обморок и не закричала...

Она встала. Казалось, еще мгновение — и она прорвется сквозь ряды, сквозь охрану, сломает высокий барьер, отгородивший его от других людей, пробьется к своему сыну, возьмет его на руки и унесет.

Только сквозь охрану не прорвешься.

Ей объяснили, что это еще не приговор...

Мать и сестра Мезиса показывают, что в тот день он пришел домой сравнительно рано, без куртки, в испачканном и мятом костюме. Он смотрел телевизор, много ел и, что особенно странно, никуда не пошел вечером.

По телевизору он любил смотреть многосерийные детективы и хоккей. В такие дни он и сидел дома. А в этот вечер он смотрел что попало.

— Что ж, я буду ходить за ним с дубинкой? — говорит мать. — Ходила до восемнадцати лет, а теперь взрослый, пусть делает что хочет.

Он попросил мать выстирать брюки. На брюках были бурые пятна. Кровь легко отстирывалась.

Когда она гладила, подумала: «Верно, опять набедокурил. Новую курточку где-то посеял». Но спрашивать не стала. Все равно правды не скажет. Небось бил кого-нибудь... А что, действительно с дубинкой за ним бегать?

Лишь бы не попался опять, как несколько лет назад. Тогда получил по-дурному свой первый срок — за драку. Другие бог знает что выкамаривают и не попадают, а этот дурачок вечно...

Бейнарович вышел из кафе, увидел лежащего в машине Чернышева и, держа одну руку на пистолете, прижимая мешок с деньгами, побежал звонить в «Скорую» и в милицию.

Сначала искали Карпова. Ведь это его фамилия была на диспетчерском листе. Пришли к нему домой. Дети уже спали. Жена не спала. Гладила свежевывстиранное белье. Сонная, полутемная комната пахла детьми.

— Что с ним? — встрепонулась жена, когда увидела работников милиции.

Ее попросили поехать с ними для выяснения некоторых обстоятельств.

— Он не мог этого, — повторяла она. — Жизнью своей клянусь, это не он... Боже, что же с ним?

Дома не оказалось его фотографии. Его фотографию нашли в парке. Она была на доске лучших.

Таксисты, которые знали его, говорили:

— Не он это, не Инар. Он не то что ударить — он обидеть-то не может.

Вскоре стало ясно, что убивал не Карпов.

Это показал Бейнарович, а чуть позже — получивший тяжелую травму Чернышев.

Но Карпов мог быть сообщником.

...Красовский с тяжелым мешком метался по пустырям и подворотням. Он знал, что приютить его в этом городе могут две женщины. Одной он не мог соврать про дом, который продал в Моздоке, но к другой он волей-неволей должен был явиться с инкассационным мешком, набитым денежными пачками.

Их не засунешь в карманы.

В меховой шапке, без пальто, с большим мешком на плече — таким он предстал перед Якушевой (фамилия изменена), которая жила в Румбуле, недалеко от аэропорта.

— Что случилось? — испуганно спросила она.

— Я ограбил банк, — сказал он, и было непонятно,

шутит он или говорит всерьез. — На улице холодно. По-
ставь-ка чайку.

Якушева говорила потом, что хотела немедленно со-
общить куда следует, но боялась, что у него оружие. Ведь
ее пятилетний сын спал в соседней комнате.

Может, и так... А скорее всего, она просто не могла
донести на человека, который ей нравился.

— Ты людей не трогал? — тихо спросила она.

— Я гангстер, но не убийца, — сказал Красовский. —
Меня мутит от одного вида крови.

Она говорит, что поверила ему. Ее ли это дело — рас-
путывать? «Пусть разбираются те, кому положено», — ду-
мала она в тот момент, не понимая, что становится со-
участницей.

Он достал тяжеленькую, тугую пачку из мешка, за-
чем-то раскидал ее, затем сжал в мятый, неряшливый ком
и протянул ей:

— Возьми коньяку и пожрать... Устал я зверски.
Денег не жалею.

Магазины были давно закрыты. Пришлось брать в ре-
сторане.

Пришла, принесла коньяк, вернула ему восемьдесят
рублей.

— Оставь себе, пацану что-нибудь купишь, — сказал
Красовский.

Поколебалась секунду, но взяла.

Всю ночь они считали деньги и перекладывали их из
мешка в хозяйственную сумку.

«С такими деньгами, гражданин начальник, я и сам
начальник», — сказал он одному из работников милиции,
когда его взяли.

С та к и м и д е н ь г а м и !

Вот они у него — в хозяйственной сумке... Какие
ворота они могли ему открыть?

Он мог купить билет в любой город страны, мог уехать
хоть на Дальний Восток, хоть в Среднюю Азию, но, где
бы он ни был, он должен был таиться, дрожать, прятаться
и прятать свои деньги. Он должен был все время ж д а т ь .

Деньги не были богатством, они были уликой.
И получилось так, что он, Красовский, с его мелким «ле-

ваком», был все же богаче сегодняшнего Красовского. Потому, что первый был обычным калымщиком, второй — убийцей.

А денег было много, так много, что казалось — это вовсе не деньги, из-за которых он затеял все, а просто раскрашенные бумажки, наподобие почтовых открыток. Глаза слепли от этих красных бумажек. Пожалуй, тут хватило бы на целую жизнь. Но он вдруг подумал с холодком: «А что с ними делать? Ведь даже машину не купишь... Надо доставать новый паспорт, а значит, надо снова... Правда, телик можно купить цветной, хорошо бы хоккеей смотреть по цветному, но где его поставить, этот телик? Дома нет и не будет, ведь для того, чтобы купить дом, нужна прописка...»

Все это, наверно, можно было бы устроить, но он чувствовал: сил у него не хватит, с него достаточно того, что б ы л о.

Ему вдруг вспомнилось, как в деревне залез в колхозный сад за вишней. Вишен было много, но он ел торопливо, давясь, без удовольствия... Сладости не чувствовал, только кислота была во рту.

Боялся.

Денег было 86 тысяч 47 рублей.

Слово последнее

Он опьянел от тепла, от коньяка, от близости женщины, и страх, который то возникал, то исчезал, сейчас отпустил его.

Ему хотелось разговаривать. Он беспричинно смеялся, острил и, по его словам, был очень возбужден.

— Ты предоставишь мне политическое убежище на своей хате? — сказал он Якушевой.

— Нет, — твердо ответила она. — Утром уходи, Коля, меня не впутывай.

В шесть часов утра она встала, накормила сына, оставила завтрак Красовскому и вместе с ребенком ушла. Ей надо было отвезти в садик мальчика и успеть на работу. Она в столовой была старшей официанткой.

Красовский спал. Когда проснулся, первое, что подумал: «Было вчерашнее или привиделось?»

Сумка с деньгами стояла около диванчика. Было. Сквозь тоненькую необшитую дверь слышались утренние разговоры людей, спешивших на работу, крики детей, опаздывающих в школу.

Он испытал мгновенный прежний жуткий страх, подобный желудочной колике... Не мог встать с кровати.

Через минуту прошло. Выпил коньяку, умылся.

В комнате было прибрано, в углу сиротливо стояли детские тапочки и корабль. На лакированной блестящей полке трельяжика блестела помада в золоченой капсулке, пудра, лосьон и еще что-то с непонятным, как бы японским названием — дезодоро.

— Дезодоро, — повторил Красовский, вырвал из школьной тетрадки листок и на клочке написал Якушевой записку всего лишь из одного слова: «Спасибо».

Затем он достал из сумки пачку денег и положил рядом с запиской. Там было восемьсот рублей.

— Я умею благодарить людей, которые протянули мне руку в трудную минуту, — говорил он на следствии.

В последний момент, поколебавшись, он забрал назад три бумажки по пятьдесят рублей.

Благодарить надо, но не настолько.

Теперь он шел к другой своей подруге, к другой «знакомой», как он назвал ее на следствии.

С той женщиной отношения были более длительные и сложные. Иногда Красовскому казалось, что он женится на Ирине.

Ее он не застал дома, но его впустил сосед.

Красовский поставил около себя сумку и, сидя на диванчике, заснул.

Необычайная сонливость владела им и все последующие дни — в те минуты и часы, когда он оставался один.

В присутствии Ирины он, наоборот, много и возбужденно разговаривал, хохотал, беспрестанно ходил по комнате, строил планы на будущее.

Оперативная группа работала в городе и пригородах. В багажнике в сгустках крови нашли мужскую нейлоновую стеганку. В кармане ее был паспорт на имя Владимира Мезиса.

Женщина пришла, обрадовалась ему, попыталась убрать сумку, стоявшую посреди комнаты, перед диваном. Сумка была тяжелая.

— Что там? — спросила она.

— Да так, всякая мелочишка, — сказал он и подбросил денежную пачку.

Хотелось небрежно играть, темнить, ошарашивать женщину, но следовало держаться в рамках.

— Да не бойся, что лицо вытянула? Был у меня дом под Моздоком. Теперь нет дома. Теперь вот мой дом, — он обвел рукой полупустую комнату.

— Телевизор купим? — с придыханием спросила она.

— Купим, — засмеялся он. — Машину купим. Покатаемся. Что хочешь, то и купим. А сейчас сходила бы в продмаг...

Пошла в магазин.

Он мылся в ванной. На руке был глубокий след от укуса. С тревогой подумал об убитом... Затем успокоил себя: «А, черт с ним, одним дураком меньше».

Ирина пришла, купив все необходимое.

Красовский все время смеялся и читал свои любимые стихи:

Жизнь идет да бежит,
Быстро катится,
Кто не пил, не любил,
Потом хватится.

Зашел знакомый Ирины. У него была странная фамилия — Слока. Есть такой город — Слока.

«Уехать, что ли, в Слоку? — думал Красовский. — Нет, близко. Может, в Орджоникидзе? Куда бы уехать? Все надо сменить: и город, и паспорт, и фамилию. Бежать надо. Вот пойду сейчас и сяду на самолет». (На самолет он сесть не мог, так как уничтожил свой паспорт.)

И на вокзал он тоже не пошел. Думал, еще успеется.

Ночью прятали часть денег на антресолях и на чердаке. Одна пачка завалилась, рухнула в пыльный, залепленный паутиной проем. Ирина потом нашла ее, припрятала... Пригодится в хозяйстве. (Эти старания будут стоить ей дополнительного срока.)

Ну и жизнь пошла! Николай, так любивший погулять на дармовщинку, как говорится, не жалел затрат. Ирине

он подарил три тысячи — на телевизор и другие культурно-хозяйственные нужды.

Весь следующий день до позднего вечера он был у Ирины. О Мезисе он не думал. Будто и не было такого Мезиса.

Один раз только подумал: «А что, если его уже взяли?»

Как хорошо, что он скрыл от Мезиса свои явки! Хоть это-то было продумано точно. Да и почему его должны так быстро взять, ходит небось, сшибает у соседей, у сестры по рублику.

«Тупица ты, Мезис. Кто пан, а кто пропал. Победителей не судят».

— Ты что во сне бормочешь? — спросила его женщина.

— Думаю, — сказал Красовский.

— О чем?

— А тебя что, наняли? — резко сказал Красовский.

Она не поняла и обиделась, отвернулась к стене. Так хорошо погуляли, а теперь хамит.

Когда к Мезису пришли, он сидел на кухне и сл. Попросил только, чтобы дали дообедать.

— У нас пообедаете, — сказали ему.

Он тупо и спокойно пошел. Все, что он делал, было тупо и спокойно.

«Авось не расстреляют, — думал он. — Если уж кого расстреливать, так Николая. Николай ведь это задумал. А я только так, на подхвате... Вроде как бы исполнитель».

Он слышал где-то, что исполнителей прощают.

Рассказал все на первом же допросе.

На следующий день по телевизору уже показывали портрет скрывшегося преступника.

Этот портрет видел Слока. Преступник сильно смахивал на парня, которого он застал у Ирины... Этот парень пил не просыхая, без конца разглагольствовал и вообще показался Слоке нахальным и психоватым. Слока попросил Ирину выйти из квартиры и на улице рассказал про передачу, которую только что видел по телевизору.

Ирина оскорбилась:

— Мало ли что показывают! Вот, например, «Следствие ведут знатоки»...

— Ошибаешься, — сказал Слока. — То постановка, а это — предупреждение гражданам. И я лично даже очень тебя предупреждаю.

Она вспомнила о сумке и, побледнев, побежала в комнату, где сидел Николай:

— Коля... Тут одного по телевизору показывали... Ты не натворил чего?

Красовский внимательно посмотрел на нее и проворчал:

— Чего мелешь?

Вскоре он ушел, взяв сумку с оставшимися деньгами.

Всю ночь по городу мчались оперативные машины. По городу ездили и такси с погашенными зелеными огоньками. Рядом с таксистами, знавшими Красовского, сидели оперативники.

Работники таксопарка были потрясены случившимся. На похороны Карнова пришли сотни людей. Говорили о том, какой он был производственник, исполнительный и работающий. Часто слышалось: «Он был хороший человек». Был.

Двое его детей сидели дома с соседкой.

Обычно, когда отец возвращался со смены, когда отсыпался, он играл с ними в настольный хоккей.

В комнате было темно, окна зашторены, а зеркало занавешено темной материей.

Настольный хоккей спрятали. Взрослые неизвестно отчего обращались с ними как с больными. На самом деле они были вполне здоровы... Только им было почему-то страшно.

Красовский сел в электричку, поехал в Огре. На коленях он держал сумку с деньгами.

В вагоне электрички ему показалось, что его хотят обокрасть. Какой-то подозрительный малый все время маячил рядом.

«С людьми надо ухо остро держать, если у тебя деньги в кармане», — подумал Красовский.

В Огре переночевал в спортивной школе. Дверь открыл легко, гвоздиком (спортшкола была ему знакома, он здесь уже ночевал когда-то). Спал на матах в гулком просторном зале с зарешеченными окнами... Проснулся, когда стало светать. Снаряды чернели, чуть пугая сходством с притаившимися в засаде людьми. Быстро взял свою сумку, вышел и на первой же попутке доехал туда, где город кончался и начинались поселки, там расплатился с водителем, сделал крюк, чтобы обойти пост ГАИ. Затем добрался до маленького заброшенного хуторка и там, на чердаке старого заколоченного дома, спрятал сумку. Часть денег взял с собой.

Поехал назад, в Ригу. Первым делом пошел в универмаг. Там купил костюм, серебристый, блестящий, югославский, о котором давно мечтал. Купил золотые запонки, золотые часы, браслет, ботинки, рубашку. Теперь у него все было новое. Хотя деньги легко и быстро уходили, их оставалось еще очень много. Покупал он не так, как раньше, с сомнениями, с боязнью потратить лишнюю десятку. Покупал он легко и как бы даже весело. А на продавщиц смотрел важно и чуть снисходительно.

Впрочем, одна продавщица ему сильно не понравилась: глядела подозрительно, будто он был фарцовщик или еще кто. Такая рыженькая, косоглазая, вроде бы татарочка. Только плевать он на нее хотел.

Он посмотрел на себя в зеркало и улыбнулся: силен мужик! Такого костюма у него еще не было. Только брюки сидели, пожалуй, мешковато. Это его раздражало. В человеке все должно быть прекрасно...

Пошел в мастерскую под названием «Силуэт». Достал червонец.

— Срочно. Я в командировке... Времени нет.

Командировка ему нравилась.

Он пошел на вокзал посмотреть, куда и когда ходят поезда, обдумать варианты, а может, взять заранее билет.

Надо было уезжать. Куда? В Орджоникидзе? Там знакомые есть. Пожалуй, там не найдут.

И еще он подумал о том, что слишком долго чикался у Ирины. В жизни все надо делать быстро. Все, как говорится, в свое время. Опоздаешь — кранты.

...На вокзальной площади у щита стояли люди. Красовский хотел обойти, но что-то его кольнуло.

«А вдруг про меня?» — подумал он. Даже не подумал, а будто бы тень мысли проскользнула, неприятно обдав холодком. Будто какой-то маленький счетчик сидел в затылке и громко щелкал. И хотелось бежать, но бежать было нельзя, потому что все вокруг — буквально все, — вроде как бы прищурившись, смотрели на него. Все смотрели, будто он был им нужен.

И не нужен вовсе, а просто ловят...

«Это ж настоящая ловля», — изумился он. Он только в книжках читал, что вот так сразу...

Но пока никто на него не смотрел, а все смотрели на лист под стеклом на стенде.

На листе темнела фотография человека.

Фотографии он не видел и фамилии тоже... Прочитал, а вернее, угадал только одно слово: «разыскивается».

И тут словно бы взорвалось в голове: «Это ведь я на портрете, я, Коля!..»

Ему хотелось принять таблетку, чтобы сразу заснуть.

Горячее-горячее, будто пар в финской бане, сухо обожгло его от головы до желудка, от желудка до омертвевших ног — страх.

И пошел быстренько-быстренько, мелко, в новом блестящем костюмчике с расклешенными брюками, которые полоскались по мокрому снегу, посыпанному песком. Он шел, и шла толпа. Люди спешили куда-то и словно бы делали вид, что им нет дела до него, но он знал: есть. Все они смотрят и следят, куда он сейчас пойдет.

И какая-то машина тихонечко ехала около тротуара, и ребята в синих полупальто шли и переговаривались, не глядя на него.

Но он словно бы уже видел их где-то. Когда-то они уже шли точно так же за ним.

И он подумал: «Так не обойдется, теперь я пропаду. Теперь уж совсем. Еще минута, а может быть, пять. А если самому и сразу? Да, это я. Я — Красовский».

Может, так... Или бегать, и ждать, и смотреть искоса на прохожих, и наткаться все время на рослых парней в синих драповых полупальто, равнодушно и как бы рассеянно глядевших мимо него...

Мелким суетливым шагом он бежал, оскальзываясь,

как на катке, по людной улице, мимо здания МВД и все не мог решить: пойти самому или прыгнуть в первый же троллейбус, забиться в угол, выскочить на остановке, нырнуть в каменную подворотню старого города, где пусто, тихо, никто не знает, не ищет, не хочет знать?

— Красовский, Красовский, не спешите. Не торопитесь, Красовский. Пожалуйста, остановитесь. Так, и руки... Руки!

«Если бы мне оставили жизнь, я бы уехал в глушь, работал бы конюхом, писал книжки».

Когда лаборантка брала у него кровь на анализ для медэкспертизы, он сказал:

— Я всегда боюсь вида собственной крови.

— А Карпова ты когда кончал, когда добивал его, сколько ее вытекло, крови человеческой? — крикнула лаборантка.

Нет, не крикнула. Только хотела. Только про себя. На работе не полагается...

...Следователю, начавшему его допрашивать, он сказал:

— Дайте коньяку, тогда все расскажу. — И, приподняв затухшие глаза, сказал, улыбаясь и с наигрышем: — Это не разговор — всухую.

Все деньги взяли.

Взяли и те три тысячи, что оставил Ирине на телевизор. И ту бесхозную пачечку, которую припрятала на черный день.

Все.

Телевизора не будет.

Ее допрашивали. Она то плакала, то ругалась:

— Какой подлец... подлец! — Потом: — Он ведь щедрый, добрый... Может, не он убивал?

Мезис снова прошел прежний маршрут, уже не с Красовским, а с работниками милиции. В лесу, куда его привезли, было необычно тихо, солнечно... Ворон прынул

на сосну, качнув ветви... Виднелся свежий сквозной заячий след, крутой, виражами... Медленно шли по только что выпавшему, золотистому, легкому снегу.

Никто никого никогда здесь не убивал.

Только что это за бурые, безобразные, полузасыпанные снегом клочки рваной материи?

Место это утратило свое старое название. Теперь оно называлось местом преступления.

— Вроде бы здесь дело было, — пояснял Мезис. — Красовский начал... потом уж я пристунил. Красовский мне кричал... Сейчас, сейчас припомним, о чем был разговор...

Он припоминал, неторопливо рассказывал, давал подробные пояснения.

А сам думал про курточку: «Как же это я курточку забыл? Да еще с паспортом. Вот дурак... Хорошая такая курточка... Вообще зря связался».

На суде мне удалось поговорить с разными людьми: с инкассатором Чернышевым, с матерью Красовского, с сестрой и матерью Мезиса.

Сестра Мезиса говорила, что все это дурость с его стороны, своего рода баловство. Будь у него квартира, а не коммуналка, никаких неприятностей бы не было, он бы дома сидел, а не шлялся.

Мать его сказала, что он не виноват, виноват Красовский.

Мать Красовского молчала, ее трясло.

Я дал ей таблетки седуксена. Она не могла их проглотить. Дубленое, загорелое крестьянское лицо было высохшим и черным, как на иконе.

Единственную фразу она сказала, когда мимо нее прошла мать убитого; не отводя глаз, сухо, напряженно глядя на ту женщину, она проговорила:

— Уж лучше б на ее месте.

Чернышев сказал:

— Я не испытываю к Красовскому личной ненависти. Оттого, что его и Мезиса не будет на свете, мне не станет легче. Просто зло должно знать, что существует возмездие. Откуда такая подлость, такая нелюдская жестокость? И никогда не подумаешь: человек как человек, сидел,

что-то мне рассказывал, а потом взял — ломом. До сих пор не верю, что это со мной было.

Они преодолели последний барьер не тогда, когда нанесли первый удар Карпову, а когда ножовкой затачивали вилы, когда пробовали ломик на вес.

«Мезис был никчемный человек, поэтому я к нему и обратился. Для Родины он ничего полезного не дал и не даст. Это я работал с пятнадцати лет» — так Красовский говорил на следствии.

«Мне нравился Красовский. Я знал, что он зря болтать не будет. Что-что, а мозги у него есть» — так Мезис оценил Красовского.

Можно понять кого угодно.

Трудно понять убийцу, не хочется его понимать.

Невозможно постигнуть систему его действий, то иезуитски продуманных, то нелепых. Трудно понять систему его взглядов, его отношение к людям, его ощущения.

Где та грань, которая отделяет этого человека, такого же, как и все, от всех?

Когда вызрела в нем готовность к уничтожению живого существа?

Вот он сидит за барьером. Потерянный, одутловатый, бледный. Одиноким самым страшным одиночеством — одиночеством отвержения.

Во время суда говорили о том, что коллектив должен был поинтересоваться, почему Красовский не работает с декабря, а числится в списках водителей колонны. Где он? Что с ним?

Мог бы поинтересоваться. Должен был.

Только эта часть профилактики преступления.

А сама эта профилактика начинается далеко-далеко, у истоков всякой человеческой жизни, там, где живое радуется живому, ребенок — собаке, птице, бабочке, человеку.

У истоков нашего сознания закладываются и первичные нравственные начала. Вся последующая жизнь должна формировать и укреплять их.

Ребенок, как никто другой, одновременно агрессивен и добр. В один и тот же час он может оторвать крыло у бабочки и подобрать заблудившегося котенка. В еще темном маленьком мирке прорастают нежность, любовь, жестокость.

Какие нужны корма, чтобы вырастить первое, чтобы остановить последнее?

Проявления человечности и добра оба они считали ерундой, притворством. Все это «ля-ля», как это было принято говорить в их кругу.

Они верили, что можно сделать все втихаря. Втихаря повернуть «левую работку», взять чужое, оттолкнуть более слабого.

Думали, что можно втихаря убить.

Им казалось, что преступление, которого никто не видел, — это не преступление вовсе. На людях ты будешь таким же, как и все. А то, что ты делал в тот момент, когда никто не видел тебя, — это уж другое дело. Неважно, что ты делал наедине с собой, и со своей жертвой, и с чем-то еще позабытым, что называется совестью. Нечего стесняться.

Один из главных нравственных уроков этого дела — реакция людей на преступление, поразительный эффект общественной гласности. То, как вместе, в едином порыве, помогая милиции, искали убийц, то, как шли на похороны Карпова, то, как сидели на суде, как слушали, заставляло о многом задуматься.

Не только гнев был там и желание покарать. И не только жалость к жертве, к потерпевшим.

Вырабатывалось, осмысливалось, вызревало новое понимание и ценности, и единственности жизни.

Вырабатывалась большая нетерпимость к проявлениям жестокости, к праву кулака, к авторитету грубой силы.

Дело это заставило на многое взглянуть другими глазами.

Много говорили и думали о детях: о детях убитого Карпова, о ребенке убийцы Красовского, о детях двух женщин, волей и неволей ставших соучастницами в этом деле. (Во имя этих детей и был сведен к минимуму приговор этим женщинам.)

Что они там кричат, бегая во дворе? В кого стреляют из игрушечных автоматов?

Автоматы нельзя отнять. Это не поможет и противопоказано детству.

Но когда взрослые, ссорясь, кричат: «Я приблю тебя», — это слышат дети. И возможно, в их дворовой драке

кто-то выкрикивает с недетским ожесточением: «Я убью тебя!»

Осторожно со словами. Многое начинается со слов.

Кто-то из знавших Мезиса говорил, что он начал ругаться чуть ли не с пяти лет. Есть люди, которые привыкли к ожесточению, как к нормальному состоянию души.

Понимаю, что и правовое воспитание, и любая страстная публицистика, и даже неотвратимость наказания все-таки не отвратят нас до конца от возможных красовских и мезисов.

И все-таки чем громче и явственней будет голос, тревожно говорящий людям, что даже в шутку нельзя посягать на другую человеческую жизнь, что в избиении слабого уже видится некий зародыш убийства, тем труднее будет атмосфера для исполнения и осуществления жестоких замыслов, подобных замыслу Красовского и Мезиса.

Помню их последнее слово. Красовский, приговоренный к высшей мере, говорил еле слышно, опустив глаза к полу, голос его как бы западал в резкой, гулкой тишине:

— Я знаю, я лишил мать сына, жену — мужа, ребенка — отца. Этому нет прощения... Но я очень прошу вас, граждане, я вас очень прошу...

Мезис сказал:

— Я и не жил, граждане судьи, я всего лишь существовал.

Слушая их, как бы отбросив на секунду реально случившееся, забыв обо всем, что было, ловлю себя на том, в чем, может, и признаваться не следует, — мне жаль тупую их, загубленную, несостоявшуюся, так и не ставшую человеческой жизнь.

В тени Гаррисов



(Перечитывая Александра Грина)

Странен и драматичен путь Александра Грина — не легкая человеческая судьба, своеобразная и трудная судьба литературная.

Он умер в отдалении от литературных столиц России, от каравелл и бригантин, которые воспевал, на глухой улочке южного городка, в домике, который станет через несколько десятилетий местом паломничества...

Известный небольшому кругу профессионалов, он, уйдя из жизни, словно бы утонул в мертвом море, навсегда стал *plusquamperfectum*, символом прошедшего времени, — зыбкая тень, книжка непонятного происхождения, без начала и конца где-нибудь в районной библиотеке, возможно, переводная, с нерусскими да и не иностранными — может быть, марсианскими? — именами героев.

Я представляю себе далекого периферийного читателя двадцатых годов, слабо следящего за периодикой, занятого другими книгами, другими проблемами, спрашивавшего недоуменно: кто этот Грин — бельгиец, швед, немец?

И надо было вернуться к нему, вспомнить о нем в гуле, грохоте революционного преобразования страны, надо было Фадееву, Олеше, Шагинян, Катаеву поставить вопрос об издании книги, всерьез представляющей его творче-

ство, надо было, наконец, эту книгу составить и выпустить, понять, что он наш соотечественник, наш современник, не столь уж далекий, если вчитаться, от вопросов и проблем века, что все его города, порты с такими странными названиями — Зурбаган, Лисс, Гель Гью — тоже не так уж далеки от нас и стоят вовсе не на иноземных морях...

Но о городах позже...

Это был первый виток его послежизненной литературной судьбы. В тридцатых — начале сороковых о нем вспоминали редко, печатали мало; он вновь как бы ушел на дно своих диковинных и незнакомых морей.

В середине пятидесятих годов уже мое поколение открыло его для себя, открыло само, без помощи критики, так же как позднее мы открыли других крупнейших писателей, в том числе Булгакова и Платонова. Но те, другие, открытые заново, зажили после смерти той литературной жизнью, что и должна была соответствовать их дару.

А Александр Степанович Гриневский?

Он наконец-то вышел из «оскорбительного забвения» — это выражение Марка Щеглова, написавшего о нем в 1956 году превосходную статью. В этой статье Щеглов отмечал, что книги Грина не известны широкому читателю, а «идеологическая репутация этого давно умершего художника до сих пор колеблется где-то на опасной грани».

Время, общественное мнение да и критика многое поставили на свое место. Многое, но не все.

Грин стал известен широкому читателю; пришедшая к нему с опозданием слава была громкой, несколько поверхностно-массовой (об этом еще надо будет сказать); книги его вышли миллионными тиражами, но все же в сегодняшнем литературном процессе он замечен менее, чем кто-нибудь из мастеров его масштаба, в сегодняшней критике, отражающей движение литературного процесса, связывающей вчерашнее с сегодняшним, имя его упоминается вскользь. Он вроде бы и классик советской литературы, а вместе с тем и не совсем: он в одиночестве, вне обоймы, вне ряда, вне литературной преемственности.

Зато есть фильмы, спектакли, вы встретите молодежные кафе под названием «Алые паруса», многое из того,

что он открыл, превратилось в расхожий штамп, и в русле отечественной словесности он видится вроде бы обиженным сиротой. Талантливый и блистательный, но все же как бы картонажный, на легковесном фанерном пьедестале перед бронзовой и гранитной крепостью других, более основательных постаментов.

Маленькое личное отступление. Я вернулся в Москву из эвакуации, из Сибири, в 1944 году и тогда же пошел в школу.

Несколько навсегда запомнившихся ощущений. Полузабытая Москва. Она другая, чем та, которую я помню, та, что оставила в младенческом сознании теплый звериный запах зоопарка, мирную рябь Чистых прудов, нагретый за день асфальт, отдающий бензином, возвращение отца с работы, Дом политкаторжан в Машковом переулке... Пропасть пролегла между той и этой Москвой. Школа, в которую я пошел учиться, еще вчера была лазаретом, отцы да матери возвращаются не с работы, а с фронта, раненные, контуженные, — какое счастье! Другие мои ровесники уже получают бесплатные завтраки, бесплатные пальто, потому что они дети погибших.

Дом рядом с моим был латвийским постпредством. Нарядный, с огромными венецианскими стеклами дом, с ковровым зеленым газоном. Дети там в нарядных костюмчиках, какие-то даже с виду нездешние. Они гуляют в сопровождении няни, щебечут, бегут куда-то, называют друг друга птичьими именами, все это, могло показаться, из Грина пришло. Только Грина я тогда не читал.

И я вижу этот дом другим. Впрочем, какой дом? Никакого дома нет. Отвратительное ржавое месиво, обгоревший кирпич, торчащие железные балки, газон выжжен, зеленое, живое превратилось в коричневое, черное... Прямое попадание.

Я уже видел смерть. Но я впервые увидел цвет смерти... Позднее, много позднее я прочитаю «Крысолова» и почувствую дух смерти, а точнее, отчуждения от жизни и сравню его с детским впечатлением.

Так Грин откроется мне неожиданно трагическим, а не ласкающим взор линиями яхт и синевой заливов.

Я жил в доме, имевшем родословную: здесь Ленин

слушал «Апассионату», которую играл Добровейн, здесь жили Чаплыгин, Гамалея, Пешкова, — дом прошлого века с маршами мраморных лестниц, с ощущением некоторой тайны, со странным горбуном Петром Федоровичем, бесменным вахтером, знающим, кто здесь жил, кто живет, может быть, даже догадывающимся, кто здесь будет жить через десятилетия. И голый достоевстовский двор с жестокой и одновременно благородной шпаной, с оборванными книгами без начала и конца, передававшимися друг другу как величайшая ценность.

Возвращение целого поколения к жизни... Открытие ее.

Мы были дети дотелевизорной эпохи, вполне познавшие, что «книги — источник знания». Вкус к классике был крепко отшиблен школой... О, в те годы она была свирепа: «первая черта Евгения Онегина», «вторая черта Татьяны Лариной», «общий вывод из поэмы «Мороз, Красный нос». Поэтому с особой жадностью и волнением мы читали все необязательное или не совсем обязательное, а также то, что отражало время, то, что было пережито родителями нашими и нами. Вот почему так волновала героическая романтика «Молодой гвардии», наизусть и с удовольствием заучивали отрывок «Руки матери». И еще читали «Алитет уходит в горы», «Кавалера Золотой Звезды», — все это было небезынтересно, но расхолаживали заданность и назидательность.

Хотелось другого, чего — мы еще сами не знаем, еще не можем определить, сформулировать; позднее, может, определим, поймем: необыкновенности, необычайного и вместе с тем искренности, правды чувств, высокой романтики.

И на эту почву падает Есенин, школой почти обойденный, крохотный абзац в учебнике, да еще цитата из Горького, что он, скорее, не поэт, а орган, созданный для того, чтобы рождать звуки. Не знаем, не разбираемся. Но чувствуем, но переписываем из маленького томика, изданного до войны:

Несказанное, синее, нежное...

Так рождалась причастность к слову. Вот этого «несказанного, синего, нежного» и ждала и искала душа.

Вот тогда впервые у Константина Паустовского в повести «Черное море» я прочитал о писателе Гарте.

Я еще не знал, кто этот чудак, романтик с головы до ног, живший изумительной, хотя и несколько нищенской жизнью, которой можно было только позавидовать. Он ходил «в черном просторном костюме, строгом и скучном, как у священника», без конца играл с детьми, жил в мире чудачков, далеких от насущных житейских забот, слушал шум моря и был из сказки, не горькой, выстраданной по-щедрински, не андерсеновской, с правдой абсолютной переальности, а из какой-то другой сказки, отдаленно похожей на жизнь. Точнее, из жизни, похожей на сказку. Впрочем, как пишет Гончаров в «Обломове» об Илье Ильиче, да, видно, не только о нем, а обо всех нас: «Сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка».

В этом самом Гарте все время подчеркивались печаль и неустройство, но его печаль и неустройство были не-всамделишными и поэтически завораживающими.

Он размышлял о жизни, сидя в кожаном кресле времен Севастопольской обороны и перелистывая морские справочники.

Конечно, мне нравился этот странный человек, красивый отзвук печали, не той горькой, скрытой, вызванной подлинными потерями и бедами, которые я уже успел узнать на своем коротком веку, а легкой, как дымка. Пьянящей не жестоким хмелем самогона или водки, которыми угощали инвалиды у ливных, а нездешним вкусом вина, которое я никогда не пил, но призрачный вкус которого чувствовал на губах.

«Веселое асти спуманте, иль папского замка вино...»

Я очень любил тогда Паустовского. Он был одним из самых любимых писателей моего поколения; в безбрежном книжном море он был островом с цветущей травой. На этом островке творилось чудо человеческих отношений, разлук, встреч... На этом островке люди просыпались из-за тишины, у женщин были узкие, слабо пахнущие духами руки, спустя десятилетия герой узнавал девушку, которую однажды в жизни видел... Мир Паустовского покорял поэзией и необычностью. Он был своего рода инъекцией прекрасного, романтического. Неокреп-

шая душа, видимо, нуждалась в приподнятости, в том, что Атаров позднее назвал «ветром с цветущих берегов».

Кстати говоря, при всей своей тяге к необычному именно Паустовский заставил нас ощутить сдержанную поэзию Мещерской стороны, туман среднерусских луговин, все то, что стало предвестием прозы, которую поднимали Яшин, Овечкин, Дорош, социально ее расширив, углубив, проложив мостки к современной деревенской прозе.

Когда-то все мы были читателями Паустовского. Он открывал нам не только города, реки, ветры, точный и строгий язык лоций, но и обращал наш душевный скромный опыт, обделенный многими эстетическими радостями, к тому, что было скрыто, далеко, через него пришли мы не только к Грину, но и к Блоку, Олеше, Бабелю. Полагаю, что Паустовский продолжил одну из линий гриновского творчества, возможно, не главную у Грина, но наиболее заметную и все равно важную, без которой Грина не понять. Именно то, что можно назвать открыто романтическим, возвышенно-романтическим восприятием жизни.

Итак, «старая романтика, черное перо». Поговорим об этой наиболее бросающейся в глаза стороне творчества Грина.

Перечитав через ряд лет «Черное море» Паустовского, увидев как бы с отдаления образ чудака-писателя Гарта, я ощутил то, что когда-то волновало меня, а теперь вовсе перестало волновать: аксессуар романтики, как говорят в театре, «приспособления», ее фасад, ее несколько слишком распахнутую таинственность. Романтика такого лада присуща, безусловно, и Грину и Паустовскому, но она все же далека от бутафорской романтики, дежурной, используемой как самое дешевое горючее, на котором можно летать...

Юные души, как сухая, знойная земля, ждущая влаги, нуждаются в непохожем, необычно высоком слове.

Недавно на одной московской улице я встретил двух парней, рослых, высоченных, лет семнадцати. Они стояли, склонив головы над какой-то мятой бумажкой, и лома-

ющимися басами пели песню, странную смесь современности и Вертинского, удивительный гибрид цыганщины и туристской песни. Так что же, осуждать их? Они ли виноваты, что принимают за поэзию набор штампов, электрическую поделку?

И еще одно соображение: именно романтическое, первоначально несущее на себе печать уникальности, единственности, художнического прозрения, чаще всего заигрывается на тысячу ладов; так чистая дождевая капля превращается в миллион пластмассовых бусинок. Романтическое легче всего поддается эксплуатации.

«Красивые резные балконы, вьющаяся заросль цветов среди окон с синими и лиловыми маркизами; шкура льва; рояль, рядом ружье; смуглые и беспечные дети с бесстрашными глазами героев сказок; тоненькие и красивые девушки с револьвером в кармане и книгой у изголовья и охотники со взглядом орла, — что вам еще?!» (А. Грин. «Сердце пустыни».)

Это прелестный набор. Кажется, тут есть все. Еще один шажок, еще одно сгущение красок — и картина превратится в роскошный рыночный гобелен с тропическими цветами. Но еле заметная ирония «что вам еще?!» спасает этот кусок, удерживает на той грани, откуда начинается чистая литературщина, а дочитав страницу, находишь замечательную, именно гриновскую блестку — фразу о жизни в незнакомой семье — и тут же прощаешь автора.

Впрочем, что значит прощаешь? Пусть он простит нас за непонимание, за леность нашего чтения, за то, что увидели в нем лишь внешнее, что с первой строки откровенно бросалось в глаза. А ведь был и есть в нем тот потаенный мир, та подлинность мировосприятия, редкостные свойства зрения, что помогли ему увидеть землю, море, людей не такими, какими видим мы. Но это второй слой Грина. Это тот слой, где не найдете вы ни красивых девушек с револьверами, ни куперовских охотников. Здесь другое волшебство, часто вовсе не расцветенное. Оно озаряет светом художественных прозрений тусклые, нищенские улицы, булыжные мостовые, тьму предреволюционной России.

Не знаю, как отнесся бы Грин, узнав, что тысячи кафе названы «Алые паруса». Как отнесся бы он к красивеньким Ассоям и кино-Греям с загадочными улыбками.

Грин полупрочитанный, пересказанный в кино чрезвычайно популярен. Даже что-то шлягерное есть в этой популярности. Вместе с тем как долго не могли создать музей писателя в Старом Крыму! Имелся в виду не академический музей, а просто домик, где проходила и гасла его жизнь.

Вспоминаю разговор с его вдовой — уже на излете ее жизни. Она говорила, и я хорошо запомнил это: «Да не мне этот домик нужен (именно домик, так она сказала), и не Грину он нужен... Вот он кому нужен». Она показала рукой на девчонку, бежавшую босиком по пыльной дороге. Девчонка и не смотрела в сторону домика. Он был ей привычен, а Грина она еще не читала.

Судьба давно связала меня с Севастополем. В этом городе прошли, может быть, лучшие месяцы моей юности, здесь я стажировался на флоте, здесь я в полной мере почувствовал атмосферу Грина.

Паустовский очень точно заметил как-то, что Грин умел блистательно и точно воссоздать атмосферу несуществующих городов. Но так же точно умел он передать образ реального города. И в Зурбагане, Лиссе и других экзотических городах вижу я улицы Корабельной стороны Севастополя, самые обыкновенные дворики, акации, берега Балаклавы, вечерний теплый асфальт Подгорного тупика. Это все родное, исхоженное вдоль и поперек, только увидено необыкновенными глазами.

Грин — городской писатель, если применять терминологию современной критики. А точнее сказать, он сплав городского писателя с маринистом... Написал эту фразу и остро почувствовал вновь условность таких подразделений. И не городской, и не маринист, и не волшебник, как любят его называть, а просто художник, подлинный художник, написавший Свою землю и Свое море.

Неверным представляется мне укоренившееся в определенные годы мнение об оторванности Грина от родной почвы, о надуманности его мира. Другое дело, что этот его

мир, отражавший реальный облик родных для художника городов, был нарисован им в определенном ключе; Грина привлекали странность, загадочность, непохожесть этого мира, его связь с портами иных стран, быстрота меняющейся реальности, возможность проплыть Мировой океан, чтобы вернуться в Лисс, а точнее сказать, в родной Севастополь или Феодосию.

Большая часть жизни Грина прошла до революции. Его тяжкая болезнь, его депрессии, желание отойти от литературной жизни, убежать на узенькие припортовые улочки были следствием усталости, отвращения к пошлости житейского уклада.

Белинский спрашивал, размышляя о Теодоре Амадее Гофмане: «Что же загнало его в туманную область фантазерства, в это царство саламандр, духов, карликов и чудищ, если не смрадная атмосфера гофратства, филлстерства, педантизма, словом, скука и пошлость общественной жизни, в которой он задыхался и из которой готов был бежать хоть в дом сумасшедших?»

Старая как мир история: разлад между бытом и бытием, между состоявшимся и несбывшимся, трагический неизлечимый разлад.

Не отсюда ли «Алые паруса» и «Бегущая по волнам», тот Грин, что творил легенду несколько более красивую, чем подлинная жизнь? И наряду с яркими, но несколько окостеневшими в своих романтических формах сочинениями вижу я то, что очень давно, еще в молодости, поразило меня в Грине: органический сплав реального и нереального, где ничто нельзя разъять и поменять местами. Это как соединение света и тени. А кроме того, что-то потаенное, одновременно больное и высокое — страх перед жизнью и необыкновенная страсть в утверждении ее красоты.

В книжке, изданной в 1928 году, «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков», под редакцией недавно умершего Лидина, можно найти очень интересные документы, ведь в этих автобиографиях не только перечень книг и факты жизни, но и характеры самих писателей, их откровенная самооценка. У одних — подробнейшие трактаты с высказываниями, афоризмами, у других — сдержанные, скупые данные, у третьих — лапидарные заметки. Грин короче и скромнее всех:

Я родился в г. Вятке в 1880 году, 11 августа; образование получил домашнее; мой отец, Степан Евсеевич Гриневский, служил в земстве, а в Вятку попал из Сибири, куда был в 63-м году сослан за восстание в Польше. Моя мать — русская, уроженка г. Вятки, Анна Степановна, скончалась, когда мне было 11 лет.

16 лет я уехал из Вятки в Одессу, где служил матросом в Р. О. П. и Торг, в Добровольном Флоте. Я проплавал так три года, затем вернулся домой и через год снова пустился путешествовать. После различных приключений я попал в 1906 году в Петербург, где напечатал первый свой рассказ в «Биржевых ведомствах» под названием «В Италию».

Всего мною написано и напечатано (считая еще не вошедшие в книги) около 350 вещей.

Вот и весь текст. И портрет: Грин в партикулярном костюме, в так не идущей к пиджаку капитанской фуражке, глаза чуть опущены и кажутся воспаленными, больными, взгляд их выражает суровость, а на самом деле он очень печален, сосредоточенно печален... Еще четыре года ему жить на земле, но в лице — как бы тень небытия, предощущение недуга, который сведет его в могилу. И все-таки глаза смотрят грустно, но далеко, куда-то мимо вас.

Как? Просто было бы сказать, что в синеве моря он видит и парящие алые паруса, и пленительный образ Ассоль.

Однако воздержимся.

Перечитываю первую книгу Грина — «Шапка-невидимка». Говоря языком учебников, она передает черты времени, обличает реакцию, наступившую после поражения революции 1905 года. В этих рассказах есть приметы времени, но нет его духа. Это много слабее самых слабых рассказов Куприна. Да только ли Куприна? Даже странно, что написано это в пору расцвета Горького, Бунина, Л. Андреева, когда другие, даже средние писатели показывали достаточно высокий класс профессионализма. В прозе есть движение сюжета и определенная достоверность обстоятельств, есть антураж...

Есть все, кроме одного. Правды о душе человека.

Время как бы протекает сквозь пальцы, оно не остается в нас, возможно, потому, что страдания и радости людей лишены «длительности» (это выражение Томаса Манна) — они сиюминутны, преходящи и отражают конкретный момент.

Подлинная же правда, сказанная о человеке и человечестве, — это момент истины.

Толстой писал однажды: «Главная цель искусства, если есть искусство и есть у него цель, та, чтобы проявить, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом».

Поразительно, что Толстой, столь чуждый афористичности, с гениальной простотой сформулировал самое главное. Впрочем, не то слово «сформулировал». Какая уж тут формула...

Замечательна здесь эта толстовская оговорка: «...если есть искусство и есть у него цель...»

Перечитываю следующую работу Грина, фантастический рассказ «Остров Рено». Его редко включают теперь в сборники. И наверно, это правильно. Включить его можно было бы только для того, чтобы читатель лучше понял, как непросто так называемый творческий путь.

Рассказ фантастический, но в фантастике этой нет влияния Гоголя или, скажем, Гофмана, скорее, вспоминаются здесь популярные и расхожие авторы: Луи Жаколио, Райдер Хаггард, Луи Буссенар. И все время ощущаешь, что русский пишет про иностранцев. Пожалуй, это единственная вещь Грина, читающаяся как перевод с некоего неизвестного иностранного языка.

Более поздние вещи Александра Грина при интернациональной экзотичности фона, безусловно, связаны с отечеством, с Россией. И ощущение чужого мира, рождающееся при чтении его рассказов, особенно ранних, ассоциация с «бананово-лимонным Сингапуром» исчезает, как только вчитываешься в его письмо.

Теперь следует сказать не только о том, что он видел, не только о материале, но и о том, как видел, о способе изображения.

«Оригинальное здание это сильно напоминало постройки нынешних футуристов как по разнообразию материала, так и по беззастенчивости в его расположении. Главный корпус «дворца», за исключением одной стены,

именно той, где была дверь, составляла ровно отпиленная корма старого галиота, корма без палубы, почему Бильдер, не в силах будучи перевернуть корму килем вверх, устроил еще род куполообразной крыши, наподобие куч термитовых муравьев, так что все в целом грубо напоминало откушенное с одной стороны яблоко».

В стилистике, в образном строе этого куска есть нечто экспрессионистское. Мне вспоминались при чтении кадры из фильма «Голем», который я видел когда-то во ВГИКе, вспоминалась стилистика художника Гросса, работы замечательного художника О. Кокошки, пластика раннего Пудовкина.

Я говорю здесь не о явно оформленном течении, а о способе видения. О сгущенности реализма, о драматизме, о неожиданной трагической отстраненности взгляда на жизнь. Не так ли, хотя совсем в ином стилевом, художественном ключе, решена «Герника» Пикассо, не так ли читаются некоторые строки из «Облака в штанах» Маяковского?

Сложны пересечения путей культуры. В архитектурных ансамблях трагической Хиросимы видел я поразительную экспрессию. Или вспомните руку в Волгоградском мемориале. Нравится ли такое изобразительное решение или кажется чрезмерно натуралистичным, но эта огромная белая рука навсегда останется в твоей памяти.

В рассказе Грина «Позорный столб» изображены обитатели Кантервильской колонии, осужденные за кражи, подлоги, убийства и строящие свой городок. В этом городке повешены вывески с надписями. Первая надпись — «Школа», вторая — «Гостиница», третья — «Тюрьма».

В этой экспрессионистской декорации, в душном, спертom воздухе, в городке, населенном людьми, не знающими, что такое цена жизни, Грин неожиданно, словно соловей на ржавом кладбище машин, начинает высокую и нежную тему торжества любви, добра, преодолевающего жестокость. Рассказ неожиданно кончается, как притча. Наивно и просто: «Они жили долго и умерли в один день». Примечательно, что такой же фразой кончается рассказ «Сто верст по реке».

Он пишет о людях, ненавидящих любовь, и не идет по накатанному пути, не ударяется в сентенции о том, что любовь всепобедна, сильнее смерти, гибели, он просто

показывает, как высока она, как органична для человека и как неорганичен мир злодейства, жестокости, отчуждения.

Я читал этот рассказ, и передо мной вставала иная жизнь, местность, населенная другими людьми, другой художник, которого я бесконечно люблю, — Андрей Платонов. Я вспоминал возвращение Никиты Фирсова после гражданской войны (рассказ «Река Потудань»), когда обострившимся зрением он видит странный мир, где «бурьян на пустых местах беден, он растет не страшно, а заунывно, обитаемый лишь старыми, терпеливыми муравьями, и все улицы скоро кончались полевою землей, светлым, небесным пространством, — город стал небольшим. Никита подумал, что, значит, им уже много жизни прожито, если большие, таинственные предметы обратились в маленькие и скучные».

Вопрос, высказанный Любой, а может быть, и автором, — вопрос о трагически абсурдной бессмысленности жизни: «Голод и нужда слишком измучили человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей, это — серьезно или нарочно?»

Экспрессионистская пластика может быть использована и самым подлинным реалистом, если он стремится понять, обострить увиденную правду жизни до символа.

Экспрессионизм — это не только фильм «Кабинет доктора Каллигари», это и революционные видения немецкого художника Гросса, кинематограф раннего Пудовкина и поиски ряда русских писателей (Леонид Андреев, Гаршин, отчасти Горький). И не следует рассматривать экспрессионистскую пластику как нечто оторванное от реализма. Можно видеть в ней элемент, в реализм входящий, обостряющий остроту восприятия.

И Платонов, и такой не похожий на него Грин создавали свои миры и свой стиль, они были реалистами своей собственной, единственной и общечеловеческой правды.

Рассказ «Позорный столб» датирован 1911 годом. А в июне 1910 года Толстой записал в дневнике: «Да, благодарю Того, То, что дало, дает мне жизнь и все ее благо, разумеется, духовное, которым я все еще не умею поль-

зоваться, но даже и за телесное, за всю эту красоту, и за любовь, за ласку, за радость общения. Только вспомнишь, что тебе дано ничем не заслуженное благо быть человеком, и сейчас все хорошо и радостно».

Жизнь Грина не надо читать как жизнь романтического страдальца «в английском сюртуке, с сигарою во рту», которого изобразил молодой Паустовский. Она была полна самых будничных неудобств, а может, и страданий. К тому же он не умел выжать из нее хотя бы минимум удобств.

В рассказе «Крысолов» герой обмолвился: «В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно не умел». Ни тени жеста здесь, ни тени кокетства. В этой фразе высказано огромное преимущество безбытности, дающей свободу возвышения над бытом.

Безбытность не только драма Грина, не только рок его обделенной многими простыми радостями судьбы, но и духовная опора его свободы. И этим он родствен Платонову. Оба прожили одинаково недолгую жизнь — пятьдесят два года. Оба познали душевное и бытовое неустройство, оба нравственно не умели хлопотать о комнате. В их таких разных судьбах есть что-то трагически сходное.

«Ночью душа выростала в мальчишке... Чистые, голубые, радостные сны видел он и ни одного не мог вспомнить утром».

Радость и страдание юной созревающей души.

Рассказ Грина «Гнев отца» удивительным образом перекликается с рассказом Платонова «Семен». «Перед тем как лечь спать, отец обыкновенно лазал по полу на коленях между спящими детьми, укрывал их поллучше гунями, гладил каждого по голове и не мог выразить, что он их любит, что ему жалко их, он как бы просил у них прощения за бедную жизнь; потом отец ложился около матери, которая спала в один ряд с детьми тоже на полу, клал свои холодные занемевшие ноги на ее теплые и засыпал».

Оба писателя остро, почти болезненно ощущают одиночество детской души.

Отец Тома Беринга в гринновском рассказе «Гнев отца» просит у сына прощения. За что? За жестокость взрослых,

за их непонимание, за их недоверие. Он просит прощения не только за частную несправедливость, но и за весь «гнев» взрослого мира, за весь механизм, может быть даже и не осознанной, взрослой жестокости.

Именно обида ребенка особенно горестна, и несправедливость к ребенку особенно несправедлива. Она и воспринята мучительно, как собственная боль, художниками, чуткими к несправедливости вообще. В этом и Платонов и Грин родственны.

И Платонов и Грин обладали даром сострадания.

«Видений пестрых вереница влечет, усталый теша взгляд, и неразгаданные лица из пепла серого глядят...»

Конечно, не из этих фетовских строк вырос «Крысолов», но они странным образом перекликаются с пепельным, чуть-чуть мистическим вторым планом этого рассказа, во всяком случае, я всегда ощущал не то чтобы перекличку, это было бы слишком прямо и просто сказано, но совпадение ладов, как в музыке.

Рассказ «Крысолов» — один из самых блистательных в нашей новеллистике, может быть, самый сильный у Грина. Его светопись чернo-белая и в переходе, а затем и в столкновении этих двух цветов, становящихся символами таких вечных понятий, как добро и зло. Грин подмечает множество переходов, «видений пестрых вереницу»... Но о самом рассказе чуть позже.

Черно-белый цвет — это цвет начала моего поколения, его детства, ранней юности: теплушки на снегу и медленно, словно нехотя, пикирующий самолет, сбрасывающий что-то черное на почерневшую землю. И я помню это ощущение расколотой земли, грохочущей, с кусками горячего железа, оставляющего рваные темные дыры в снегу, и человека, который только что был с нами и утешал нас, а теперь вот лежит черный на белой земле, и так ужасающе проста эта перемена.

Черное, черное — шрифты газет, штемпеля на конвертах, черные раструбы репродукторов на площадях. Это больше чем метафора. Это подлинное ощущение, световое ощущение времени.

А белое — это кусок сахара, это картошка, это лист бумаги, на котором пишу письмо отцу, это день без

воздушных тревог, это белое, голубое, очистившееся небо.

Дети дотелевизорной эпохи, зрители черно-белого кино, мы были благодарны даже за немногое. Лишенные книг во время войны, оторванные от капитанов, мушкетеров, рыцарей — спутников детства, мы были прилежными слушателями радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов». Мы жили в малом, плохо устроенном быте. И быт нас не занимал. Вот почему зачитывали до дыр «Гиперболоид инженера Гарина», смотрели по нескольку раз «Город мастеров» (прекрасная сказка Габбе, прекрасный спектакль, сейчас он, кажется, выпал из тюзовских репертуаров).

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Эту песню пел мой дед, старый русский революционер, переписывавшийся с Лениным и много лет работавший в Сибири и на Дальнем Востоке. И прежде чем в мою судьбу, да и, пожалуй, всего поколения, вошли студотряды, отправлявшиеся в Сибирь и Среднюю Азию, целина, новостройки, — прежде этого появились, возникли такие яркие, необычные, как первые цветные фильмы после черно-белой эпохи, удивительные гриновские города. Они и казались именно той блаженной страной.

Позднее я ощутил некоторую избыточность, напряженную подчеркнутость нездешнего, надбытового, изумительно отрешенного от повседневных реалий мира. Увиделось в нем вдруг панье-маше, декорация, которую убирают, — и остается пустой задник сцены. Его фантастическая подлинность распадалась, становилась иллюзорной. В человеческой психологии есть одна особенность: чем яростнее мы очаровываемся — тем острее наше разочарование. Вот так произошло и с Грином.

Необычайная сгущенность романтического, предельная его интенсивность породили обратный эффект, нечто подобное потере цвета.

И не в цветной Гринландии все же при всем ее несомненном обаянии и прелести открылся для меня Александр Грин, а в черно-белом Петрограде, в обстановке суровой, мрачной, соответствующей времени, хранящей, отражающей его точные приметы и черты.

Это не значит, что поздний Грин изменил способ своего видения, просто глубже, со всей полнотой убедительности возникла, родилась непрдуманность придуманного. Если в том, раннем было много фантазии, прозрений (и все-таки ощущался кое-где Эдгар По), угадывались не только родные города Севастополь, Керчь, но и Сидней, Лондон, Амстердам, те, которых он почти не знал, то в «Крысолове» перед нами предстал другой город, «знакомый до слез, до прожилков, до детских припухлых желез...».

Петроград 20-х годов, смутный, с его дворами, огромностью нежилых квартир, черно-белый город, отринувший старую жизнь, начинающий создавать новую. Не только необычное для Грина место действия, но и неожиданные характеры. Не только рассказчик нов для Грина, но и девушка, совсем не такая восхитительная, как те, прежние его героини. В ней — неожиданная сила при внешней хрупкости, выстраданная доброта, чем-то близкая доброте героинь Достоевского.

В «Крысолове» есть открытия, которые мы, не осмыслив как следует Грина, считаем чужими — мотив «чумы XX века», например. Но роман Камю «Чума» еще не был написан. Грин раньше и по-своему ощутил чуму — мотив опасности всечеловеческой гибели, — но у Грина прозвучала еще одна нота: он показал, что из безвыходного на первый взгляд лабиринта судьбы можно выбраться, что выбор возможен, если не потеряешь человеческое в себе, если не перестанешь видеть человеческое в других. Та неотвратимость, которую зловеще напишет Камю, у Грина видится иной, мотив безысходности и трагической заданности судьбы тоже звучит в этом рассказе, но в нем есть и мотив перелома, есть мотив веры... Те вопросы, которые ставили перед своими героями Камю и в ином, психологическом, социальном ключе — Кафка, звучат в этом рассказе Грина с огромной силой и беспощадностью. Грин окунул своего героя в мир видений, призраков, бреда, в пограничную зону между упадком душевного здоровья и безумием. Мы слышим мотив страха перед городом, людьми, обществом, — все это есть у Грина, об этом он сказал примерно в одно время с Кафкой, раньше Камю, возможно, с равной им силой, но с большей верой в человеческие возможности.

Я думаю о пути героя «Крысолова» по его подземелью.

И как удивительны два пласта в этом рассказе, полном причудливости, зловещей фантастики: пласт крысиного мира, кафкианских призраков и другой, такой человечески достоверный и горестный, выраженный в двух людях, в двух образах.

Мне не хочется сказать, что они противопоставлены чумному, крысиному псевдомиру; так было бы слишком просто, почти по учебнику.

Нет, не противопоставлены и не побеждают, может быть, а отстаивают право на существование, право на человеческое в крысином мире, верят в свои возможности и, что самое главное, не потеряли одной, такой возвышающей их над хитроумными и изворотливыми крысосууществами способности — любить.

«Вы простудитесь,— сказала она, машинально зашипывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая.— Простудитесь, потому что ходите с расхлястанным воротом. Подите-ка сюда, гражданин».

Все здесь просто, человечно; нежность вот-вот, кажется, готова переступить барьер сентиментальности. И даже слово «добренькая», такое неожиданное у Грина, жалостное, не только не режет слух, но и кажется единственно уместным.

Такой вроде бы пустяк — случайная встреча, чего там, потеря друг друга в человеческом море, нормальная потеря, каких у нас ежедневно сотни, и вдруг удивительное обобщение: «Вначале отнесся я к этому с легкой оторопью всякой малой потери» (как точно — припомните-ка свою малую или кажущуюся малой потерю). Читаем дальше: «Еще не утоленный голод заслонял впечатление».

Это скупое, словно случайно оброненное примечание и объясняет притупленность чувств героя и его растерянность.

Бессонница, галлюцинации, болезнь, ощущение близкой смерти и все остальное — то, о чем он с иронией говорит, что оно описано не им одним, а до него «разорвавшими свежинку перьями на мелкие части», все это и даже любовь, так неожиданно и некстати случившаяся в развороченном бурей быте,— это только пролог к другому. Это другое написано с пронзительной достоверностью недостоверного, с реальнейшими, подробнейшими

деталями видений, галлюцинаций, с погружением в атмосферу призрачного — «тревоги, отнимающей всякую возможность противодействия, предчувствия встречи с какими-то ужасающими силами», причудливая цепь несформулированных впечатлений, неоформившихся ползучих страхов.

Социальность Грина как бы затенена, она не выявлена так определенно, как у писателей, оперирующих в реальном времени и на реальной земле. Но он передает драму человека, ищущего себя в мире, в обществе, передает если не прямые приметы времени (хотя и такие есть у него в «Крысолове»), но ощущение времени, задумывается над вопросами, которые при всей своей кажущейся абстрактности очень социальны.

В прозе Грина есть спор со злом, поиск света, умение обнаружить сговор темных сил, что так легко сплываются, что так едины в своем наступательном порыве. Этот мир темного по-разному персонифицирован. Иногда в Дьяволиаде, иногда в образах обитателей колоний: жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, оживленное многословие «нервно озирающейся души».

От кого же бежит эта страдающая, «нервно озирающаяся душа»? От монстров, иногда напоминающих булгаковских; только Булгаков все время как бы придерживает своей иронией их безудержное, всепобеждающее, наглое движение, Грину же ирония не очень свойственна. Его герой тонет, почти тонет в вязкой тине, в сыпнотифозном бреде, в столпотворении жутких типов, пока вдруг не слышит звук...

Это не мелодия флейты, о которой со светлой печалью в своем старом стихотворении рассказал Леонид Мартынов. Не только символ другой жизни, света, добра, но и некий обобщенный и любимый Грином образ могущества музыки, разрывающей тишину, крысиный шорох, трусливое и пугающее шуршание. Выход из темных подземелий, из удушья — внятный звук человеческого говора, оркестр голосов, музыка жизни.

Этот же мотив есть в феерии «Алые паруса» — торжествующий хор при встрече Ассоль с возлюбленным. Но в феерии торжество добра чуть назидательно. Все становится на свои места. Это счастливая концовка сказки, полная аллегорий, метафор.

В «Крысолове» же поэтическая оркестровка сложней. И слышится здесь не хор фей, не мелодии волшебных скрипок, а всего лишь, говоря словами современного поэта, «надежды маленькой оркестрик под управлением любви».

Этот образ надежды очень подходит к гриновскому рассказу. Только надежда выведет из лабиринта, из подземелий, где притворившиеся людьми крысы установили свой закон, страшный, нелюдской. Если принять его, приспособиться к нему, то начнется цепная, всеобщая, всемирная реакция. А может быть, эпидемия насилия, безнаказанного подавления человеческой личности.

И вот что знаменательно. Такой «несоциальный», фереический Грин в этой своей далекой от бригаантин прозе дал поистине ужасающий образ того еще не оформленного, но уже все более подымавшего голос зла, что навсегда останется в памяти человечества под именем фашизм. Совершенно не претендуя на то, чтобы изобразить его социальную сущность, он уловил его подземельный, одновременно мистический и уголовно-вульгарный дух.

Это прозрение было, может быть, равным прозрению Томаса Манна в старом его рассказе «Марио и волшебники». Только у Манна в фактуре рассказа присутствовали реалии его страны, реалии уже новой социальной действительности, у Грина же — лишь догадки, лишь эмоциональное прозрение, отдаленный, но очень точный по-своему образ...

Грин показал, как страшны перевертыши, существа, способные переродиться, менять свою оболочку, свою суть, приспособляться к любой среде и, приспособившись, уничтожать живое, доброе, человеческое и по-человечески незащищенное. «Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это».

Что же спасает?

Любовь?.. Да, конечно, она, об этом уже говорилось. Но главным образом спасает близость людей. Простая, цельная петроградская девушка, дочь ученого, да и сам ее отец, интеллигент, мягкий, вежливый, но готовый пойти на голгофу, лишь бы не дать прорваться и затопить мир крысочеловекам...

Перечитывая Грина, с холодком трезвости отмечаешь про себя, что некоторые вещи не выдержали испытания временем, что некоторые из его романтических потрясений и катастроф волнуют сегодня меньше не только нас, переживших когда-то первую любовь к Грину, но и новых юных читателей. Признавая все это, чувствуешь все же мощь морской волны, силу удара о гранит набережной, морскую соль и свежесть его прозы.

Да, есть в нем и некий муляжный слой, но есть и подлинный, кровоточащий, сплетенный не из выдуманных заморских стеблей, а из живых сосудов, сообщающих телу жизнь.

Безусловно, лучшее из экзотического осталось, кое-что потускнело, кажется банальным сегодня. Но вот читаешь рассказ «Канат» и поражаешься прозорливости Грина. Как он увидел эту опасную тягу людей насладиться поражением канатоходца, неудавшимся аттракционом.

Обыватель хочет необыкновенного. Необыкновенное для него — это радость поражения того, кто мужественнее, чем он сам.

«Почему ты не падаешь?.. Надо бы тебе зашататься, перевернуться и грохнуться. Мы будем стоять и смотреть — надеяться. Мы желаем волнения, вызванного твоим падением. Если ты победишь наше желание тем, что не упадешь, мы будем думать, что, может быть, когда-нибудь кто-то все-таки упадет при нас. Падай! Падай! Падай!..»

Здесь себялюбие оборачивается человеконенавистничеством.

Вот как неожиданно в свечении софитов, сквозь наступающую тьму чужого, незнакомого города увидел он, такой добрый, даже склонный к идеализации художник, «сказочник» страшную черту толпы — черни. Зависть к необычайному, неприятие индивидуальности, человеческой непохожести.

Это старый обывательский мещанский инстинкт. Иногда он ограничивается брюзжанием, улюлюканьем, дегтем на стенах; его укрощает общественная нравственность, этика.

Но если этот инстинкт вырвался и не встретил сопротивления, а, наоборот, если ему подыгрывают, если этика заменяется антиэтикой, возведенной в закон, как это

было в гитлеровской Германии, если появляются типы, подобные манновскому фокуснику, если «исправительная колония» Кафки становится не пугающим, далеким от жизни домыслом художника, а прообразом реального Освенцима или Майданека, то те, кто шептал канатоходцу «падай, падай», те, кто внушал ему смерть и ждал ее как самого редкого завораживающего зрелища, те устанавливают в мире свои законы.

По этим законам многое можно. Устраивать всенародные казни на площадях при стечении многотысячной толпы, под одобрительные крики, по этому закону можно уничтожать больницы и госпитали, изымать лекарства как нечто вредное для народа, чуждое его национальным традициям, по этим законам можно ранним августовским утром бросить на спящий город атомную бомбу... Да мало ли что еще и под каким предлогом можно совершить по этим законам!

Оказывается, Александр Степанович Гриневский, чудной романтик Гарт, видевший мир «закутанным в цветной туман», сквозь этот самый туман увидел что-то другое, не радужное, не цветное, но черное, угрожавшее человеку, миру на земле.

Есть судьба художника при жизни, есть его судьба после смерти... Вернее, судьба-то одна, а отзвук ее разный. Время придает силу этому отзвуку или ослабляет его... Грин воспринимался нами как маринист, певец неведомого, странный романтик, сказочник. Именно такой Грин влек нас на определенном этапе жизни, от такого многие уходили к другим писателям, другим ценностям. Увлечаясь, впадали в крайность, канонизировали писателя, а тем самым упрощали его. Было легче видеть его привычным певцом несбывшегося. Несбывшееся сбывалось, становилось тривиальным.

Так песня, которая когда-то поразила тебя новизной, слышанная сто раз подряд, становится привычной и перестает трогать. Не станем сокрушаться по поводу кафе «Алые паруса», забудем о том обманчиво романтическом флере, который может приниматься впрямую, всерьез из-за вечной потребности юности видеть мир удивительным и необычайным.

Художник в этом не виноват.

В рассказе «Командант порта» Грин говорит о старике

Тильсе, шутливо прозванном Комендантом: «Никаких корыстных целей он не преследовал, его влекло к морякам и кораблям с детства, с тех пор, как еще на руках матери он потянулся ручонками к спускающемуся по голубой стене моря видению парусов».

Этот человек, физически не приспособленный к морскому делу, слабогрудый, блуждавший по порту как бы без цели, оказывается, был нужен грубоватым морякам. Почему?

Он умел выразить словом то, что ими было пережито, то, о чем сам он мог лишь догадываться... Он бесконечно рассказывал о кораблях, капитанах, парусах, дальних городах.

Но знал больше: о человеческой душе, о преодолении одиночества, о вечном поиске понимания и добра.

В этом он был схож с Грином.

История нормального мальчика



Сажу на выпускном вечере восьмиклассников в интернате. Играет аккордеонист, на длинных праздничных столах снедь и лимонад, девочки танцуют с девочками, мальчики иронически поглядывают, посмеиваются. Изредка кто-то смущенно и важно встанет, подойдет, пригласит; учителя сидят в углу, улыбаются, звучит сентиментальный вальс: «Давно, друзья веселые, простились мы со школою». Словом, все мило, празднично, чуть неестественно, как на всех выпускных вечерах, и я сижу, смотрю с интересом, будто я и приехал сюда специально на этот выпускной вечер.

Но приехал я, к несчастью, совсем не за тем. Приехал потому, что незадолго до выпускного вечера учащийся этого интерната, пятнадцатилетний мальчик Володя Дроженин, ударом ножа убил человека.

И вот теперь я каждый день хожу в интернат, разговариваю с учителями, с учащимися, с людьми, так или иначе соприкоснувшимися со страшной этой историей. Хочу размотать весь этот клубок — не поступков, не обстоятельств, — клубок мыслей, настроений, состояний, клубок нравственный, психологический, человеческий, точнее же сказать — бесчеловечный.

Дело это не типичное. Об этом говорили мне в Уп-

равлении охраны общественного порядка. Это я и сам понимал, потому что мотивом преступления было не обыкновенное хулиганское столкновение, мотивом была ревность и любовь.

Впрочем, попробуем разобраться: что же это за ревность и что это за любовь?

Хочу рассказать эту историю в том виде, в каком она пришла ко мне, в каком я брел по ее следам, нелепым, горестным и противоречивым, что-то вроде бы понимая и в итоге убеждаясь, что единственный смысл готовых решений в том, что мы их в конце концов отбрасываем.

I

В редакцию пришло письмо, написанное учительницей того класса, в котором учился Володя Дроженин, убивший Васю Антонова. Письмо было длинное, подробное, с вопросами и рассуждениями, но все это не читалось, читалось только: «Мой воспитанник, пятнадцатилетний В. Дроженин, зарезал восемнадцатилетнего В. Антонова».

Потом я перечитал письмо еще и еще, там сообщалось о некой девушке (назовем ее Зоей), в которую Володя Дроженин был влюблен и которая пошла в кино с другим: и Володя был на этом сеансе, и после сеанса догнал ее и этого парня и ударил парня ножом. Затем в письме были общие рассуждения о том, что у нас плохо поставлено половое воспитание, и о тех несправедливостях, что были допущены после этого случая по отношению к учителям интерната. Письмо мне, честно говоря, не понравилось. Мне показалось оно слишком спокойным и обиженным, и это спокойствие, смешанное с обидой, было непропорционально простому, бесповоротному факту человеческой гибели. Я ехал с предубеждением... Я долго думал о том, что равнодушные учителя порождают равнодушных учеников. Что равнодушие подчас идентично жестокости. А жестокость долго не раздумывает, она наносит удар.

Я пришел в общежитие интернатских учителей, где жила учительница Лилия Евстифеева. Ее я не застал. В комнате стояли чемоданы, лежали платья, пахло сборами, нафталином, отъездом.

- Она уезжает завтра вечером,— сказали мне.
- Куда?
- Кажется, в Москву, а затем в Саранск.
- Надолго?
- Кажется, навсегда.

Предубеждение росло, как снежный ком. Еще немного — и оно обрело бы твердые черты уверенности... Ее ученик совершил такое, а она убегает. Уходит, чтобы не портить себе нервы. В этот же вечер я познакомился с Лилией Евстифеевой, следующим вечером я провожал ее в Москву. Провожал ее не я один — учителя, ученики, просто знакомые по городу... Среди них была длинная, нескладная девочка, она стояла чуть поодаль и плакала.

— Чего ты плачешь? — спросил я.

Она помолчала, помялась, всхлипывая, пряча покрасневшие глаза, пробормотала:

— Самая хорошая учительница уезжает...

И все люди, что провожали эту женщину, прощались с ней с подлинной сердечностью и сожалением.

Теперь я уже знал почему.

Потому что Лилия Евстифеева педагог, может быть, и не очень опытный, но серьезный, честный, преданный своему делу, потому что она просиживала часы внеурочного времени с этими ребятами, потому что она покупала им билеты в кино и доставала для них книги, потому что никакой ее прямой человеческой и педагогической вины в совершившемся нет. Если она и являла какой-то пример своим ученикам, то это был пример бескорыстия, искренности и доброты.

II

«До тебя я жил как во сне, не думая, красивый я или нет, хороший или плохой. Да и вообще мало о чем думал в этой части жизни. Я многим увлекался, и у меня не оставалось времени на это.

Сейчас я не могу без тебя. Я хочу, чтоб ты скорее поняла меня, мои интересы и увлечения. Тогда нам будет очень весело».

Это писал Володя Дроженин Зое. По словам людей, его знавших, он не был ни хулиганом, ни человеком с нрав-

ственными или психическими отклонениями, ни даже просто грубым, злобным парнем. Был он, по словам этих людей, молчалив, замкнут, самолюбив, характером мягок, привязчив, в себе не уверен, читал много, без разбору: по статистике он идет на первом месте по числу прочитанных книг. Увлекался фотографией, в ночь перед убийством печатал до рассвета фотографии Зои.

На девочек начал поглядывать рано и с интересом, с юношеской тоской, со смущением, с ожиданием... Драться был не мастер, его нередко били; впрочем, в последнее время он стал резче, стал давать отпор, стал тоже тяготеть к тому идеалу, который ему в прошлом и не светил, который его мало прежде вдохновлял, — к идеалу решительного, железного мужчины. Я был у него дома, видел его фотографии, рисунки, не лишённые наблюдательности и фантазии. Мальчик как мальчик.

Вполне нормальный мальчик. Не хуже других. Лучше многих. Учителя мучительно вспоминают каждую его фразу, каждый поступок, каждое движение, вспоминают под тягостным впечатлением преступления, освещают эти поступки и движения трагическим светом случившегося и ничего не могут вспомнить не только плохого, но даже и странного. Весь краткий сюжет его жизни накануне преступления ясен, ординарен и не внушает опасений.

Но нормального мальчика нет. Потому что нормальные мальчики из-за того, что их девушка пошла с парнем в кино, будут страдать, может быть, даже плакать от первой обиды и несправедливости, может быть, они станут писать печальные, упаднические стихи, они могут, на худой конец, даже подраться с тем, кто пошел с его девушкой в кино, хотя этим ничего не докажешь да и девочку не вернешь.

Нормальные мальчики не бьют отточенным, как бритва, ножом в грудь. Нормальные мальчики не убивают.

Значит, ненормальный мальчик! Или ненормальное чувство? Может быть, дикая, ослепляющая страсть на грани помешательства, страсть уже не из области поэзии, а из области патологии...

Володя познакомился с ней на пляже прошлым летом во время каникул. Ей было четырнадцать лет. Ему тоже. Что-то пленило его в Зое, кто знает что. Пути здесь

воистину неисповедимы. Во всяком случае, он стал искать встреч с ней, а потом они стали «ходить» вместе.

Сейчас бытует среди подростков такое выражение: «ходить». Это значит: встречаться, гулять, прохаживаться по центральной улице, идти в парк на танцы. Я не раз слышал: «Валя сейчас «ходит» с Костей. А раньше «ходила» с Сережей». Или: «С кем ты «ходишь»?» В этом есть что-то бытовое, принижающее отношения, куцее, но это существует...

Итак, они «ходили» друг с другом.

Ему, видно, нравилось с ней «ходить». Он готов был ходить каждый вечер, каждый день, ходить и сидеть с ней на скамейках, и печатать ее фотографии, и провожать ее домой. Когда он уехал в лагерь на каникулы летом, он скучал, даже тосковал по Зое. В некоторых его письмах сквозит настоящая острая тоска — тоска любви. «Как скучно без тебя. Как ты уехала, я все время думал о тебе. Вспоминал твою улыбку и лицо. Перебрал в памяти все наши встречи и вспомнил нашу первую встречу. Видишь ли, Зоя, человек — это сложное существо. Его надо понять и узнать. Для этого нужно очень много времени. Я тебя знаю мало, но очень много о тебе думаю и мечтаю».

Действительно, знал он ее мало. Когда он приехал из лагеря старшеклассников, она встретила его холодно, сказала ему, что он ей неинтересен, что он, в сущности, девчонка, а не парень, кисель, слюнтяй, ей такие не нравятся. Володя расплакался, ушел, возненавидел себя и стал «тренироваться» на мужчину. Начал курить, выпивать... Он появлялся теперь в закоулках маленьких деревянных «частных» домов: в Магнитогорске есть такие приземистые, горбатые улочки, дома там с палисадниками, на окнах тяжелые ставни, заборы там высокие, добротные, с тяжелыми и громкими засовами. Около этих домов, вернее, между ними свои закоулки, закутки, там темно, сидят парни, курят, лущат семечки, рассказывают истории, доблестные, с уголовным оттенком. В этих компаниях всегда есть свой заводила, «душа общества» — эдакий сплевывающий, небрежный, блатноватый, с фиксой на зубах, в мятых узеньких брючках, как бы очень взрослый, нагловатый, самовлюбленный. В этих закутках все начинается с легкой выпивки, потом идут «прошвыр-

нуться», потом встречаются кого-то из чужого клана, какого-нибудь «Косоного», или «Леху», начинается блатная, изощренная «толковища», выяснение отношений с игрой в «джентльменство», в товарищество, в некую кастовость («Мы с такого-то района, вы — с такого, у нас свой порядок, свои нравы, у вас другие»).

В этом мирке словно вечный, безлунный вечер, тьма города, его тень. Кажется, и солнце сюда не доходит, так же как не доходят хорошие стихи, песни, так же как не доходит свет нормального, деятельного, живого мира. За парнями и девушками этого мирка следят детские комиссии и милицейские отделения, их увещевают и убеждают; если что-то случилось, сажают, а вечерами они снова сходятся (те, кто остался) и «по новой» вершат свою странную, неюношескую, затхлую жизнь. Я бы сравнил эти переулочки с полуподвалами города. Это своего рода город в городе, затхлый и призрачный городок Полуподвалия.

Володя Дроженин стал чаще появляться в этих местах, хотя органической потребности в таких компаниях у него не было. Он искусственно «мужал». Он хотел пройти свои «университеты». Но в этом клане он был все же случайным человеком... У него были другие интересы, и жизнь его была не здесь. Учился он неплохо, читал Майна Рида и Войнич, рисовал в узких альбомах белые океанские пароходы, скучал по Зое.

Весной, после экзаменов, возмужавший и сильный, человек уже как бы нового качества и новой психологии, походкой героя «Великолепной семерки» он подошел к Зое и решительно сказал, что хочет «ходить» с ней снова. Она поколебалась и согласилась. Начался новый этап, но уже через вечер Зоя обнаружила, что едва только они остаются вдвоем, как Володя перестает быть сильным мужчиной, смущается, мямлит, говорит что-то не то. Нет, на сильного мужчину он все-таки не тянул. И Зоя параллельно стала похаживать с другим. Он не знал, как теперь быть. Что-то объяснить ей, повзрослеть всерьез, обрести дар убеждения и мольбы — этого он не то чтобы не умел, не пробовал, не думал об этом, это было не принято в том полуподвальном царстве... Был принят мужской разговор, разговор с позиции силы. И по законам мужского разговора он заявил ей, что если она будет

«ходить» со всякими, то он ее прирежет... Ей это польстило, но не испугало. Такие обещания она уже слышала, если и не обращенные к ней, то к ее знакомым, подругам постарше. Ей не нравился Володя, но она встречалась с ним. Зачем? Она и сама не знает. Она лгала Володе. Лгала не из-за сострадания к его любви и слабости, а просто так, механически, по привычке... Она знала: чем больше будешь лгать, тем легче выкрутиться. Так ей казалось.

Ей не нравился и тот, второй...

В школе твердили: «духовный облик», «идеалы», «интеллект». У ее отца, смертельно избивавшего мать, был «духовный облик», у ее отчима, который сидел в тюрьме, был «духовный облик». Правда, были люди, которые жили иначе. Но их духовного облика она не знала.

Ей нравились спокойные и уверенные в себе парни, которые понимали подход к девушке, знали веселые анекдоты и в драке не суетились, не махали попусту руками, а били точно и наверняка.

Гибель Васьки Антонова испугала, но не потрясла ее. Через несколько дней после его смерти она встречала какой-то праздник в компании взрослых, подвыпивших ребят. Под утро мать почти силой увела ее.

Но вернемся к истории ее отношений с Володей Дрожениным.

Однажды он назначил ей свидание, хотел пригласить в кино на «Бродягу», и она согласилась. Но на условленное место не пришла. Он встретил ее по дороге в кино, спросил:

— Почему не пришла?

— Да так.

— В кино пойдешь?

— Пойду. С подругой.

Он расстроился, чуть опоздал на сеанс и увидел ее с «подругой». «Подругой» был парень года на три-четыре старше.

Володя пытался смотреть фильм. Бродяга ходил, улыбался, воровал, а он смотрел не на бродягу, а на них. Они сидели впереди на ряд. Минут через двадцать, измаявшись и устав, он вскочил, выбежал из душного кинотеатра, прибежал домой, взял нож — столовый, заточенный доостра. Затем он занял у соседки трешник, купил поллитра водки и выпил половину. Его развезло. Потом

зашел в магазин, купил стакан сухого вина. А фильм все шел. Две серии. Вернулся он к концу фильма. Снова смотрел на них, расстраивал себя, взбадривал, озлоблял...

«Мсть,— говорил он себе.— Мсть, мсть. Настоящая мсть. Мсть мужчины».

Они вышли из кино. Он за ними. Зоя его увидела, чуть занервничала (вообще-то она на редкость спокойна, даже флегматична), сказала спутнику: «За нами идет тут один». Спутник сказал: «Ну и пусть... Как пошел, так и отвалится».

Володя в несколько шагов догнал их. Нож уже держал в руке. Развернул на себя парня, тот не успел даже слова сказать, не среагировал. Володя ударил его один раз. Сверху. Точно. Нож вошел странно легко, как в масло. Володя мгновенно отрезвел и похолодел. Парень еще шел несколько шагов, потом, ничего не сказав, пополз вниз и сел на землю, свесив голову. Володя постоял, поглядел на него, еще ничего не понимая, потом увидел странно блеснувший белый подбородок, вяло опущенные руки, обвисшие пальцы. Тогда он рванулся с места и побежал. Хотел на поезд, в другой город, в другой мир, во что-то другое, где ничего этого не случилось. Он еще не знал точно исхода.

Но иного города не было. Было только то, что случилось, только это. Теперь это стало реальностью. Уже и опьянение прошло, и игра, и мсть. Уже приходила реальность, реальность совершенного и реальность предстоящей расплаты. Он побежал домой, забрался на чердак, спрятал там нож. Потом, задохнувшись, выскочил на улицу и снова побежал, точно еще не зная куда. Он останавливался, блевал в подворотнях от водки, от гнусной, ломающей его тоски, от никогда не испытанного им пронзительного, опустошающего страха. Блевал, как сосунок, как шкодливый мальчишка.

Но в том-то и дело, что он уже не был ни сосунком, ни шкодливый мальчишкой. Нормальный мальчик Володя Дроженин уже не существовал. Теперь он вступил в новое качество — он был убийца.

В поезд он не сел, до другого города не добрался, просто пришел домой, где его уже ждали. Зоя показала на него. Его спросили, где нож, он задумался, повел головой, сонно полузакрыв глаза, после секундной паузы полез на чердак вместе с людьми, которые пришли за ним. На следствии говорил все, как было, не отпирался, смотрел вялыми, постаревшими глазами. Дали ему восемь лет.

Я был у него в тюрьме, долго разговаривал с ним. Я знал: нормального мальчика нет, как не было и до того дня патологического мальчика, безнравственного, обещающего такую смертельную подлость. Не было и безумного патологического чувства. Была, казалось бы, нормальная первая любовь, со всеми ее атрибутами, со всеми ее огорчениями, обращенная, по всей вероятности, не к той, к которой надо. Но здесь ведь не бывает выбора, пути здесь непонятны, подчас темны. Так что же все-таки было?

Вот он сидит предо мной, говорит. Слушаю его. Пытаюсь что-то понять. Глаза темные, посажены глубоко, лицо маленькое, ссохшееся, как грушка. Иногда разговаривает вятно, иногда задавленно, неясно. Чувствую: страдает, находится на пределе отчаяния и одиночества. Но из-за чего? И вот тут-то я начинаю нащупывать главное.

Страдает он из-за чудовищно непривычного для себя положения, из-за страха перед будущим, оттого, что нить привычной, естественной его жизни навсегда разорвана... И кроме того, потому, что он убил человека. Да, он жалеет, он вспоминает с ужасом, он говорит: «За что я его? За что же я его?» Но это не стало главным, трагическим контрапунктом всей его нынешней жизни. И я начинаю понимать: он просто еще не ощутил всей необратимости случившегося. Он не вырос даже до того, чтобы нести не уголовную, не эмоционально-преходящую, временную, а подлинную, огромную, на всю жизнь нравственную вину и ответственность за случившееся. Он трагически безответствен. В нем не воспитано понимания ценности человеческой жизни. Не хулиган и не уголовник, пусть даже в минуту опьянения и обиды, он, почти не

задумываясь, преодолел барьер, который не под силу преодолеть другому человеку, наделенному настоящей ненавистью, тоской и непримиримостью, даже справедливой.

Нормальный мальчик... Оступился... В первый раз... Действительно оступился. Но как? Взял и отнял у человека жизнь, у восемнадцатилетнего, не ожидавшего смертельного удара. В пьяной, шалой голове могло родиться такое решение. Пусть оно плод возбуждения, ярости, недомыслия — оно родилось. Вот в чем социальная опасность безответственности.

Не попади Дроженин на скамью подсудимых, он бы и не задумался даже над мерой своей ответственности за отнятую жизнь, над мерой ответственности, даже и на сотую долю не осмысленную им. Здесь не столько преступное злоумыслие, сколько преступное недомыслие. Какой-то воинствующий, опасный инфантилизм. Это не так просто распознать, и с этим не так легко бороться. Человек ведь не так мало может — и в добрую и в страшную сторону.

Возможно, об этом не говорила Дроженину хорошая учительница Лилия Евстифеева. Она говорила о стихах, о прозе, об искусстве, ходила с учениками в кино, спрашивала, как дела дома. Была добросовестна, заинтересована в них, честна. Они ее любили и любят. Вот и сейчас Володя Дроженин говорит: «Она была самая лучшая учительница... Привет ей...» Но и сама не понимала, что так бывает не только в кино или в книгах, а и в жизни. Кто-то расскажет — не поверишь, не задумаешься, а в учебниках об этом вообще ничего. Сейчас она думает об этом, она говорила мне:

— У нас в школе как-то отодвинуто гуманитарное начало, не в смысле того, что мало часов на литературу (хотя и здесь нас, гуманитарников, ужимают), а в более широком, человеческом. Некоторые говорят: без Лермонтова можно жить, а без технических навыков нельзя. И мы немножко отодвигаем Лермонтова, и занимаемся «техническими навыками», и не замечаем, что забыли о других навыках — человеческих. Мало говорим о жизни, а если говорим, то плоско, стандартно: будь хорошим, учись на «отлично», подавай пример... И в характеристиках ни одного живого и конкретного слова о человеке,

о его особенностях, нравах, характере, а ведь само-то название — характеристика! А пишут вот как: хороший товарищ, аккуратен, исполнительен, вежлив со старшими. И все хорошие товарищи, и почти все вежливы со старшими. И ни слова о том, какой же это человек. Своенравен ли, мягок ли, уверен ли в себе или застенчивый. А если хороший товарищ завтра зарежет человека, все поразятся: «А мы ведь не знали, нам он казался другим». Я никогда не забуду, как мы в школе проходили такую науку — психологию. Мы еще называли презрительно ее «психоложество». И действительно, это была чистой воды психоложество, что-то абстрактное, необязательное, устаревшее, не имеющее ни к нам, ни к людям вообще отношения. Бесконечно повторялось: «Наш советский человек отзывчив, добросовестен, принципиален, на работе и дома показывает пример...» Все без различия. Как в этих характеристиках. Говорят о Фрейде, ругают Фрейда, а мы его не читали, может быть, он ошибался — мы не знаем.

Об этом говорила учительница Володи Дроженина. Она казалась думающим человеком, и она много страдала от того, что произошло. А мыслящие люди, когда страдают, становятся глубже, старше и печальнее.

Ей дали выговор. По-моему, все это слишком серьезно, чтобы отделяться выговорами. Это ведь для самоуспокоения, и выговоры здесь так же формальны, как безликие характеристики.

Случилось — неси ответственность.

Ответственность!

И вновь она думает об ответственности, но о другой — о моральной ответственности каждого, даже, казалось бы, случайного человеческого шага.

— Не потому уезжаю отсюда, что сдаюсь, — говорила мне учительница, — просто тяжело, да и мать у меня в Саранске... Буду теперь смотреть на каждого своего нового ученика и думать: «Кто ты? Кто ты? Двоечник, троечник, четверочник? Кто ты есть на самом деле, чего ты хочешь, что любишь, что тебя гложет? Кто ты есть, нормальный мальчик или нормальная девочка восьмого класса? Ты умеешь решать задачи, Пушкина знаешь наизусть, помнишь кое-что из истории средних веков, а понимаешь ли ты простую ответственность человека, жи-

вущего на земле? И не только за весь наш мир, как об этом часто и хорошо пишут очеркисты,— это тоже важно и необходимо,— за весь мир. Но еще важнее, хотя и скромнее, и с этого все начинается: ответственность за себя».

Она помолчала, посмотрела на меня, усмехнулась грустно:

— Не сердитесь, поймите правильно. Я знаю, Дрожнину нет оправдания. До сих пор в голове это у меня не укладывается... Никак не укладывается. Ведь такой был неплохой, в общем, даже добрый, нормальный мальчик...

1965

Мальчишки без девчонок



Отступление от гармонии

Уже не в первый раз в этом прибалтийском городке и, кажется, знаю здесь все: и узкую главную улицу, и современную, и средневековую, с окнами в металлических жалюзи, с потаенными, темными двориками, которые столько перевидели за долгие свои века и любовей, и разлук, и войн...

Но главное в этом городке — замок. К нему идешь зелеными весенними аллеями старинного классического, на английский манер, парка, с наядами и полуоббитыми купидонами, а он все как бы не приближается, маячит вдалеке, не становясь реальностью, и ты словно соприкасаешься с тайной, с чем-то бывшим задолго до твоего существования, странно знакомым и неведомым.

А когда приближаешься к тайне, то обнаруживаешь ее отсутствие. Просто развалины, каменные проломы в траве — и все в таблицах, в справках, в пояснениях. На камнях парочка. Спугнутая мною, парочка исчезает, тает, будто и она мне привиделась.

Ощущение покоя и легкой печали охватывает меня в этом иллюзорном замке, в замке, которого нет. Внизу река, кинжально узкая, блестящая, и терпкий запах наливающихся почек у кустарника над рекою; и такая в мире разлита тишина, что боязно дышать и все лучшее в

тебе, глубоко затаенное, распрямляется и оживает, точно эти почки. Ты растворяешься в этой тишине, в этом лесе, реке, замке, в сыроватой внешней земле, в веках, прошествивших над этим замком, в веках, будто бы без войн, без человеческого разлада, без одиночества, без потрясений...

Странное и почти физическое ощущение гармонии. Это будет продолжаться еще минут десять-пятнадцать, когда я пойду знакомым маршрутом — парком вниз, выйду на улицу, пройду мимо вокзала, где хрипят старые «икарусы» и люди спешат, но по-эстонски спокойно и собранно, с баульчиками и клетчатými чемоданами, в порядке живой очереди, согласно купленным билетам...

Покой уходит, а гармония все еще остается, обретя теперь свойство движения.

Но вот я миную вокзал, сворачиваю, оказываюсь в большом сумрачном дворе. Точнее, это не двор, а площадка, полуотгороженная от улицы забором, деревьями. Еще несколько шагов — и глухая стена... Подхожу к массивной двери, нажимаю кнопку звонка, кованая дверь почти бесшумно растворяется; караульные тщательно проверяют документы, и вот узкий, как пенал, двор. Тоненькие деревья в железных кадках, тишина, беленные известью строения. Так же тихо, как в парке, не видно людей, но гармония кончилась.

Деревья растут тут не из земли, а будто бы из железа, мальчишки не гуляют с девчонками...

Девчонок нет.

А мальчишки отбывают срок, испугают вину.

Здесь живут виноватые мальчишки.

Коля Лепик

Я пришел в «спортчас». Вместе с воспитателем садимся на трибуну. Две футбольные команды сражались изо всех сил, а на скамейках сидели остальные, болельщики. Если б я появился здесь впервые, наверняка игра бы прекратилась (пусть ненадолго) и меня бы пристально и оценивающе изучали: что за фраер, откуда, зачем, за кем?

Появление в колонии нездешнего человека — всегда камень, брошенный в воду. Идут круги. Событие обра-

стает догадками и предположениями... Но ко мне уже привыкли и, лениво глянув, продолжают болеть. Впрочем, не все смотрят на играющих. Есть и такие, что лежат на скамейках, раздевшись до пояса, блаженно покуривают, загорают. Весна все-таки. И отдых. И в этот час ты никому ничего не должен: ни воспитателю, ни контролеру, ни мастеру в цехе, ни учителю... Загорай себе, пока солнышко светит, пока не закатилось.

Ищу знакомых. Последний раз в этой колонии я был два года назад. Издали не узнаешь знакомых, все они одинаковые, стриженные, в серых штанах, в грубых ботинках. Узнаю немногих.

Своеобразный человеческий конвейер работает. Одни уходят, отбыв срок, освободившись. Другие с воли входят в эту жизнь, в этот быт и режим, растворяются среди других таких же, как бы похожих.

Но похожи только статьи Уголовного кодекса. Люди все разные.

Я узнаю в этой массе Колю Лепика. Он тоже узнает меня, приветливо кивает, степенно идет ко мне, садится рядом на скамейку.

— Ну как жизнь?

— В норме.

— Когда домой?

Зеленые круглые глаза его затуманиваются.

— Еще побарабанить надо. Один год восемь месяцев двенадцать дней.

— Записываешь?

(Некоторые ребята делают зарубки на стене, а кое-кто — отметки чернилами на кисти.)

— Нет, все в горшке.— Он стучит пальцами по лбу.

— Ну а Лева как?

— Он-то в порядке. Уже дома.

— Ну а Пратс?

— Пратс освободился и по новой загремел. Теперь уже во взрослянке.

— Как же это он?

— А кто его знает! Сыпанулся на каком-то локшовом деле, дурачок.

— Ну а Левка не вернется сюда?

— Никогда! — с уверенностью говорит он.— Левка раз обжегся — всё, кранты...

— Ну а ты?..

— Что, я себе враг?

Лицо его выражает непреклонную уверенность, железную волю и одновременно снисходительность ко мне, к моим странным, удивительным, непонятым сомнениям. Он улыбается. Я протягиваю ему руку, он от души жмет ее обеими руками, отходит. Садится с ребятами. Издали слышу, как ребята говорят ему:

— Чего ему?

— Да так... Поговорили...

Он закурил, посмотрел на поле; на лице его все то же снисходительное выражение: чего, мол, возьмется, штуку закатить не могут!

— Позорники! — кричит он громко и добродушно. — С поля!

Уже после отъезда я узнал, что из колонии был совершен побег. Через две недели бежавший был пойман, возвращен и получил добавление к сроку. Это был Коля Лепик.

Из разговора с воспитателем Лялиным

— Не скажу, что все они дурные, — говорил мне воспитатель Лялин. — Есть исключительно спокойные ребята, аж удивляешься: как они дошли до жизни такой? Есть исключительно испорченные, нахальные, дерзкие, я бы даже сказал, странные. И то неудивительно: кому же здесь быть, как не таким? И это лично меня не пугает. Но вот в чем трудность — не знаешь, чего от них ждать. Вот он передо мною сидит. Глаза, как говорится, чистые, лучистые, разговаривает толково, по делу. Но, думаете, я знаю, что он завтра вытворит? Не знаю я этого... А он сам знает? Да никогда! Вот в том-то самая большая трудность. Говорите, интуиция? Вполне согласен. Интуиция с ними нужна, можно сказать, нечеловеческая. Вольтера помните по тому приезду? Уж, казалось, парень культурный, восьмилетку окончил, твердо шел на досрочное — и то ведь чуть не согрешил. Да, да, чуть не убежал от нас воспитанник Вольтер... Да только раскусил я его нехороший замысел. Интуиция, прямо скажу, сработала. А вообще-то попадают такие, как... эти... ну, которые все

время цвет меняют. Да, да, точно хамелеоны! Тут набегашься, не то что название — свою фамилию забудешь. Сегодня он тихоня, завтра он черт без хвоста. Вот и попробуй к нему приспособиться.

Так говорил мне воспитатель Лялин, коренастый человек в мундире старшего лейтенанта, с простоватым, добрым, усталым от ночных бдений лицом.

Возможно, он был прав. Даже точно прав. Действительно, как узнать, что они вытворят завтра? И не раз я слышал о трудностях подобного рода и в других колониях, от других воспитателей. Вместе с тем слова воспитателя отчетливо обнаруживали некоторую растерянность воспитателей-педагогов перед темным, причудливым, взрывным миром психологии этих ребят.

Мир этот мало высвечен светом общественного, научного, художественного и просто человеческого внимания. Тем светом, что так щедро исходил от личности и работ Макаренко. Этот генератор и сейчас еще не изработался... Только наступили другие времена, и колонию населили другие люди.

Кто они? Вот первый вопрос. И, уж поняв это, можно осторожно всем миром подступаться ко второму: как с ними быть?

Вольтер

Вольтер была фамилия этого парня. Ни больше ни меньше. Когда он пришел впервые в колонию, его ребята спросили:

— Ты в честь пистолета, что ли, Вальтер?

Он ответил с достоинством:

— Я Вольтер, а не Вальтер... От философа.

— Он кто тебе — пахан?

— Дед.

— Ну и не гоношись. Тут у одного дед — народный артист, а внучек сидит, молчит в тряпочку.

И Лева Вольтер, внук философа, не стал «гоношиться»...

Я познакомился с ним в свой первый приезд сюда. Привлекла фамилия. Кого только я не встречал в детских колониях, каких только кличек не слыхивал, но ни энциклопедисты, ни Вольтер ни разу не попадались. И мне

захотелось поговорить с Вольтером. Его должны были вызвать в час отбоя. Было уже поздно, колония отходила ко сну, но Вольтер еще топтался в зоне, курил, прислушивался к мирным звукам за стеной: шуму автобусов, лаю собак, женским голосам. Какая-то спокойная, не юношеская даже печаль, а точнее, скорбная осмысленность того, что с ним произошло, была в его лице, в его позе, в том, как он медленно шел по зоне, ожидая вызова. Я часто замечал у ребят в подобных местах смятенность души, тоску и страх, особенно перед сном, когда работа, учеба, местные заботы, интриги, вражда и дружба, отношения друг с другом, прогулки отходят на второй план и накатывает вдруг это темное, бездомное, что потом затихнет, уйдет в подсознание, в сон и лишь ночью, на койке разрядится стоном, внезапным всхлипыванием, беспомощным ругательством или коротким вскриком «Мама!».

Да, они учатся и работают и даже играют в футбол, и раз в неделю кино; но на вышках часовой, и железная зона, и редкие деревья растут как бы не из земли, а из железных кадок, и срок нацарапан чернилами на кисти. Как они ждут дня своего освобождения!

Первый раз я побывал в детской колонии больше десяти лет назад. Заболел невеселой этой темой, впервые написал об этом на страницах «Литературной газеты» и всякий раз, во всякое новое посещение, ловлю себя на противоречивом, остром ощущении, на ощущении несовместимости пятнадцати-шестнадцатилетних мальчишек и того места, что стало их временным домом. Впрочем, каким там домом! Жильем, местом пребывания, а точнее, «местом лишения свободы». И как ни оживляй его кино и футболом, как его ни называй, оно останется тем, что есть.

Но утром я буду перебирать картотеку в канцелярии. И прочитаю краткие записи: Лепик — статья такая-то, Вольтер — статья такая-то. Мало что говорящие несведущему человеку, безликие, холодные обозначения. За ними след трепетный и страшный, железный след по живому. И вот уже отрешаешься от ночного барака и от детского потаенного вскрика, и перед глазами лишь эти обозначения, эти цифры, как бы набухшие чужим горем. И я мысленно вижу тех, кому пришлось столкнуться с одним из таких мальчишек на узкой дорожке.

Видю мысленно парк культуры в Душанбе, наглых,

приблатненных юнцов, которые, скучая, выскивают глазами того, к кому можно было бы придраться. Вижу их дегенеративные, приплюснутые кепочки, их глаза, тупые и равнодушно-злобные, слышу их изощренный ленивый мат. Прибежала собака, они оживились, стали кидать в нее камни на точность. Постепенно развеселились, ожили. И вот уже раздается их громкий детский смех. Кто-то решился им крикнуть: «Что делаете?» Они посмотрели на него без выражения, кто-то процедил: «Пошел ты, козел, подальше, покуда цел...» Все это достаточно привычно, но меня пронзает предчувствие беды.

А в конце вечера я услышу дикий треск рекламных щитов около танцплощадки, чей-то хриплый нечеловеческий вскрик, чуть позже — длинную милицейскую трель. Дальше — метнувшиеся к выходу фигуры, да, те самые... И кто-то догоняющий. А у щитов лицом вниз, поджав под себя ноги, парень в белой рубашке с большим, кирпичного цвета пятном на спине. Кто-то хочет поднять его, но кто-то другой кричит: «Нельзя, нельзя! Сейчас приедут...» Потом еще один человек окликает его по имени, трогает, берет за руку. И мы все видим эту падающую, неживую руку и отворачиваемся, все мгновенно поняв, поняв, что окликать его уже бесполезно.

Потом виновных поймают, определяют степень вины, срок. И они попадут вот сюда, в колонию... А что будут делать родители того, упавшего у щитов?..

И я мысленно пытаюсь соединить два воспоминания. Первое — от ночного барака, от спящих ребят, второе — от парка в Душанбе. Два отдельно живущих воспоминания. Соединяются они трудно. Но их надо соединить, как соединяется преступление и наказание, вина и искупление ее.

Рассказ Вольтера

— Работал я до срока на заводе в Таллине. Специальности не было, был подсобником-разнорабочим. Носили всякую дрянь в баллонах, в том числе и спирт. Был я к этому делу вначале без интереса. Потом приходит ко мне один ханыга с нашего завода, Афанасий, говорит: «Что же ты как не родной ходишь?» А я говорю: «С какой

стать я тебе родной буду?» — «А с такой, — говорит, — что выпить надо». И достает бутылку. Я лично отказываюсь. Он мне: «Ты кто, работяга или шляпа?» Я ему: «Отзынь от меня...» Вот такой разговор у нас состоялся. В конце он мне говорит: «Давай выпьем и будем товарищами». Ну и выпил я с ним. Закосели мы. Он говорит: «Хочешь приварок иметь?» И стал накручивать насчет спирта. Уговаривает меня таскать понемногу, аккуратно, остатки. Много ль человеку надо? Банку спирта наскреб, и вся забота. Потом он ушел. И еще несколько раз приходил, испытывал меня на смелость.

Я все отказывался, а потом стал помаленьку приворовывать, самую малость. По капельке. И стал я каждый вечер пьяный. Ходили мы с Афанасием по дружкам, там мы пили пунш. А пунш — это спирт, подкрашенный сиропом. Понравилось. Привык. Мать скандалит, кричит: «Я на завод пойду!» Ну конечно, не пошла. Тут стали меня накручивать ребята на более крупную работу. Не сделаешь, говорят, скажем, что спирт крал. Начался у нас разговор нехороший. Слово за слово. Вышли во дворик. Я на всякий случай битую железную прихватил. Тут и получилось...

Он замолчал, а я не стал расспрашивать о том, что же получилось.

— Ну и позалетел я сюда. Сначала растерялся, потом привык. Хотя привыкнуть, конечно, нельзя. Понял здешние порядки, понял, что один тут пропадешь... Что надо найти себе друга, по-здешнему — кента. И желательно не одного. Что среди своих кентов надо быть в авторитете, иначе станешь мелкой сошкой.

— Ну а воспитатели знают об этих ваших кентах?

— Знают, конечно.

— Ну и что?

— Ничего. А что с этим сделаешь?

Из разговора с воспитателем Лялиным

— Конечно, знаем. Сколько лет я работаю в колонии, это существует. У нас официальное деление на отряды. У нас есть актив, но рядом с этим существуют своего рода товарищества, можно сказать, тайные (хотя мы все эти

тайны знаем). Группы ребят, объединенных между собой. Иногда двое ребят объединяются, иногда пять, иногда гораздо больше. Они себя называют «кенты». У них «общий стол», делятся между собой тем, что имеют, в случае чего, стоят друг за друга. Нередко и продают друг друга. Как я лично к этому отношусь? Одним словом не ответишь. Бывают часто и нехорошие вещи, особенно когда речь идет о деньгах и посылках. Тут частенько все равенство забывается. Кто посильней да похитрей, хапает себе... Но это, так сказать, вопреки их неписаным правилам. Есть кое-что в этом и положительное, как ни странно... Все, что в котле, общее. Я за друга, друг за меня. Кроме того, мальчишкам нужна тайна, особенно таким, как эти, привыкшим к своей, неизвестной взрослым жизни. Ребята игру любят. Так лучше пусть будет игра в кентов, чем игра в грабителей и убийц. Сначала боролись с этим, подавляли, раскалывали ребят изо всех сил. Ничего не помогло, а приняло только более уродливые, по-настоящему скрытные и подчас жестокие формы. Пусть он называется кент, но пусть он будет товарищ. Вот что я об этом думаю.

Рассказ Вольтера. Продолжение

— В общем, дела мои шли ничего. Учился я нормально, работал. Кажется, все в ажуре. Только чем дальше, тем больше я начал скучать о доме. Все ночи напролет думаю: зачем я здесь? Из-за какого дерьма я вляпался и жизнь свою надорвал? Не спал я в тот период ночами и всякие планы обдумывал. И вдруг встряла мне блажь: уйти в побег. Разработал я план, как уйду из зоны, как пройду через город, как попаду на поезд, а там — Ленинград. Девчонка у меня была в Ленинграде. О плане своем никому, даже самым близким кентам. А сам готовлюсь, жду момента.

Встречает меня однажды воспитатель Лялин, отводит в сторону, говорит: «Ты чего на футбол не ходишь? Болееешь?» — «Да нет, — говорю, — надоело!» — «Что, футбол?» — спрашивает. «Да нет, все здесь надоело». — «Ну и какой вывод?» — «Еще не допер до вывода».

Так сказал, а сам поворачиваюсь — и назад, в барак.

С тех пор он все на меня поглядывал, вроде бы со значением. Однажды он вызывает меня к себе и говорит: «А я знаю, что ты задумал». — «Вы-то знаете, а я не знаю». Он говорит: «Я тебя предупреждаю и даю совет. Осталось тебе два года, добавишь еще два. Если так понравилось тебе здесь... Зачем сам себе жизнь портишь?»

Через неделю мать приехала, видно, он ей чего-то написал. Привезла она мне всего, успокоила. Ну и отошел я малость от своего плана. А потом и вообще на него плюнул. Ну а теперь годик мне остался. Основное отсидел. Только к концу дни больно длинные, да и ночи не коротки. Как в Заполярье... Так вот ждешь, ждешь, глядишь вперед, надеешься. Только туманен берег.

Так он и сказал — «туманен берег». Он говорил, а я вспоминал всех тех ребят, которые вот так же, с тоской и страстью, ждали того дня, первого дня свободы. Он наступал, а с ним и самое трудное.

«Почему самое трудное?» — спросите вы.

Человек заполнил обходной лист, сдал книжки в библиотеку (как на предприятии перед расчетом или как в доме отдыха перед отъездом), затем попрощался с друзьями: «Ну, кирюхи, до свидания на свободе». — «На воле свидимся, и чтоб обратно ни ногой... Порядок?» — «Порядок!» Скажут тоже — обратно ни ногой! Да он лучше превратится в малышку муравья и будет ползать по земле под ногами у людей и таскать на спине здоровенные соломины, чем вернется сюда. Никогда!

Начальник колонии вручает ему документы, желает удачи... И вот он на вокзале. До поезда еще долго. Подходит к вокзальному буфету, просит бутылку пива... Первая сладкая пена свободы.

«И вы, нехорошие темные гаврилы с пол-литрой, отзыньте от меня, не прикасайтесь, не подходите и не мигайте своими мутными фарами! — мысленно проговаривает он страстный, загодя заготовленный монолог. — У тебя своя компания, у меня своя... По рублику, говорите? Я знаю эти дела. Мне это один раз уже вышло поперек печенки».

Так очень громко говорит он сам себе, убеждая и успокаивая, счастливый, захмелевший от пива, от прекрасного, нереального, полузабытого запаха вокзала, дивного запаха гари, сухого гравия, пирожков, машин, тройного

одеколона, пота, спешки, неповторимого, пряного, с легкой горчинкой запаха свободы.

Сейчас он сядет в поезд и поедет... Куда? Домой. Что у него дома? Этого я не знаю. До вокзала я следил за ним, я повторял каждый его шаг. Я подталкивал его своим взглядом, и если бы мой взгляд имел силу графической линии, то он вычерчивал бы прямую, только прямую, без кругалей и загибов. Мой взгляд молил его: не ошибись, друг, сядь в этот поезд, поезжай этим маршрутом!

Но вот он сел в поезд, я уже не вижу его лица, слышу только шум вагонов, вижу только мерцающий, уносящийся в полутьму неизвестного пространства огонек. Что дальше? Этого я уже не знаю. Если от колонии до вокзала дорога у всех одинакова, от вокзала до дома у каждого свой кружной, долгий путь. До дома? У каждого ли из них есть дом?.. Наутро его приглашают в милицию, разговаривают спокойно, хорошо, просят учесть, дают совет, делают напоминание, желают хорошего начала... Короче, чтоб не баловал. Понятно? Понятно! Об чем речь! Его устраивают на работу. Надо работать.

Работать не очень хочется. Не слишком. Нароботался там. Хочется отдыха, тишины, приятных голосов. Громкой музыки. Зачем ему этот нудный шум станка? Но там попробуй не поработать, там нет выбора. А здесь... Можно ведь и не пойти... Что будет? Руготня, упреки, советы! Ха-ха, слышали мы такие вещи! Последнее предупреждение? Ну, это и в футболе бывает: покажут штрафнику желтую карточку, ну и что? А он кивает головой: извините, понял, больше не буду. Ну и что? Играй себе дальше, а мы поглядим, как у тебя получится.

Прогулял, предупреждение, собрание: да, да, конечно, осознал, понял, больше не буду никогда. (Эту «науку» он знает, этому еще в колонии научился: греша тихо, кайся громко и внятно.)

А после собрания куда?.. К кому? Неужели не найдутся в этом городе ребята, которые помнят, которые знают, которые всегда одолжат своему человеку пятерочку, а то и красненькую? И вот встретились. Долго он, однако, крепился, не ходил к тем ребятам. А говорят, безвольный! Но теперь, когда плохо, куда пойдешь?

— Все целы?

— Почти.

— А где Косуля?

В армии, в Забайкалье.

— А где Лапшин?

— Сел.

— А где Ноздря косматая?

— В техникуме. Большой ученый. Бросил пить, начал заниматься.

— Ну что, впрошвырку?

— Пошли.

И пошли. Поговорили. Помолчали. Хорошо б что-нибудь придумать... Пошли в кафе «Молодежное» — не пустили. Мест нет. Пошли в шашлычную. Там взрослые мужики сациви едят, боржомом запивают.

Пошли в подъезд. Один вечер в подъезде пили, второй, третий... И все так тихо, культурно, без глотничества, «без скандалов и кинжальных драк».

— А назавтра башлей хватит?

— А не хватит — достанем.

— А где достанем?

— А где раньше доставали.

— А как?

— А вот так... Миллион — через пятак. Не надо лишних вопросов...

Я всегда верил, что из всех уроков самые запоминающиеся — уроки жизни. Человек совершает ошибку и платит за нее, платит жестокой ценой, и уж, казалось бы, не для того, чтобы повторить ее и заплатить вновь, вдвойне. Казалось бы...

Кое-кто из ребят, освободившись после срока, получает новый срок и возвращается назад. Чаще всего уже во взрослую колонию. Здесь множество причин: неустройство, отсутствие дома, старая среда, от которой не так-то просто оторваться... Все это важные причины. Но это причины извне. Есть еще причины изнутри. Причины, не зависящие от других. Безответственность человеческая, гражданская? Да, конечно. Но это слишком широкое понятие — безответственность. Скорее, это нравственная неусвоенность урока.

От чего это идет? От того, что школа была легка? Нет, она была достаточно тяжела, даже для самых толстокожих. От отсутствия доброй воли? Нет, он искренне был уверен, что никогда не начнет снова. От чего же?

От того, что нравственные навыки (и, как правило, трудовые), не воспитанные с детства, слабые, оказались беспомощными перед инерцией. Перед инерцией того образа жизни, тех привычек и той среды, которая и вынесла его в колонию.

Все возвращается на круги своя.

Как он не хотел, как он обходил эти круги, а на самом деле с самого первого дня свободы медленно и почти бессознательно полз к ним, чтобы незаметно переступить кольцо и оказаться в нем. Взаперти. В одиночку. Потому что, сколько бы ни было у него кентов, перед следователем он один.

Вот почему, узнав, что Лева Вольтер освобожден, я с тревогой и интересом думал о его судьбе. И когда я попал в Таллин, я позвонил ему. По моим подсчетам прошло полгода со дня его освобождения. Я волновался, набирая номер, ждал с холодком, что вот мне сейчас скажут с той напряженной отчужденностью, которая никогда не сулит ничего доброго... «Кто спрашивает?.. Его нет здесь... Да, он уехал надолго».

— Кто его спрашивает? — настороженно ответил вопросом на вопрос молодой женский голос.

Называю себя.

— Вы встречались с ним в колонии? Знаю,— сказала женщина.

— Так все-таки можно его к телефону?

— Его нет сейчас.

Наступила пауза... Что-то громко верещало в трубку, точно ветер в песке.

— Когда он будет?

Снова пауза, раздумье и, наконец, ответ:

— Утром. Он сегодня в ночную смену на заводе. Что ему передать?

Мне хотелось ей сказать, что я бы с удовольствием увидел Леву и ее, что мне хотелось бы о многом порасспросить, но я подумал: зачем это ему сейчас? Зачем на мгновение возвращать его туда, откуда он ушел? И я сказал:

— Передайте привет. Просто был здесь проездом.— И еще спросил, не удержавшись: — Простите, а с кем я говорю?

— Это Оля Вольтер, его жена.

- И давно вы носите эту фамилию?
- Уже второй месяц, — сказала Оля Вольтер, — а точнее, сорок восемь дней.
- Здесь тоже был точный счет.

Воспитание Лопаты

Смирнов, Смирный, он же Лопата. Смирнов — фамилия; Смирный — кличка, по фамилии и, возможно, по контрасту; Лопата — не знаю отчего, может быть, оттого, что руки у него широкие, как лопата, с толстыми, перебитыми в драках пальцами. Страшно представить себе такой кулак, словно чугунное ядро, опускающееся на тебя. Разговаривает он неохотно, как бы ожидая подвоха от собеседника. Прежде чем сказать слово, делает глотательное движение, кадык на толстой загорелой шее ходит, движется, слово ворочается в этом раструбе, словно бильярдный шар, прежде чем тяжело выскочит из глотки.

- Че говорить?.. Ну, было, да прошло...
- Первый раз ты когда сел?
- Маленький я тогда был, в начальной школе учился.
- За что?
- Порезали одного дурака. Ребенок я был, можно сказать, жизнь не понимал.
- Ну и с тех пор... еще не раз?
- Бывало.
- Видно, тебе здесь нравится?
- Жить всюду можно.
- У тебя восемь нарушений. Последнее за что?
- За водку.
- Выходит, и здесь пьют?
- Подвезло... Один принес, вольнонаемный.
- Так что жить можно?
- Обязательно. Я лично везде уживаюсь. — Он неожиданно улыбнулся, обнажив редкие крепкие зубы, и добавил: — Характер у меня спокойный.

Где только этот парень не побывал! Был в детприемнике, имел десятки приводов, затем вооруженный грабеж... Колония... Затем освободился, затем драка с тяжелыми увечьями — и снова колония. В морском районе Таллина он вечно таскался с группой ребят, всегда пья-

ных и готовых драться с кем угодно и по любому поводу. Они были хулиганы, «глотники». Держались стаей. Однажды на танцплощадке они зацепили моряков. Моряки, здоровые ребята, бились крепко, но Лопата избил двоих страшно, так что моряки попали в госпиталь. В милицию, правда, они не обратились. Выздоровев, они разыскали Смирнова, и была новая страшная драка, уже со свинчаткой и ремнями. Лопата получил новый срок.

В нем словно заряд агрессии сидит, мощный заряд; только прикоснись к невидимой кнопке — и эти ручищи-молоты начнут свою страшную работу, превращая человеческую плоть в месиво. Ему, однако, не чуждо чувство справедливости. Несколько раз в колонии он заступался за ребят, которых задирали более сильные и наглые.

Как же воспитывают Лопату?

План индивидуальной работы на май, июнь, июль месяцы с трудновоспитуемым воспитанником Смирновым А. Д.
(Приводится полностью с подлинника)

Мероприятия	Выполнение и результат	Что делать в будущем
1. Провести беседу о пользе приобретения общего образования.	Беседа проведена. Обещал в следующем учебном году относиться к учебе с полной ответственностью.	Внушать, чтобы готовился к экзамену по химии.
2. Провести беседу о дружбе и товариществе, взаимоотношениях между людьми в коллективе, как эти вопросы освещены в Кодексе строителя коммунизма.	Беседа проведена. В беседе участвовал. Делал некоторые правильные выводы. Не согласен полностью, что человек человеку — друг, это действительно с его стороны наблюдается.	Провести дополнительную беседу.

3. Провести беседу о необходимости в дальнейшем начать самостоятельную трудовую жизнь.	Направление беседы не хотел понимать. В беседе не участвовал. Свои действия оправдывал.	Провести повторную.
4. Дать для прочтения сборник Апресяна и Сулемова «Будущее принадлежит молодежи», провести беседу о прочитанном.	Данная брошюра увлекла, но не все-му верит. Утверждает, что после освобождения ему верить не будут.	Постоянно проводить убеждения.
5. Добиться ежедневного чтения газет, контролировать выполнение.	Читает, но очень мало.	Проводить постоянный контроль.
6. Провести беседы на тему «Любовь как основа брака».	К женщинам относится пакостно. При своем малом возрасте утверждает, что любви нет. Женщины, по его словам, что-то низкое.	Разъяснять на примерах, что в СССР мужчина и женщина равноправны.

Спрашиваю у воспитателя:

— Как вы себе представляете будущее Смирнова?

— Будущее у него сложное. Парень неустойчивый, неразвитый, груб, работать не любит. На воле ему, если не возьмется за ум, солоно придется.

— Ну а беседы ваши дали что?

— Может, что и дали. А может, и нет... С такими беседами не беседуй... Положение есть об индивидуальной работе, вот я и выполняю. Бывают у нас еще и коллективные мероприятия: читка газет, читка книг вслух, встречи с передовиками.

— Ну а сами читаете какую-нибудь специальную литературу?

— Где ее возьмешь, маловато ее у нас... Один журнал получаем... название забыл, кажется, «Береги честь смолоду» (как я понял, речь шла о журнале «К новой жизни», кстати говоря, серьезном и полезном).

Виктору Уфимцеву двадцать четыре года. Работал помощником машиниста, потом по комсомольской путевке был направлен на работу в милицию и послан сюда, в колонию. Его тетрадка произвела на меня сложное впечатление. Но я наблюдал за ним в деле, слышал, как он разговаривает с ребятами. И вот что странно: когда он их пытался воспитывать, наставлял, у него получалось удивительно беспомощно, неумело, наивно; когда он читал им газету, они переговаривались, храпели. Но вот он решает простые, будничные, повседневные вопросы — и делает это уверенно, умело, заинтересованно. Вот он разговаривает с одним из воспитанников, притворившимся больным, чтобы не идти в школу, и неожиданно начинает объяснять этому парню способ решения задачи, которую тот не понимал. И это получилось у Уфимцева удивительно хорошо, как-то по-человечески. И парень, понявший, как решать задачу, сразу же выздоровел, перестал бояться завтрашнего школьного дня, очередной двойки.

— Я эту публику знаю, — говорит Уфимцев, — сам до армии баловался чуть-чуть. Жил на шпанистой такой улице. Я этих гавриков за версту чувствую. — Темные его глаза заблестели, он повеселел: — Народ такой — артисты цирка, по проволоке пройдут без шеста. И только не подумайте, что у нас все такие, как Смирнов. Есть у нас неплохие ребята. Только жизнь покалечила, вот теперь поправляем. А как поправлять, частенько и сам не знаю, только догадываюсь.

Как бы определить этого воспитателя? Неумелый, малоподготовленный? Не совсем так. Малопрофессионален? Вот точнее. По человеческому своему складу, по характеру, по отношению к ребятам он может быть воспитателем. По навыкам, знаниям, элементарной педагогической культуре — не годится. Но где ему взять эти навыки? Где получит он современные серьезные педагогические исследования о так называемых трудных подростках, ставших правонарушителями?

Нет ничего более беззубого, бесперспективного, бездейственного в работе с этими ребятами, чем общие, пусть даже справедливые слова. Сызмальства у них выработалась стойкая, непробиваемая броня против любых поучений и общих благих советов.

Здесь, как нигде, нужны слова, точно адресованные, конкретные, деловые. Да и не всегда деловые, просто человеческие, заинтересованные, относящиеся не к соседу, не к дружку, а только лишь к нему, к его жизни, к его судьбе.

«Знаете, если к каждому подлаживаться, с ума сойдешь», — говорил мне один воспитатель. Действительно, трудно, да только необходимо. Служба здесь похожа на службу врачей. А разве врач будет давать всем одно и то же лекарство (когда известно к тому же, что у многих против него идиосинкразия). У одних застарелые, трудноизлечимые болезни, требующие сурового, жесткого курса. Других, может быть, и лечить не надо. Ты только попытайся понять их. Ведь понимание — это форма человеческого участия, а значит, и воспитания.

Однажды я получил такую записку: «Вызовите меня на переговоры. Давно я не имел такой возможности. Если вызовете, открою все тайны своей жизни, то, что в деле отсутствует».

Я его вызвал.

Он долго молчал, исподлобья, с усмешкой разглядывал меня.

— Какие же у тебя тайны? — спросил я. — Выкладывай.

Он нахохлился. Словно решал, с чего начать. Так мы сидели молча в маленькой, душной комнатке контрольно-пропускного пункта. Слышны были шаги, голоса, лязгали засовы — это разгружали машину с продуктами для столовой...

— Ну так что? — тихо спросил я.

— Расскажите, товарищ начальник, что там на воле, — вдруг неожиданно попросил он. — Соскучился я по речи человеческой.

Он, видно, хотел что-то добавить, объяснить и вдруг непривычно, давясь, хрипло заплакал, будто освобождаясь от чего-то, больно и давно теснившего, распиравшего его.

— Ну что ты, не надо,— стал я успокаивать его.— Как тебя зовут?

— Мишаткин.

— А зовут как?

— Филин.

— А имя-то, имя есть у тебя?

— А зачем это? — настороженно спросил он.

— Да просто так, для разговора.

Он подумал, потом усмехнулся, точно что-то вспомнив нелепое, смешное.

— Костей меня на воле звали. Только редко. Один раз в детской комнате милиции, другой раз у врача. Врач у меня зуб рвал и все говорил: «Ничего, Костя. Все нормально, Костя».

— А мать как звала?

— Как звала, так теперь не зовет,— сказал он с неожиданным ожесточением.— Сидит у меня мать.

Ирина Ивановна

Впервые познакомила меня с этой колонией инспектор республиканского МВД Ирина Ивановна. У этой высокой женщины в полувоенном френче была труднопроизносимая фамилия Вельтмандер, и поэтому сослуживцы звали ее Ирина Ивановна, а ребята, отбывающие срок,— товарищ Ирина Ивановна.

Я знал, что она воевала здесь, в Прибалтике, что после войны организовывала колхоз и стала его первым председателем, что в нее дважды стреляли недобитые фашисты, бывшие лагерные полицаи, скрывавшиеся на хуторах... Знал я, что и ей приходилось стрелять, что она была ранена в боях с бандитами. Она была худощавая, угловатая, односложная в разговоре, с неженской, несколько угрюмой повадкой. Контакт с ней устанавливался трудно, натыкался на тонкую стенку вежливой сдержанности, отчуждения. Она курила, разговаривала хрипловатым, как бы всегда простуженным голосом, воображение мое уже перекинуло мостик от нее к толстовской «Гадюке». Угадывалось одиночество, отсутствие семьи, какая-то женская личная драма, беда, пережитая, должно быть, достойно, незаметно для других. Только эстонский ее чуть

сюсюкающий акцент округлял и сглаживал энергичную и краткую речь и звучал примерно так: «Ну поехали теперь в добрый сас». Только карие, любопытные по-женски, много видевшие, бесстрашные глаза придавали ее облику и другой, неведомый мне план...

Мы приехали в городок, где была колония, поздно, и я в своем гостиничном номере за тонкой стенкой слышал ее шаги, покашливание: видно, ей не спалось и она ходила по пятиметровой комнате и какую-то фразу дважды произнесла вслух. Все то, скрытое от глаз, неизвестное другим, невыговоренное, неверное, билось в ее голове и сердце, обступало в тот поздний час, когда одиночество из скрытой, смазанной буднями, деловыми контактами формы вдруг обретает вещную, физическую реальность.

Наутро мы пришли с ней в колонию. Все ребята были в цехах, кроме дневальных и больных. Казалось, все как обычно, однако начальник колонии был несколько растерян.

— Вот ведь чудное дело какое... Один парнишка у меня в дисциплинарном изоляторе... Ни с кем не разговаривает, не ест.

— Почему в ДИЗО? — спросила Ирина Ивановна.

— Хулиганил, спровоцировал потасовку. Трудный, испорченный мальчишка, хитрец.

Я пошел с ней в дисциплинарный изолятор. Я ожидал увидеть небритого, одичалого громилу вроде Лопаты, а увидел мальчика, которому от силы можно было дать лет двенадцать-тринадцать.

Чуть отросшие волосы торчали на макушке, оттого он походил на маленького, тонкошеего петушка, только поникшего, помятого в драке... Лицо его было грязно, замурзано, словно он неделю торчал в шахте, дышал угольной пылью. И тем более неожиданно прозрачно-светло мерцали голубые глаза, единственный светлячок в темной и сыроватой банной полутьме.

Он сидел на топчане, перед ним на табуретке стояла нетронутая похлебка, остывшая каша, чай в кружке, кусок хлеба. Одичавший от молчания и одиночества, он напряженно и обалдело смотрел на нас.

— Ты что не кусаль? — спросила Ирина Ивановна.

— Неохота, — ответил он.

— Ты будешь заболеть, — сказала она.

— Ну и что? — сказал мальчик.

— Сам себе хочешь плохо, вред делать? — сказала она.

Он промолчал.

— Зачем? — спросила Ирина Ивановна.

Он наморщил лоб, собираясь с мыслями. Я ждал тирады. Но он ответил тоже односложно:

— Хужей не будет.

Все замолчали, а мальчик отвернулся к стене, всем своим видом, поворотом шеи выражая неинтерес к нам. Я закурил, озадаченный, не понимая, что же вызвало эту обиду и этот протест...

— Угостите, дядя, — неожиданно низким голосом сказал он.

Так и сказал: не «товарищ начальник», а «дядя»... Впрочем, какой я был начальник для него? Может, это и не полагалось, но я протянул ему сигареты. Ирина Ивановна промолчала. Он взял сигаретку, с жадностью сказал мне шепотом, доверительно: «Еще одну можно?» Я оставил ему сигарету, которую он припрятал тут же мгновенно, не успел я и глазом моргнуть. Я обратил внимание на то, как он курил: так украдкой курят в уборной ученики, еще не перешедшие в седьмой класс: одновременно и пугливо и вызывающе.

— Из-за чего же сыр-бор? — спросил я.

— Да так, из-за одной тетради, — ответил он.

На этом наш разговор кончился.

Малыш

— Ну что, раскололи Соколова? — спросил начальник, когда мы вернулись.

— Зачем раскалывать, — возразила она, — совсем не нужно раскалывать. Буду еще посещать и разговаривать. Понять хочу.

Она ушла в канцелярию, взяла его дело. Через некоторое время она вернулась, спросила:

— Когда его посадили в изолятор?

— Позавчера.

— А вы знаете, что вчера он имел день рождения?

— Откуда же знать! Тут их много. И мы им праздники не устраиваем.

— Если в изолятор берете, то все знать надо,— жестко сказала Ирина Ивановна.

Ирина Ивановна дважды подолгу разговаривала с этим воспитанником. Вечером этого же дня его освободили из изолятора. Кажется, он обрадуется свободе, но он принял освобождение без энтузиазма и как бы даже нехотя...

У Соколова Вити две клички — Малыш и Шавка. В свои пятнадцать лет он кажется десятилетним. Его малый рост, детский вид и на воле и здесь использовались хитроумными дружками. Например, его часто посылали с заданием «нарваться на слона». То есть он должен оскорбить какого-нибудь «лба» из враждебной компании. Тот полезет на него с кулаками, Витек дает сигнал, и тут же с криком: «Малыша бьют!» — выскакивают свои. Витек играет постоянную роль обиженного малолетка, к которому придираются. Самому ему, кстати, не раз доставалось. Более сильные его приятели эксплуатировали данные Малыша всюю: от краж через форточку — «темный сонник» — до попрошайничества.

В детскую комнату он попал в одиннадцать лет. С ним поговорили и приняли решение — «обратить внимание родителей».

Внимание родителей обратили... Только какое там внимание! Отец не жил с Витьком чуть не с рождения. Кстати, Витек выдумал легенду, что отец был боксер и отправил ударом в челюсть одного чудака на смерть, за что и сел, и поэтому Витек рос без отца. Но если кто всерьез заденет Витька, горе тому, отец на дне моря разыщет. В этой истории ощущалась потребность в компенсации за собственную физическую слабость. Мать его — женщина истеричная, пьющая, несчастная. Когда он попал в колонию, она вначале приезжала к нему еженедельно. Всякий раз с рыданиями, растрavляющими и взвинчивающими его. Потом она исчезла и не писала.

С двенадцати лет Витек был бездомным. Старшие ребята нашли на Черной речке невзорвавшуюся мину и заставили Малыша взрывать капсюль-детонатор. Он взорвал, что ему оставалось? В таких компаниях не ос-

лушаешься. Ты не взорвешь — тебя взорвут. Остался без двух пальцев.

Потом они обокрали детскую спортшколу, набрали спортивного инвентаря и не знали, что с ним делать. Волочили на себе рапиры, сабли, снаряды, эспандеры. Так и до барахолки даже не донесли — пофехтовали рапирами на дороге и выбросили в канаву. Только несколько шпаг распилили, сделали из эфесов кастеты, на всякий случай. Главный в компании — Женька Грязный — удивлялся: — Локшова работа. Зачем только тырили!

Потом в магазине самообслуживания прихватили консервы, бутылку портвейна и зачем-то растительное масло... На этом и попались.

В деле сказано: «Кражу совершал с Евгением Грязевым и Федором Стариковым, с которыми и ел ворованные продукты».

В колонии он работал в цехе на обточке деталей. Уставал больше других. В колонии к нему относились ребята лучше, чем на воле, но все-таки время от времени заставляли его делать за них мелкую работу, быть на побегушках. Все было спокойно до дня рождения. Всю ночь накануне дня рождения Витька не спал, метался, ему хотелось плакать, но он сдерживался изо всех сил. Мать не писала уже полгода. А до конца срока ему оставалось примерно месяца четыре. Ну, вот он выйдет, куда ему деться? Если думать вообще, то он освободится и начнет новую жизнь. А если думать конкретно, то еще вопрос, как все получится... Ну, пойдет на завод, в цех, а там неизвестно еще, какие ребята. Да и работа в цехе ему не нравится. Тяжелая, шумная... Витька весь съезживается в цехе. А после работы куда он пойдет? На улице что?.. Все это уже было.

Кем он мог бы быть в этой жизни? Откуда он знает? Однажды, голодный, он зашел в кафе с надеждой что-нибудь «стырить» или выпросить. Кафе закрывалось.

Но ему дали поесть прямо на кухне. Детский сиротский его облик действовал безотказно. Ел он среди всех этих странных кухонных агрегатов. А повар-кондитер взял какой-то тубик, стал выдавливать крем, делать розочки, тюльпаны, исторические памятники, чуть ли не собор Василия Блаженного. И такой цвет у этого крема — красный, голубой, желтый, такой сочный и сладкий

цвет, что Витек мысленно эту красоту слизнул. А потом он передумал и решил, что слизывать не будет, пусть красота эта останется. Нигде он такой красоты не видел. Он вообще ее мало видел. Он смотрел как зачарованный и решил, что если бы он «завязал» со своей нынешней жизнью, то стал бы поваром-кондитером. И создавал бы различные картины из крема, так что и слюнки текут, и есть жалко. Но наступили суровые будни, и Витек позабыл эту свою мечту...

А сегодня, в канун дня рождения, ничего ему, как говорится, не светило. Было душно, и он взмок как мышь, и сон не шел, будто он весь день «чифирял».

Он встал, не находя себе места, страхась своих мыслей и бессонницы. Было холодно, зябко. Когда чуть рассвело, он достал толстую тетрадь, сел на койку и начал писать.

Вошел контролер, увидел Витьку, сидящего на кровати.

— Я давно замечаю, что ты не спишь, черт-те чем занимаешься! А ну-ка давай писанину!

Витек стал суетиться и по-быстрому прятать тетрадь под одеяло соседу. Санька Черных, его сосед, обычно спавший как медведь, тут же вскочил и, не разобравшись, что к чему, не глядя дал по уху Витьку.

Витька распахнулся и сунул кулачком в сонную рожу своего соседа. Тут поднялся шум, ребята проснулись, кто-то крикнул: «Малыша забирают!» — и началась драка. Контролер тут же к начальству. Прибежал воспитатель, крикнул не своим голосом:

— Закоперщика в ДИЗО!

Ну а выходит дело, «закоперщиком» был именно Витек. И когда забирали его в изолятор, то и тетрадь взяли.

Вот так и встретил Витек свой день рождения.

Тетрадь

Это была синяя коленкоровая тетрадь с иллюстрациями. На страницах были приклеены вырезки из журналов. Красавицы из журнала «Экран» соседствовали с киногероями и киногангстерами, с манекенщицами и красавцами. Мчались «Волги», «ягуары», «паккарды», прекрасные яхты неслись по синим и черным морям...

И вдруг неожиданно среди всей этой окрошки — Чапаев у пулемета, фотография Маяковского в Америке, портрет Есенина.

Красотки лежали на пляже, сидели в креслах, мужчины в темных очках держали руки с перстнями на рулях, гнутых, как олени рога, Мastroяни целовался с Софи Лорен.

— Секс и красивая жизнь, — сказал мне контролер.

Насчет секса он преувеличил, какой уж там секс! Разве что купальщицы из журнала «Работница». А «красивая жизнь» — да... Был некоторый сладкий привкус «красивой жизни» в этой тетради, и арабско-индийские красавицы клонили свои головки и плакали сладкозвучно, загубленные жестокими любовниками. А рядом нестареющий Василий Иванович строчил из допотопного, но грозного пулемета.

Иллюстрации были красиво наклеены. То на весь лист, то на уголке, прямо-таки с определенным оформительским чутьем, и сверкали тропическим многоцветьем на серой бумаге в клеточку. Однако не иллюстрации были тут главным, а записи.

Тексты были трех видов; блатные романы классического типа. Например:

На разливах лед весенний тает,
И в садах фиалки расцветут,
Только нас с тобою под конвоем
Далеко на Север повезут.

Или подделки под Есенина, столь распространенные в колониях. Например, «Письмо матери»:

Ты пишешь мне, что ты по горло занят,
а дом ваш выглядит угрюмым и седым,
а как у нас на родине, в Рязани,
вишневый сад расцвел, как белый дым?
Придет весна, трава зазеленеет,
погоним мы скотину на луга,
а под окном кудрявую рябину
отец спилил, по пьянке, на дрова.

Или блатные песни и прочая дребедень. Но рядом вдруг блоковское «На железной дороге» и неискореженные есенинские стихи.

Самым же интересным были записи, которые делал

сам Витек и разные другие люди, которым он давал тетрадь. Под каждой записью была фамилия воспитанника колонии, статья, по которой он сидел, и срок. «Кто был, тот не забудет. Кто не был, тот, возможно, будет. Филя. Срок два года», «Жизнь катится, кто не пьет, не гуляет, потом хватится. Горбатый. Срок пять лет». Или вдруг такая запись: «Женщину надо любить страстно и нежно, тогда и она не пожалеет для тебя самых прекрасных чувств. Лева Вольтер, срок пять лет». Или: «Чем ближе срок, тем крепче нервы».

А последняя запись в тетради была такая:

Не говори, что мир печален,
Не говори, что тяжело жить,
Умей среди жизненных развалин
Смеяться, верить и любить.

Что это было? Сентенции с чужих слов, обрывки цитат, соединенные собственной мыслью, вариации на чужую тему? Что можно было сказать об этой тетрадке, которую так любовно вел Витек Соколов? Полублатная романтика, глубокая философия на мелких местах, уродливое представление о «красивой жизни». Можно сказать и похлеще.

Но что-то еще было в этой тетрадке, что заставляло задуматься. Был еще один план, человеческий, жизненный, в котором все они гляделись иначе, туманный, тревожный, таящий в себе горечь и надежду, будто улыбка Кабири.

Надежда была на этих страницах, слезы, промокнутые промокашкой, жестко стертые бритвой слезы, которых они так стыдятся, проступали и возвращали им навеки утеранный облик. Облик чего? Детства. Утеранный облик детства... То, без чего неполноценна вся последующая жизнь. Навеки ли он утерян?..

И еще была в этих записях тоска по красоте. Пусть уродлива и безвкусна была эта красота, но какой она может быть там, где все перевернуто с ног на голову, где человеческие отношения и материнское тепло выстудились еще над колыбелью, где голос отца — это пьяная брань, где женщина сызмальства изматерена и обругана, где умнее и сильнее тот, кто обманул тебя дважды... Тоска по красоте загоралась, гасла и тлела в подъездах с бутылкой на троих, в пахнущих карболкой туалетах с по-

хабщиной на стенах, в закутках парков культуры, где дерутся и тискают девок-«чувих», а в сущности девочек, таких же юных, как они сами...

«Но где-то есть другая жизнь и свет...»

И еще одна невысказанная и неосознанная боль таилась в этих страницах — боль и тоска по гражданству, по ощущению себя человеком среди людей, по тому, чему их учили, но в силу обстоятельств не смогли научить, а они не захотели, а может, и не сумели научиться: по Чапаеву у пулемета, по Маяковскому, читающему свои стихи, по загорелому счастливому лицу Гагарина. По той человеческой жизненной колее, с которой сызмала свернули, ушли, хотели бы вернуться, да не умеют.

А не умея, делают вид, что она не для них.

Тоска по уплывшему берегу. По матери, которая не пишет по три месяца, но за любое дурное слово о ней он будет драться в кровь, насмерть. И еще одно я ощутил в этой тетради — может быть, самое главное. Неосознанное раскаяние проступало сквозь браваду, пошлятину, блат.

«Все живое особою метою отмечается с ранних пор».

Душа, исковерканная, заскорузлая, посылала с этих страниц свои приглушенные, тайные сигналы... Только их надо услышать, понять и расшифровать, а это, возможно, труднее, чем услышать сигналы спутника, бредущего в галактиках.

Я показал тетрадку Ирине Ивановне, ничего не говоря. Она вся была в заботах, только что вернулась из цеха и, судя по тому, как торчали поседевшие суворовские вихры, была недовольна и чем-то огорчена. Момент для лирики был неподходящий. «Сейчас отмахнется, — подумал я. — Нужна ей эта тетрадь, когда столько дел в колонии». Стала читать. Без улыбки, серьезно, обстоятельно, аккуратно перелистывая красные целлофановые закладки. Ведь она знала почти всех авторов этой тетрадки — и тех, кто освободился, и тех, кто еще отбывал срок. Невесело нахохлилась над тетрадью, перечитывая какие-то строки вновь и вновь. Я ушел, чтобы не мешать ей. Когда я вернулся, она сидела и что-то быстро писала в своем блокноте. Писала не служебную и не докладную, а что-то личное... Это было видно по выражению лица, по тому

нервному полету руки и ручки, когда ими движет рождающаяся мысль.

— Прочитали? — спросил я с осторожностью, как будто речь шла о моем собственном сочинении.

— Да,— сказала она. И добавила, помолчав: — Одна обложка и сколько одиночеств!

По распоряжению Ирины Ивановны Витька перевели с тяжелой работы в цехе на кухню. На следующий день вечером я вызвал его для разговора. Мы пошли с ним на спортплощадку: не хотелось разговаривать в прокуренной комнатке контрольно-пропускного пункта или в красном уголке. Мы сидели на скамейке, двое на всем стадионе. Роса выступила на мелкой жидкой траве, запахла терпко и свежо.

— Давно я в лесу не был,— сказал Витек.— Охота полежать на траве, только не на такой.

На этот раз ему хотелось говорить, и он довольно много и охотно рассказывал мне о здешнем быте, о здешней жизни.

— Надоело мне быть «ястребком»,— сказал он мне,— на подхвате у разных. А «ястребом» мне, видно, не быть никогда.

— Других птиц, что ли, нет?

— Другие сюда залетают редко. Конечно, хорошо быть вольной птицей, лететь, куда захочется.

— И клевать чужое зернышко? — в тон ему сказал я.

— Нет уж... Чужое кусается.

— Слушай, а тебе с воли никто не пишет?

— Была одна девочка, писала, потом перестала. На черта я ей такой, малявка?! Так что выйду я когда, то вроде на необитаемый остров.

— Разве ты не убедился, что на острове все-таки есть люди?

— Попадаются изредка,— сказал он.— Если б не так, то хоть утопись.

Во второй свой приезд в колонию я узнал, что Ирина Ивановна не работает, вышла на пенсию, больна. Вообще руководящий состав колонии сменился. Нет и многих

ребят, освободился и Витек. Мне не удалось его разыскать. Хотелось думать, что у него все сложилось хорошо... Ушел ряд воспитателей, пришли новые, в их числе Уфимцев. Новый начальник возглавил колонию, только проблемы, стоящие перед людьми, работающими в колонии, не изменились. И первая из них — это проблема создания коллектива из десятков разных по судьбе (при том несчастливой) ребят, пришедших сюда. Я смотрел картотеку — большинство составляли городские ребята, недоучки, неквалифицированные рабочие. Они легко меняли место работы, почти всегда выпивали, имели приходы до колонии. Нельзя сказать, что на них не обращали внимания. Обращали. И призывали к порядку. И честили, и наказывали, и увольняли. Обращали внимание. Но обратить внимание — не значит проникнуть в существо их жизни и каким-то образом изменить эту жизнь. Наказывали одного. А он, этот один, был частью уже сложившейся компании со своим «ястребом» и мелкими «ястребками», и в этой компании у него было свое определенное положение и место. Ему гораздо важнее было утвердить себя среди этих, чем на работе в мастерской или в цехе. Никто не копался в этом, только тогда начинали копаться, когда компания или группа ребят становилась преступной группой и когда Ваня Н. из прогульщика и неблагополучного подростка становился преступником.

И Ваня Н. попадал в колонию. В среду не пяти или семи, а многих себе подобных.

Были, конечно, и другие пути.

Были случаи невыявленных, скрытых психобиологических отклонений, преступники-одиночки с взвинченной, агрессивной, несбалансированной психикой, ребята, нуждавшиеся в контроле, а возможно, даже в своеобразной нравственной психотерапии задолго до того, как эти особенности, пересекшись с обстоятельствами, привели к преступлению.

Встречался в колонии (правда, ничтожно мало) тот тип, что был когда-то излюблен фельетонистами: сыночек с папиной «Победой», потом с «Волгой».

Изредка попадались сельские ребята. Небольшой этот процент давали крупные колхозные поселки, близкие по условиям жизни к городу.

Город преобладал. Дымный, окраинный, вечерний, по-

ртовый. И вот все это позади, воспоминание... Реально лишь колония, режим, срок. Тут на первый взгляд все свои. Тут хороших нет, все плохие, и притворяться не надо.

Но тут не пофилонишь. И школу не прогуляешь. Не своруешь: свои набьют морду и начальство накажет. Так что держись, Кирюха!

Накажет, прикажет, заставит...

Это один ряд... А второй попросит, убедит, объяснит.

Воспитание наказанием и воспитание воспитанием. Вот две возможности, два варианта.

Первое легче. Второе труднее. Как это, оказывается, не просто — внедрить в сознание этих людей несколько простых и вечных истин: не бей слабого, не воруй, увидь в себе подобных не врагов, не зверей, готовящихся напасть, а людей... Увидь и себя человеком. Вот что главное — увидеть себя человеком. Но кто вдохнет в их души и умы это? Воспитатель, педагог... Да, только если он и сам человек.

Одна из главнейших сторон воспитания в колонии — это воспитание личностью педагога. Есть педагоги. Такие, как Ирина Ивановна, как (с известными оговорками) Лялин.

Каждый из воспитанников должен знать, что воспитатель не потому приказывает тебе, что он начальник, а потому, что им движет справедливость; что если он обещал тебе что-то, то выполнит; если ты доверился ему, пусть даже в слабости своей, он не использует это против тебя; если он наказывает тебя, то без издевки, с горечью, потому что ему ты важен, ты для него — плохой, осужденный, наказанный... но человек.

И тогда то далекое, первичное, что в каждом человеческом существе — а в молодом тем более — есть, оживет, заболит, как обмороженная кожа, когда она заживает, преодолев омертвление. Проблема педагога для детской колонии — это проблема нравственная, и государственная, и, если хотите, народнохозяйственная.

Это проблема судебных человеческих, того, как спасти для общества и вернуть ему граждан, строителей.

Педагог-профессионал работает не только чутьем и сердцем, он знает и приемы, своего рода приспособления, как актер в театре.

А значит, для формирования и подготовки таких профессионалов нужна серьезная научная база. Литература, переводная и отечественная, преемственность и традиции, социологи и психиатры.

В каждой колонии необходим врач-психиатр. В каждой колонии должны работать штатные психологи в собственном, профессиональном смысле этого слова. В некоторых колониях такие люди уже работают.

Надо привлекать к делу воспитания ребят в колониях и вольнонаемных педагогов в школах, где обучаются воспитанники. Сейчас несколько тысяч комсомольцев пришли на работу в милицию. Надо помочь им, увлечь делом, многому научить. Наконец, просто заметить их нелегкую работу, почетную, истинно самоотверженную.

А что показывают ребятам? Какие фильмы они смотрят? Ведь это не просто сеанс, куда парень забрел от нечего делать. В колонии день, когда крутят фильм, — праздник. Уходят быт, будни — есть экран, иная жизнь, герои, битвы, любовь.

Я много раз наблюдал за тем, как они смотрят кино. Ржут, гогочут, смеются там, где надо плакать. Исступленно рычат и свищут там, где хочется затаить дыхание.

Мне напомнило это гигантскую комнату смеха: искривленное зеркало, только не лица вытягивались, переворачивались, корежились, крошились, пузырились, а человеческие чувства. Все изуродованное нутро обнажалось, гримасничая. Все, выпестованное мировой цивилизацией — чувства и мораль, — теряло цену, рыдание отдавало ржанием, плач — хохотом, благородство — идиотизмом.

Но вот что любопытно и странно — как искусство воспринималось этой массой. Масса ржала и топала ногами, отдельные люди растворялись в ней или присоединялись к ней. Перевернутый мир виделся бычьим глазом циклопа. Они подстраивались друг к другу, они не хотели выглядеть дурачками, показывать свои чувства, переживать.

А спроси их в отдельности? Каждый из них ощутил и понял, где зло и где добро. И, хохоча и посвистывая хором, каждый в отдельности болел все-таки за добрых, за благородных, за справедливых... И что-то малое, невидимое оседало все-таки в душах, пусть ненадолго воз-

вращая утерянные, полузабытые чувства. Кино все-таки главнейшее из всех искусств. Здесь это понимаешь особенно ясно. Но как нерасчетливо, бесхозяйственно, случайно расходуется эта сила! Показывают что попало, что есть у соседей. И арабско-индийские сентиментальные фильмы, и детективы, где убивают, — тема вовсе не обязательная в здешних краях, — и еще бог знает что.

А ведь наши педагоги, детские писатели, социологи могли бы разработать список картин для колонии, вовсе не обязательно назидательно-воспитательных, просто хороших, умных, лучших, пробуждающих человеческие чувства и заставляющих думать...

Не уверен, что эти фильмы спасут их души... Нет, не спасут. Но может быть, заденут, затронут. И это уже важно.

А контакты с людьми?

Приезжают в эту колонию интересные люди, но все-таки редко и опять же по принципу: кто был под рукой.

При всей режимной изоляции, предписанной законом, надо бояться другой изоляции — нравственной. Иная жизнь шумит за стенами колонии. Как сделать, чтобы она постоянно и благотворно соприкасалась с их жизнью?

Я думаю, что порядки устройства жизни в колонии, неизменные вот уже столько лет, требуют все же большей гибкости и дифференцированности. Об этом конструктивно и серьезно размышляют сегодня многие практические работники МВД.

Пусть дуют ветры, пусть существуют контакты с внешним миром, приносящие пользу. Общение с людьми необходимо. Только в какой форме?

Люди «с воли» имеют своих подопечных «по интересам», общаются с ними, заражают их своей профессией, своим делом, наконец, просто примером своей нормальной, целесообразной жизни. Это делается в некоторых колониях, но, к сожалению, далеко не во всех.

При всем этом мне не хотелось бы упрощать конфликт, который реально существует. Конфликт, выразившийся в столкновении этих ребят с законом, а что еще важнее — с человеческой моралью, с понятием о добре, об уважении к чужой жизни. В таких колониях не шкодливые мальчишки сидят, разбившие стекло, укравшие перчатки, за-

теявшие драку. Драки здесь ножевые, и разбиваются отнюдь не стекла...

Тем ответственнее, зрелее, обдуманнее должен быть подход к каждому из этих ребят. Подход трезвый, часто жесткий, но всегда дальновидный, гибкий и индивидуальный.

Иду вечерним городом, вглядываюсь в лица мальчишек, обыкновенных, смеющихся, нарядных мальчишек, бегущих на свидания к своим девчонкам.

И колюще мгновенно ударяет воспоминание о стриженных мальчишках без девчонок.

Без девчонок, без ночных счастливых прогулок, без стихов, без юношеских метаний в поисках своего места на земле...

Та колония, о которой я пишу, не худшая и не лучшая. Есть там заинтересованные люди и малоподготовленные, есть и хорошее и плохое.

И не в том вовсе вижу я смысл этих очерков, чтобы давать анализ или оценивать работу именно этой колонии. В оценках ли дело... Да и по какой шкале, по сколько балльной системе можно оценить ту работу, что обращена на возвращение людей к жизни и труду?

Но есть потребность еще раз во всеуслышание сказать об этом важном (впрочем, не то слово), об этом кровном деле.

Есть вопросы, которые нельзя отложить даже при соседстве других, важных и животрепещущих. Потому что не «вопросы» это вовсе, а судьбы, живые, может быть, еще не потерянные до конца, еще способные прозвучать в этом мире не глухим выстрелом, а песней, как и предназначено изначально человеческой жизни.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Валентин Катаев. О Владимире Амлинском 3

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1987 г.

ТУЧИ НАД ГОРОДОМ ВСТАЛИ 11

ВОЗВРАЩЕНИЕ БРАТА 125

ОЧЕРКИ

ВОСПОМИНАНИЕ О РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ 291

ДЕЛО КРАСОВСКОГО 301

В ТЕНИ ПАРУСОВ 329

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ», 1984 г.

ИСТОРИЯ НОРМАЛЬНОГО МАЛЬЧИКА 353

МАЛЬЧИШКИ БЕЗ ДЕВЧОНОК 365

Для среднего и старшего возраста

Владимир Ильич Амлинский

ИЗБРАННОЕ В ДВУХ ТОМАХ

Том 1

Ответственный редактор

Е. М. Подкопаева

Художественный редактор

И. Г. Найденова

Технический редактор

В. К. Егорова

Корректоры

Т. В. Беспалая, Е. А. Сукьян

ИБ № 9966

Сдано в набор 05.11.86. Подписано к печати 16.04.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,10. Усл. кр.-отт. 21,62. Уч.-изд. л. 21,04+1 вкл.=21,08. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4622. Цена 1 руб.

Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Суэцкий вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм
«Целлофот»

Амлинский В. И.

А62 Избранное в 2-х томах: Роман. Повесть. Очерки/
Предисл. В. Катаева; Рис. Л. и В. Митченко.— М.:
Дет. лит., 1987.— Т. 1.— 398 с., ил.

В пер.: 1 руб.

В этот том входят повесть «Тучи над городом встали», роман «Возвращение
брата» и очерки.

А 4803010102—310 169—87
М101(03)87

Р2



РОДИНА-МАТЬ
ЗОВЕТ!

